

ПАТРИК СЕРИО

# СТРУКТУРА И ЦЕЛОСТНОСТЬ

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИСТОКАХ СТРУКТУРАЛИЗМА  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

1920–30-е гг.



РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНСТИТУТ ВЫСШИХ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПАТРИК СЕРИО

# СТРУКТУРА И ЦЕЛОСТНОСТЬ

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИСТОКАХ СТРУКТУРАЛИЗМА  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

1920—30-е гг.



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва  
2001





*Патрик Серิโอ родился в 1949 году. Заведующий кафедрой славянских языков в Лозаннском университете, доктор наук, профессор. Автор книг «Анализ политического дискурса в Советском Союзе», «Н. С. Трубецкой: Европа и человечество» и других.*



Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университета «Translation Project» при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI – Budapest) и Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия.

При поддержке FONDATION SCHUART-SCHMIDT (Lausanne).

### Сергио Патрик

С 32

Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920–30-е гг. / Авториз. пер. с франц. Н. С. Автономовой. — М.: Языки славянской культуры, 2001. — 360 с.: ил. — (Язык. Семиотика. Культура).

ISBN 5-94457-014-8

Книга посвящена одному из важнейших эпизодов в истории науки XX века — рождению идей структурализма в Пражском лингвистическом кружке и особой роли в этом событии его русских участников — Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона и П. Н. Савицкого. Можно ли считать структурализм особой «русской наукой»? Как связаны научные идеи структурализма с идеологией евразийства? В книге показан процесс рождения понятия структуры из идеи целостности и биологической метафоры организма.

Первоначально книга адресовалась франкоязычному читателю. Для русского читателя она будет интересна прежде всего широким междисциплинарным подходом к истории науки и новыми ракурсами ее рассмотрения. Свой путь к освоению русского духовного мира автор ищет в сопоставлении различных «времен» и «мест возникновения понятия, в их историко-эпистемологическом изучении».

ББК 87.3

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavica@gad.dk) has exclusive rights for sales on this book.

Право на продажу этой книги за пределами России кроме издательства «Языки славянской культуры» имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

- © Presses Universitaires de France, 1999
- © Н. С. Автономова. Предисловие, 2001
- © Н. С. Автономова. Перевод с франц., 2001

## Оглавление

Актуальное прошлое: структурализм и евразийство (Н. А. Автономова) . . . . .	9
---------------------------------------------------------------------------------	---

### Введение

Новизна и децентрация . . . . .	31
О трех больших ученых . . . . .	34
«Идеи, пришедшие с Востока» . . . . .	36
Традиции . . . . .	39
Дополнительность . . . . .	41

### Часть первая

#### Состояние вопроса

<i>Глава I. О границах и пределах</i> . . . . .	45
Границы во времени: происходит ли в лингвистике смена парадигм? . . . . .	45
Границы в пространстве: русская наука и европейская наука, тождество или разность? . . . . .	48
Границы между наукой и идеологией. Замысел сравнительной эпистемологии . . . . .	55
Двойная спираль . . . . .	56
<i>Глава II. Евразийское движение</i> . . . . .	59
Организация и политика движения: исторические аспекты . . . . .	61
Учение евразийства: общий очерк . . . . .	66
Против универсализма: самобытность . . . . .	66
Поиск себя: невозможность экуменизма . . . . .	68
Против общей цивилизации: отдельные культуры . . . . .	71
Ареальная концепция культуры . . . . .	78

Против демократии: идеократия . . . . .	81
Философия истории . . . . .	83
Границы отсутствующие, границы воображаемые . . . . .	86
Идеология географизма . . . . .	86
Монгольский мираж или парадокс самоопределения . . . . .	98
Образы другого:	
Европа или Азия, буржуазность или современность? . . . . .	100

### *Часть вторая*

### **Замкнутость**

<i>Глава III. Пространственный фактор . . . . .</i>	105
Краткое введение в проблему . . . . .	107
Фонологический языковой союз у Якобсона . . . . .	111
Метафора «масляного пятна» . . . . .	120
Распадение языковых семейств . . . . .	120
Система и союз . . . . .	129
<i>Глава IV. Непрерывное и прерывное . . . . .</i>	137
Закрытость . . . . .	138
Органицизм . . . . .	138
Позитивизм . . . . .	143
Невозможная замкнутость . . . . .	146
Й. Шмидт: языки как круги на воде . . . . .	151
Геолингвистика: каждая черта уникальна, каждому факту — свой закон . . . . .	152
Ж. Ансель: географ, заинтересованный лингвистикой . . . . .	156
Попытка компромисса:	
понятие «приблизительного совпадения» . . . . .	157
Синтез или возврат к старому? Теория взаимоналожения . . . . .	159
В Германии: Т. Фрингс . . . . .	159
Во Франции . . . . .	160
Пражский лингвистический кружок:	
радуга и замкнутые системы . . . . .	161
Где начинаются и где кончаются вещи? . . . . .	162
<i>Глава V. Эволюционизм или диффузионизм? . . . . .</i>	164
Марризм . . . . .	165

О сближении внешне противоположных теорий . . . . .	168
Философские категории . . . . .	170
Бытие . . . . .	170
Пространство . . . . .	175
Время . . . . .	177
Загадка сходств . . . . .	186

### Часть третья

### Природа

<i>Глава VI. Сродственности</i> . . . . .	193
Два пути к сродству . . . . .	195
Проблема границ . . . . .	195
Узаконенное сближение:	
юридическое и антропологическое понятие союза . . . . .	195
Внутренняя связность и внешнее притяжение:	
от алхимии к химии . . . . .	196
Невозможная таксономия: биологическое понятие . . . . .	200
Неудобная двусмысленность:	
приобретенные или врожденные языковые сходства . . . . .	204
От эволюционистской к диффузионистской модели . . . . .	204
Фонологическое родство у Якобсона . . . . .	209
<i>Глава VII. Биологическая модель</i> . . . . .	214
Телеология или причинность? . . . . .	215
Номогенез или случайность? . . . . .	217
Конвергенции или дивергенции? . . . . .	224
Рыбы и киты . . . . .	224
Цепочки и кирпичи . . . . .	225
Органическая метафора . . . . .	229
<i>Глава VIII. Теория соответствий</i> . . . . .	232
Месторазвитие: недетерминистский объект? . . . . .	232
Метод «увязки» . . . . .	239
Язык, культура и территория: психология народов . . . . .	243
Месторазвитие и фонология . . . . .	245
Порядок и гармония . . . . .	249
География с геометрической точки зрения . . . . .	251
Периодическая система . . . . .	267

*Часть четвертая***Наука**

<i>Глава IX. Персонология и синтез наук . . . . .</i>	271
Синтетическая наука . . . . .	271
Два мира— две науки . . . . .	271
Новой идеологии— новую науку . . . . .	274
Наука аналитическая и наука синтетическая . . . . .	276
Педагогика взгляда . . . . .	282
Персонология . . . . .	285
Философия личности . . . . .	286
Индивид и коллектив . . . . .	288
Сознание и субъект . . . . .	290
Язык и личность . . . . .	292
<i>Глава X. Холизм: что есть целое?</i>	293
По ту сторону зеркала . . . . .	293
Позитивизм и холизм . . . . .	294
Проблема натурализма . . . . .	298
Объект данный / объект построенный . . . . .	312
Структура или целостность? . . . . .	314
<i>Заключение</i>	320
<i>Приложение</i> . . . . .	327
<i>Библиография</i> . . . . .	330
<i>Именной указатель</i> . . . . .	349



## **Актуальное прошлое: структурализм и евразийство**

Книга, которую читатель берет в руки, посвящена одному из важных этапов в истории идей — в частности, русской истории идей — XX века. Она написана славистом-иностранцем. Зачем автор написал свою книгу? Каков ее смысл для российского читателя? На эти вопросы мы и попытаемся здесь ответить. Прежде всего отметим, что книга никого не поучает и ничего не проповедует. Автор ищет возможностей диалога с российскими коллегами по вопросам, на которые не имеет заранее готовых ответов.

### **О замысле книги**

Изначально книга адресовалась франкоязычному читателю, для которого «структурализм» — это прежде всего французский структурализм 1960—1970 годов, а евразийство и вовсе не изведанная земля. Автор стремится «реабилитировать» богатство русского идейного мира перед французскими лингвистами и историками науки, которые склонны либо совсем его не замечать, либо воспринимать его в фольклорном духе. Так вот: франкоязычному читателю книга дает огромный материал для размышлений и помогает выйти из своей культурной замкнутости. Напомним, что несколькими годами ранее автор опубликовал по-французски культурологические тексты Трубецкого, так что данная книга продолжает важную просветительскую линию его работы.

А что она дает русскоязычному читателю, для которого по крайней мере часть исторического материала, излагаемого автором, стала за последние 10 лет более или менее доступна? Для него достоинством книги будут прежде всего широкий междисциплинарный взгляд на историю науки и новые проблемные акценты в ее рассмотрении. Так,

в отличие от обычного для современных российских подходов к евразийству интереса к геополитике или историософии автор исследует главным образом проблемное пересечение евразийства и рождающегося структурализма в лингвистике и других гуманитарных науках. Этот угол зрения дает много полезного не только лингвисту и исторiku науки, но также культурологу, эпистемологу — каждому, кто интересуется социальными и интеллектуальными контекстами научного познания, «временем» и «местом» его возникновения и функционирования.

Как раз в этом акценте на атмосфере или «духе места» во многом и заключается своеобразие подхода Патрика Серию<sup>1</sup> к своему материалу. В его книге речь идет об определенном времени (1920-е — 1930-е гг., период между двумя войнами) и определенном месте (центральная и восточная Европа; Прага, Вена: автора интересует русская наука в эмиграции) — времени и месте рождения идей лингвистического структурализма, триумфально прокатившегося затем по всему миру и из лингвистики перекинувшегося на другие области гуманитарного познания. Трудный и противоречивый процесс рождения этих идей — вот главная тема книги. Ее герои — трое русских ученых, всемирно известные Н. С. Трубецкой и Р. О. Якобсон, а также менее известный

---

<sup>1</sup> Профессор славистики из Лозаннского университета (Швейцария). Среди его работ — монография «Анализ советского политического дискурса» (1985); ряд статей по истории и эпистемологии науки, в том числе по истории русской и советской лингвистики; перевод и публикация на французском языке культурологических работ Трубецкого (1996); издание (в качестве специальных номеров лингвистических журналов) ряда тематических сборников, таких как «Якобсон между Востоком и Западом, 1915—1939» (1997), «Пражская школа: эпистемологический вклад» (1994), «Язык и нация в центральной и восточной Европе от XVIII века до наших дней» (1996); издание на русском языке сборника работ французских лингвистов 1960—1970 гг. («Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса». М.: Прогресс, 1999). В русском переводе опубликован ряд статей П. Серию — «В поисках четвертой парадигмы: границы языка и границы культуры» (в сб. «Философия языка: в границах и вне границ». Харьков, 1993), «Лингвистика и биология. У истоков структурализма: биологическая дискуссия в России» (в сб.: «Язык и наука конца XX века». М., 1995), «Лингвистика, дискурс о языке и русское геоантропологическое пространство» (в сб.: «Поэтика, история литературы, лингвистика: Сборник к 70-летию Вяч. Вс. Иванова». М., 1999) и др. Данная работа подводит итог многолетним исследованиям автора в области истории и эпистемологии лингвистики во взаимодействии с другими областями знания.

П. Н. Савицкий: в послереволюционной эмиграции они создавали структурализм как «новую науку» и вместе с тем — особую «русскую науку». В этом, как мы дальше увидим, источник многих сложностей и парадоксов. В их творчестве научные идеи, связанные с созданием методологии структурного исследования (прежде всего, структурной фонологии), сложным образом взаимодействовали с идеологическими мотивами и конструкциями (евразийство).

Как показывает само заглавие книги, ее проблемный стержень — это соотношение между «структурой» и «целостностью», между рождением новых научных идей и слоем метафизических обоснований. Это соотношение осложняется третьим моментом — метафорой организма: рождающийся структурализм хочет, но подчас не может от нее освободиться. Увлекательный сюжет этих попыток самоопределения новой науки так или иначе строится вокруг вопроса о том, возможна ли вообще в науке такая абсолютная самобытность. Вполне понятно, что для слависта-иностранца это вопрос не только теоретический, но и экзистенциальный. А потому доводы автора не отделены от пафоса, поиск — от отчаяния, а раздражение — от явно сквозящей в книге любви автора к своему научному предмету — этим ученым, чудакам «не от мира сего» или же вдохновенным прагматикам, работавшим над созданием «русской науки». Россию, утверждает он, можно и нужно пытаться «понять умом», в данном случае — расширяя перспективу и помещая «историю науки» в более общий контекст «истории идей».

Исследовательский путь автора всесторонне подготовил его к осуществлению этого широкого рационального замысла. Увлеченность русистикой во всем разнообразии ее конкретных предметов и проявлений (от проповедей протопопа Аввакума до новейших лингвистических концепций) позволила ему накопить большой опыт чтения текстов (и интерпретации контекстов) русской культуры. Анализ политико-идеологического дискурса советской эпохи 1970-х — 1980-х годов научил его разбираться в многообразии позиций говорящего субъекта и многослойности смысла. Личный опыт сделал его свидетелем структуралистской революции — невиданного роста и затем быстрого отката социальной популярности структурных методов во Франции 1960-х — 1970-х годов. Вместе со своим поколением он пережил шок от антиисторических воззваний «властителей дум» 1960-х — 1970-х годов и в конце концов поставил в центр внимания не прямые линии наследо-

вания и не разрывы, но менее категоричное и более содержательное понимание преемственностей, учитывающее многообразные пересечения, взаимоналожения, разноритмие в развитии знания.

На помощь в осуществлении этих познавательных установок приходит французская историческая эпистемология (Башляр с его историей физики, Кангильем с его историей биологии). На фоне этих образцов историко-эпистемологической работы П. Серио мыслит эпистемологию науки не только как «историческую», но и как «сравнительную», то есть выходящую и за пределы одной науки, и за пределы одной культуры. В книге речь идет о «производстве научных знаний» на перекрестке научных дисциплин и одновременно на перекрестке культурных и интеллектуальных влияний. В обсуждении всех этих вопросов слышны также и отголоски англо-американских споров в философии науки: это и вопрос о применимости понятия парадигмы к гуманитарному знанию, и вопрос о роли внешних и внутренних факторов в развитии познания: ни те ни другие в отдельности не способны объяснить познавательные процессы. Предлагаемое исследование не сосредоточено ни на имманентной логике идей, ни на внешних обстоятельствах развития науки: речь идет об обстоятельствах и предпосылках рождения новой научной концепции.

П. Серио называет свой подход сравнительной эпистемологией. Как общая позиция она предполагает сопоставление различного, но сходного историко-научного материала, отказ от тезиса о несоизмеримости. Как конкретная методика она требует тщательного перепрочтения текстов, затертых последующими интерпретациями, реконструкции интеллектуальных миров и лежащих в их основе «идеальных библиотек» (что читали, могли читать, могли знать те или иные авторы). «Сравнительное» здесь значит не имманентное, а открытое к иному познавательному опыту: за тождественными понятиями (например, такими как язык, наука, нация) в разных дисциплинах и разных культурах лежат разные смыслы, которые и требуется выявить. Слово «эпистемология» здесь ближе к его французскому пониманию (общие закономерности истории наук), хотя в ряде моментов отвечает более широкому, свойственному русской философской культуре, пониманию эпистемологии как общей теории познания (включая вопросы, связанные с построением объекта познания, критериями познания и др.). Соизмеримость интеллектуальных и культурных продуктов ищется не

на уровне парадигм или эпистем (хотя эти понятия в книге употребляются), но скорее на уровне «культур научного исследования».

Книга состоит из четырех больших частей («Состояние вопроса», «Замкнутость», «Природа», «Наука») и насквозь пронумерованных глав. Изложение материала многопланово, причем в разных частях сходный материал поворачивается к нам разными своими гранями, выполняет разные функции. В первой части излагаются общие принципы исследования и дается очерк общих идей евразийства, во второй демонстрируется становление «евразийской лингвистики», в третьей — ее концептуальный инструментарий (понятия сродства, конвергенции, месторазвития, связанные с метафизикой и натурфилософией, а также с биологией и географией), в четвертой показаны методологические принципы «новой» «синтетической науки».

### Темы и идеи

*Евразийство: некоторые парадоксы.* Итак, в первой части книги в центре внимания — идеи евразийства, которое хочет быть философским и научным, но включает в себя много разного и от таких желаний весьма далекого (идеологического, политического, психологического). Евразийское мировоззрение несет на себе мету растерянности и неуверенности в себе русской эмигрантской интеллигенции, оно свидетельствует о смене ценностей. Это совокупность идей, позволявших ей держаться стойко и не терять надежды на изменение хода событий на своей исторической родине, в России, куда некоторые надеялись вернуться. Революция и две разрушительные войны (мировая и гражданская), казалось, воочию продемонстрировали, что Россия предана Западом. Возрождения поэтому следовало ожидать не с Запада, а с Востока. Как определить себя на фоне Европы? Как защититься от растворения в чужой культуре? На решение этих задач и направлены евразийские идеи.

Адепты евразийства, настаивает П. Серию, не шарлатаны и не догматики, они не держатся за старое и смотрят в будущее. Вместо прежнего места жизни, им отныне недоступного, они измышляют некое утопическое место, новый материк — срединный мир, или Евразию, обладающую своеобразными природными и духовными свойствами и возможностями (географически совпадает с бывшей Российской импе-

рией и современным им Советским Союзом). Все науки и искусства были призваны служить обогащению и развитию этой идеи, внося свою лепту в построение знания об этом удивительном объекте. Бурная научная активность евразийцев была призвана укрепить географические (Савицкий), культурные (Трубецкой), лингвистические (Якобсон) основы Евразии. В рамках этого замысла строились удивительные по своей изобретательности интеллектуальные построения.

Сама идея евразийства, по мысли его главного теоретика Н. Трубецкого, не только русская: она предполагает единство восточных славян (в противоположность славянофилам, евразийцы решительно отмежевывались от западных славян, католиков) с финно-угорскими и тюркскими племенами. Возврат к православным идеям, моральное преодоление большевизма должны позволить Евразии — естественной, живой целостности, «многонародной нации» — культивировать свой собственный, евразийский национализм, сохраняя территориальное и государственное единство. Евразийский тезис о своеобразии одной культуры перед другой возник под влиянием или параллельно мыслям многих предшественников и современников евразийства — Данилевского, Шпенглера, Тойнби.

Общий пафос евразийства — антиуниверсалистский. Культуры выступают как органические целостности. Чтобы утвердить в правах этот мир, требовалось решительно оторвать Россию от западного «романо-германского» мира. Соответственно — русская культура послепетровского периода трактуется как подавленная прозападным режимом, а русская революция — как болезненный, но позитивный сдвиг (в этом отличие евразийцев от других эмигрантских течений): бессознательное устранение народом чуждой, непонятной ему культуры. Видя в эгоцентричных романо-германцах злейших врагов евразийцев и всех угнетенных народов, настаивая на абсолютной несовместимости евразийского и европейского миров, евразийцы выдвигают свою педагогическую стратегию: евразийские народы должны развить и укрепить собственное самосознание, выработать «сознательное мировоззрение».

Излагая историю и структуру евразийских идей, автор выявляет ряд неувязок и парадоксов.

Во-первых, евразийская критика «романо-германства» использует «романо-германские» концептуальные средства, так или иначе воспро-

изводит западные идеи и ходы мысли. Это были элементы немецкой идеалистической философии первой половины XIX века, весьма популярной в России в славянофильских и неославянофильских кругах (правда, при этом евразийская история замкнутых целостностей исключает гегелевскую идею прогресса). Это были также неоплатонические и романтические воззрения, предполагавшие первенство космического целого над единичным и частным, первенство откровения и особого видения над познанием (хотя евразийцы отказывались от нерушимого натурфилософского единства в пользу множественности взаимонепроницаемых культур). Это было также первенство синтеза — над анализом, национальной специфики — над универсальным и общезначимым.

Во-вторых, эта критика предполагает двойной стандарт в евразийских представлениях о Евразии и о Европе: если внутри Евразии, согласно представлениям евразийцев, царит идиллия многонародной нации с открытыми взаимопереходами между ее составными частями, то на внешних ее рубежах граница всегда на замке — это и есть граница Евразии с западным миром. Двойной стандарт проявлялся и в психологии евразийцев: так, критикуя западные подходы и методы, евразийцы внимательно следили за тем, любят ли их на Западе, и обижались на то, что их не понимают и не принимают. Да и в жизненных своих привычках евразийцы были скорее европейцами: во всяком случае, жить они предпочли не в Азии, а в центре Европы. В идейном плане «туранский», степной, культурный элемент оставался для них чистой абстракцией: движение включало в свой состав почти исключительно русских, обосновывалось в Европе и совершенно не интересовалось «азиатской» мыслью и культурой. Можно предположить, что за заботой о Евразии скрывается совсем другая забота — о границе между Россией и ее «главным другим» — Западной Европой как объектом одновременного притяжения и отталкивания.

*Как возможна евразийская лингвистика?* Евразийские идеи важны автору в данном случае не сами по себе: ему требуется восстановить евразийское языкознание как утраченное звено в общей истории языкознания (вторая часть книги). Наиболее яркий его пример — это якобсоновская концепция евразийского языкового союза, возникшая на рубеже 1920-х и 1930-х гг.

Понятие языкового союза придумал Трубецкой в 1923 году в противоположность понятию языковой семьи. В статье «Вавилонская башня и смешение языков» он писал о том, что множественность языков — вовсе не проклятие Божие, а условие культурного расцвета. Он говорил о языковом союзе применительно к болгарскому языку, который принадлежит одновременно к языковой семье славянских языков (вместе с сербохорватским, польским, русским) и к балканскому языковому союзу (вместе с современным греческим, албанским и румынским). К разработке идеи евразийского языкового союза Якобсона подтолкнули две мысли Трубецкого — о наличии тесной связи между русским духовным миром и туранским духовным миром и о наличии тесной связи между туранским духовным миром и туранскими языками. Якобсон продолжает это рассуждение: если два первых тезиса верны, значит и между туранскими языками и русским языком тоже должна существовать тесная связь, однако искать ее следует не в генетической общности (ее заведомо нет), а на уровне конвергентных связей развития. Так и родился проект исследования «структурной общности евразийских языков» или изучения сродства без родства.

Он осуществлялся не в вакууме. Автор дает широкую панораму споров о том, как определять границы между сущностями — прежде всего границы языков и диалектов, — отмечая, что доводы этих дискуссий подчас воспроизводятся при территориальных спорах в строящейся и перестраивающейся после Версальских соглашений Европе. Размах спектра мнений был широк и доводил до мысли о невозможности проведения границ языков и диалектов со сколько-нибудь большей мерой надежности. Пражский лингвистический кружок учитывал доводы этого спора о замкнутости и разомкнутости языков и диалектов. В частности, позиция Якобсона такова: он отказывается от тезиса о непрерывности переходов между диалектами и считает, что между ними существуют четкие границы, однако увидеть их можно лишь на уровне общего системного целого, увязав между собою различные признаки и выявив не просто отдельные ряды явлений, но (вслед за Ю. Тыняновым) «ряды рядов».

В тот период в лингвистике было немало построений, чем-то напоминающих «языковые союзы». В книге дается череда ярких интеллектуальных портретов (Шухардт, итальянские неолингвисты, Й. Шмидт), очерчивается спектр реально использованных наукой того времени



возможностей (идеи гибридизации, субстратов, контактов, языковых влияний). Однако евразийский языковой союз, по Якобсону, не предполагает ни гибридизации, ни субстратного влияния одного языка на другие. Выиграть бой за истинные границы между сущностями евразийская лингвистика надеется, переходя от субстратов и влияний к изучению «пространственного фактора», а от фонетики (изучение звуков с акустической или артикуляторной точки зрения, показывающее, что между различными звуками нет четких границ) — к фонологии (выявление фонем — мельчайших единиц языка, способных различать смыслы). Все это и осуществляется в концепции евразийского языкового союза.

Так, евразийские языки характеризуются географическим признаком (охват единой территории) и двумя фонологическими признаками. Это мягкостная корреляция или, иначе, смысловозначительное противопоставление твердых и смягченных согласных («лук» — «люк», «быт» — «быть», «вес» — «весь», «волна» — «вольна») и отсутствие политонии, или смысловозначающей интонации. Якобсон описывает эти признаки применительно к конкретной географической зоне Евразии. Следуя его словесным описаниям, П. Серию строит карту, графическое изображение евразийского языкового союза. При взгляде на эту карту — теперь уже реальную, а не только воображаемую — обнаруживается картина, симметричностью которой так восхищались евразийцы. В самом центре находятся языки Евразии: все они обладают мягкостной корреляцией и не имеют политонии. Симметрично с двух сторон эта область охватывается зонами распространения политонических языков без мягкостной корреляции (с одной стороны — балтийские языки, с другой, на юго-востоке — китайско-тибетские). Еще дальше от центра лежит периферийная область, в которой нет ни мягкостной корреляции, ни политонии (это и есть языки Западной Европы). За ними, дальше от центра, вновь располагаются политонические языки (например, банту в Центральной Африке).

Здесь важно, что Якобсон видит эту картину не только как симметричную, но как имеющую абсолютный центр (евразийские языки) и абсолютную периферию (языки Западной Европы). При этом его не смущает отсутствие изометрии в евразийском языковом союзе (балтийская зона слишком мала в сравнении с тихоокеанской), а вопрос об оси симметрии он вообще не обсуждает. Тем самым его концепция оказы-

ваеся ближе к романтическому географу Карлу Риттеру, чем к современной лингвистической географии. Такое геометрическое видение мира призвано служить одновременно и критерием истины, и онтологическим доказательством существования своего объекта. Столь же уверен в заведомой симметрии явлений и Трубецкой в своих фонологических разысканиях: если гласные не складываются в симметричную систему, значит, что-то тут не так, а виноват исследователь — ведь несимметричную систему просто нельзя помыслить<sup>2</sup>.

Каково эвристическое значение этой концепции евразийского языкового союза — по сути, главного построения евразийской лингвистики? Она способна объяснить некоторые языковые изменения при миграции языков. Так, например, языки, вошедшие в зону евразийского союза или же непосредственно соседствующие с ним, приобретали мягкость, изначально ее не имея (это восточные диалекты эстонского, румынского и болгарского), и, напротив, языки, вышедшие из союза, ее утратили (по Якобсону — турецкий, по Савицкому — венгерский). Однако, как показано в книге, в конструкции евразийского языкового союза много неясного и приблизительного. Во-первых, наличие однотипных фонологических корреляций в евразийских языках (или иначе — языках СССР) характеризует не столько языковой союз, сколько некоторое объединение языковых признаков. Но если так, можно ли ставить на одну доску наличные и отсутствующие признаки? Правомерно ли соотносить географическое пространственное расположение с абстрактными фонологическими признаками?

А как быть с фактическими опровержениями схемы, когда ирландский язык, имеющий все фонологические признаки евразийских языков, исключается из союза из-за отсутствия соседства, а, например, польский, не только имеющий все нужные признаки, но и территориально смежный с евразийскими языками, — из-за конфессиональной чуждости. При этом внимание исследователя отмечает у Якобсона постоянное скольжение терминологии: она колеблется между абстрактным и конкретно-эмпирическим, между фонологическими критериями и фонетическими субстанциональными реализациями. Получается,

---

<sup>2</sup> Д. Чижевский и Й. Томан четко связывают фонологию Трубецкого с евразийскими идеями, с его одержимостью поиском симметрий, примером которых является для него тюркская культура с характерными для нее параллельными вторыми во всем — в музыке, в эпосе, в религии, в языке.

что фонологические черты, присущие отдельным языковым системам, расплзаются, как «масляное пятно», ведут себя несистемно и непоследовательно: так, смягчение согласных иногда выходит за пределы Евразии (восточные диалекты эстонского языка), иногда останавливается на самой ее границе.

Концепция евразийского языкового союза весьма своеобразна. При этом ее своеобразие оттеняется не только на фоне других лингвистических подходов в мире и в Европе, но и на фоне подходов советского языкознания того времени. Яркие моменты сходств и различий обнаруживаются между евразийской лингвистикой и концепцией Н. Я. Марра — с его поиском единой теории языка и культуры, универсальной эволюции всех языков мира. Конечно, это радикально различные учения. Одно воплощает официальное советское языкознание, другое представляет маргинальную эмигрантскую концепцию, одно провозглашает исторический материализм, другое — культуррелятивистский подход к языку и культуре. Однако марризм и евразийство имеют удивительно много общего: оба строятся вокруг проблемы универсализм/релятивизм, оба ярко реагируют на кризис сравнительно-исторического языкознания, оба провозглашают разрыв с западной наукой (для Марра — «буржуазной», а для Трубецкого — «романо-германской»), но явно сожалеют о том, что ни яфетидология, ни фонология никого в Париже не интересуют. Позитивно общее между ними то, что и Марр, и Трубецкой провозглашают новую науку вообще и новую теорию языка в частности. Помимо этого и евразийцы и марристы стремятся к раскрепощению третьего мира и сочиняют освободительные воззвания к восточным народам, сближаясь с официально-советским отношением к Востоку.

*Понятийные опоры: сродство, конвергенция, организм.* Очевидно, что евразийская лингвистика не могла бы существовать без достаточно артикулированного концептуального аппарата. На каких понятиях она строится (третья глава книги)? Главы, посвященные анализу ее понятий и ее интеллектуальных прообразов — одни из лучших в книге. Как показывает П. Серию, помимо «языкового союза» и «конвергенции», большую роль в ней играло понятие сродства (*affinité*) как сродства и как притяжения. Реконструируя «идеальную библиотеку» Якобсона, автор выявляет и ставит в центр внимания таких персонажей,

как Гёте, Бэр, Берг. Все эти мыслители многое дали Якобсону для понимания «сродства» в языке или органической целостности языковых явлений. Тщательный анализ странствий этого понятия показывает, что прежде чем попасть в лингвистику, оно долго путешествовало из юридического языка в алхимический, затем в химический и натурфилософский язык Гёте, откуда его уже и заимствует Якобсон. В «Избирательном сродстве» Гёте показывает соответствия между притяжением химических тел и притяжением влюбленных сердец (трагически закончившимся): философия природы призвана учесть предопределенность и соотношенность всего в мире — от молекул до звезд.

Все эти имена значимы для Якобсона. Особенно сильное влияние среди биологов оказал на него Л. С. Берг с его книгой «Номогенез, или эволюция на основе закономерностей» (1922). Эта книга предполагает отказ от Дарвина: эволюция идет не путем дивергенции от общего предка, но путем конвергенции в сходной среде. Вопреки Дарвину и Шлейхеру, стать сходными, не будучи ими, у Берга вполне возможно: так, киты стали похожи на рыб, проживая в одинаковой с ними среде. Конечно, в основе всего лежит предрасположенность к определенной эволюции (эволюция лишь проявляет уже имеющиеся зачатки). Взятая у Берга идея преформизма была важна Якобсону, в частности, в его критике Соссюра: диахрония это не «агломерат случайных изменений», а процесс целенаправленной языковой эволюции.

Другая важная для Якобсона идея — это идея соответствий, посредством которой Трубецкой и Якобсон вместе с географом Савицким искали совпадений между изоглоссами, изотермами и другими культурными и природными изолиниями. Поиск этих изолиний должен подтвердить само существование Евразии богатством открывающихся взору корреляций. Однако мало накопить соответствия, черты сродства, конвергентные тенденции. Нужно соединить все это в общую картину. Для этого Якобсон предлагает понятие «увязки», взятое из современного ему русского языка: примеры таких увязок или соответствий имеются повсюду, нужно только уметь их видеть. Савицкий выдвинул понятие месторазвития как благоприятного к конвергентной эволюции места сонаходимости культур и языков. Он был уверен, что ему удалось выявить полное совпадение диалектных изоглосс русского языка с изотермами российского климата, и эта его работа — «Проблемы лингвистической географии с точки зрения географа» — оказала

огромное влияние на Якобсона, зачаровала его мыслью о совпадениях и симметриях, абсолютном центре и перифериях, воплощенной, как мы уже видели, в концепции евразийского языкового союза.

Этот раздел книги насыщен яркими примерами параллельных и взаимодействующих процессов использования метафоры организма в разных областях гуманитарного знания. Здесь глубоко раскрыта роль этой метафоры одновременно и как препятствия к исследованию структуры, и как источника плодотворных познавательных аналогий. Отказ русских пражан от метафоры организма и вместе с тем ее использование — значимый для развития всей лингвистики XX века парадокс. Мы видим, как явно отвергая натурализм (языки не являются растительными или животными видами), Якобсон продолжал пользоваться метафорой организма. Например, выявленная Бергом линия противопоставления между номогенезом и случайной эволюцией в биологии представляется Якобсону первостепенно важной и в лингвистике. По сути, организмом был для евразийцев не только язык, но и все евразийское «месторазвитие» в единстве таких его моментов, как почва, климат, культура, религия, образ мысли и проч. В книге показана действенность этого слоя метафорических предпосылок независимо от того, насколько явно они осознавались учеными.

*Об основаниях евразийской науки.* Теперь мы подходим к важнейшему для автора пункту исследования — эпистемологическому: что же это за знание — евразийская наука, каковы принципы его построения (четвертая часть книги)? Прежде всего для нее характерна не установка на очищение научного предмета, а скорее наоборот — установка на максимальное нагружение его всевозможными соответствиями и параллелями. Многие примеры такого нагружения читатель уже видел в предыдущих главах. Таким образом, в противоположность обычному представлению о выделенности и самостоятельности научных предметов структурного анализа у Трубецкого и Якобсона, как подчеркивает автор, наука о языке совершенно не самозаконна: напротив, она тесно связана с психологией народов, географией, историей, исследованиями культуры, а Савицкий добавлял к этому экономику, изучение климата и почв.

Средоточие эпистемологической озабоченности для автора — это евразийская вера в реальность, данность, натуральность своего объекта, фактически отказ от понимания его построенности, измышленно-

сти. Они склонны были считать реальным то, что скорее было проектом, желанием, утопией. Из этого в свою очередь вытекали определенные представления о целях и способах познания, о доказательствах его результатов и проч. Вследствие этого теории евразийцев — культурологические, а отчасти и лингвистические — предстают как некий натуралистический холизм, романтический натурализм, в лучшем случае — своеобразный «онтологический структурализм». Просветленный ум прозревает симметрии, объемлет целостные предметы, обладающие более высоким онтологическим статусом, нежели обычные предметы эмпирического изучения. Трактовка «построенного» объекта как «реального» сочетается у евразийцев с его идеализацией — но не как «идеального объекта», а как своего рода воплощенного идеала. Например, евразийцы считают идеальными размеры Евразии: они и позволяют ей существовать как самодостаточная органическая целостность в отличие от других сущностей — слишком больших или слишком маленьких для того чтобы быть жизнеспособными. Евразию следует беречь и сохранять как идеальную органическую целостность, над судьбой которой властвует Божьи законы; а человеку грех разрушать целостности там, где они сумели возникнуть.

Устремленные к новой структурной науке, евразийцы, как показано в книге, нередко называли структурой то, что по сути было синонимом синтеза<sup>3</sup>. Так, Трубецкой считал одной из целей евразийского подхода координацию работы отдельных специалистов, «известный научный и философский синтез». Этим призывам к синтезу вторит и Якобсон: если раньше русисты занимались только славянскими языками, то теперь, в свете идей конвергентного развития, языкознание войдет «в круг синтетических россиеведческих дисциплин». Единое знание возможно только в рамках единой идеологии. Эта установка на единство и синтез для евразийцев первична: метафизика идет впереди, а наука следует за нею. Соответственно они повсюду неустанно ищут откровения: вот взгляду открылся новый объект (новый материк) и нарекли ему имя — Евразия (которое ранее применялось к Европе и Азии вместе взятым)...

---

<sup>3</sup> Или, заметим, синкретизма — как у Трубецкого, который идеализировал Византию как идеальный синтез того, что можно было бы счесть скорее еще не раскрывшимися и не расчленившимися областями знания → прежде всего это относится к науке и философии.

Однако доверие программе всеохватной синкретической науки не было для евразийцев неизменным. В письме Трубецкого Савицкому от 10 декабря 1930 года звучат иные мотивы. Не автаркия и самобытность, а, напротив, причастность общеевропейскому научному делу важны для серьезного ученого. Зрелый Трубецкой начинает сомневаться и в возможностях синтетической науки. «Широкие и большей частью поспешные обобщения, столь характерные для евразийства и, в частности, для моих евразийских писаний, в настоящее время мне претят. Я научился ценить „солидность“, полюбил ее. Или лучше сказать, научился видеть шаткость и иллюзорность широких обобщений. Прочность конструкции для меня важнее ее грандиозности. Это тоже симптом иного душевного возраста, чем тот, в котором жило и который хотело навсегда удержать и сохранить за собой евразийство». Менялся и Якобсон. После войны его взгляды стали гораздо более ориентированными на мировое сообщество. Один лишь Савицкий, несмотря на все трудные перипетии своей личной судьбы, навсегда остался приверженцем синтетической евразийской науки как «единой философии сущего».

Каков же эпистемологический итог исследования этого напора идей, этой динамики поисков? Как отмечает автор, «структура» у русских пражан лишена однородности и прочности сложившегося понятия. Скорее она представляет собой определенный набор вариаций смыслов вокруг синтеза, целостности, системы, сущности, природы с неясными соотношениями частей и целого и неопределенными границами. Несмотря на все прорывы от целостности к структуре, этот путь не был пройден до конца. Так что евразийская наука — это не особая парадигма и не отдельная эпистема. Это концептуальная диспозиция, в которой мысль о структуре кристаллизуется в контексте натурфилософских органицистских идей, в основном германских, с которыми русский культурный мир никогда не терял связей — в отличие от французского культурного мира, мощно развившего позитивизм и освободившегося от натуралистической метафизики. Однако парадокс здесь заключается в том, что не соссоровский, а именно пражский подход к языку оказался наиболее плодотворным для последующего развития лингвистики: ведь именно его Якобсон вывел в Америку, Мартине ввел в описания конкретных языков, а Леви-Стросс перенес на антропологию, сделав ее структурной наукой. Как можно объяснить этот парадокс?

### «Вопреки» или «благодаря»?

Это размышление хочется продолжить, хотя автор — небезосновательно — избегает здесь точек над *i*, опасаясь воспроизведения ложных очевидностей. Можно ли вообще определить, возникает ли пражский структурализм «благодаря» или «вопреки» евразийской идеологии? Наверное, скорее «вопреки», нежели «благодаря», хотя, разумеется, никакие научные построения никогда не рождаются в стерильной концептуальной обстановке, так что в данном случае евразийская атмосфера была вполне конкретным обстоятельством, не поддающимся редукции и устранению. В некотором смысле это было одновременно и «эпистемологическое препятствие» (этого башлярковского понятия автор избегает — по-видимому, как термина, слишком жестко закрепившего в исторической эпистемологии идею разрыва), и среда рождения структуралистских идей.

Вряд ли можно считать евразийство как многослойный феномен также и научной практикой, как того хотелось его адептам. Ведь в нем явно преобладает идеологический, а не научный интерес, оценка, эмоция, социально-политическая программа. Недаром, по сути, евразийцы предвосхищали или освещали создание СССР (по Трубецкому), а затем (уже после Второй мировой войны) и создание социалистического лагеря (по Якобсону)<sup>4</sup>. «Против всего романо-германского» — таков был самый громкий клич битвы. «За евразийско-российскую самобытность» — таково было самое сильное положительное утверждение.

Можно предположить — и автор фактически делает такое предположение — что роль евразийства в генезисе идей структурализма отчасти «психотерапевтическая». И это более или менее понятно: в известном смысле история евразийства есть история того, как не сломаться в эмиграции, где за спиной СССР, откуда еле унесли ноги, а впереди Европа, которая не открывает своих объятий. В этом смысле роль евразийства — это психологическая, энергетическая поддержка в

---

<sup>4</sup> См., в частности: Автономова Н. С., Гаспаров М. Л. Якобсон, славистика и евразийство: две конъюнктуры, 1929—1953 // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999. С. 334—341; Евразийство: за и против, вчера и сегодня (круглый стол) // Вопросы философии. 1995. № 6; Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915—1939 // Cahiers de l'ILSL. N° 9. 1997; Letters and other Materials from the Moscow and Prague Linguistic Circles, 1912—1945. Ann Arbor, 1994.



выживании замечательным ученым. По-видимому, идеи евразийства стали для них не только средством психологической компенсации, но и способом канализации и мобилизации групповой энергии на общую цель (в данном случае — построение структурной фонологии и распространение ее идей в мире). Смелость, полемичность, убедительность, сила утверждения нового у евразийцев привели к тому, что все европейские лингвистические конгрессы 1920-х — 1930-х гг. прошли под эгидой «русских пражан»: их выслушали и их идеи во многом приняли.

Спрашивается: что именно в евразийстве «как идеологии» было связано с теми или иными положениями пражского структурализма «как науки»? Наверное, что-то в главном наборе евразийских положений помогало рождению структурализма, что-то ему мешало, а что-то было для него безразлично. Можно предположить, что евразийский поиск соответствий поддержал некоторые моменты структуралистской программы исследования отношений, но что идея Евразии как предсуществующей реальности, якобы не нуждающейся в обосновании, явно мешала выработке критико-рефлексивного отчета в своих предпосылках, характерного для развитой науки. Эпистемологическая рефлексия явно не была сильным пунктом Пражского лингвистического кружка — в отличие от Венского кружка, заседавшего, казалось бы, совсем неподалеку и озабоченного критериями научности естествознания, выработкой языка методологического описания науки.

Необходимо учесть и то, что роль тех или иных «внешних» обстоятельств развития истории науки различна в ситуации возникновения идей и в ситуации их воспроизводства, ибо не все то, что было важным для рождения научной идеи, включается в процесс ее дальнейшего развития. В этом смысле, например, «выветривание» евразийского генезиса идей из последующего функционирования структурной фонологии было бы вполне объяснимо. Во всяком случае это вещь обычная в истории науки: что, собственно, из написанного Ньютоном в обоснование своих физических идей осталось в памяти тех, кто продолжал его работу? К тому же немаловажно, что у гуманитарных наук пока еще мало опыта в строгом изучении взаимозависимостей разного рода, силы, степени — за рамками прежних мощно редуccionистских схем.

Главный вывод автор совершенно справедлив: наличие евразийского слоя идей еще не делает концепции «русских пражан» особой наукой, как, допустим, наличие марксистского обоснования концепции

Марра не делает не делает марризм особой наукой. При этом евразийский эпизод остается все же во многом непонятным вне более объемного фона предшествовавших ему славянофильских идей, с одной стороны, и последующих ему более четко структуралистских идей — с другой. В качестве этого продолжения мы имеем в виду прежде всего «Основы фонологии» Трубецкого, книгу, писавшуюся в 1930-е годы — как раз тогда, когда Трубецкой разочаровался в идеях евразийства. Как нам кажется, в «Основах фонологии» Трубецкой — не евразиец. А ведь именно этот слой идей вошел в дальнейшее развитие, связанное уже с французским структурализмом.

Так что же у нас получается с нашими структуралистами — пражским и женевским (соссюрским)? Один, формально рожденный, оказался не вполне жизнеспособным, а другой, покамест так и не родившийся, — весьма деятельным? Только ли в том тут дело, что Соссюр был больным одиночкой, а евразийцы — группой молодых, сильных и активных людей? Правда, тут важно и другое. Когда евразийцы выезжали на «романо-германские» научные конгрессы, готовые сражаться за свою новую науку — структурную фонологию, они с удивлением обнаруживали, что имеют гораздо больше единомышленников, чем думали. Не значит ли это, в частности, что различия между разными подходами преувеличивало их молодое самоутверждающееся воображение — то самое, что списывало со счетов Соссюра как «старый хлам»?

Один из источников распространения идей пражского структурализма связан, по-видимому, с тем, что именно «русские пражане» сделали то, что требовалось лингвистике XX века, получившей в наследство огромную массу неупорядоченных или недостаточно упорядоченных языковых фактов. Структурный метод описания, связанный с выделением оппозиций и корреляций, стал наиболее простым, красивым и удобным способом описания языков мира. Сама потребность в описании конкретных языков, наверное, делала невозможным, да и ненужным полное отвлечение от языковой субстанции. Метафора организма тоже оказывалась не самым большим грехом, так как речь шла именно о конкретных языках, имеющих свою историю, свою эволюцию, как бы мы ее ни понимали — дивергентно или конвергентно. К тому же, по-видимому, языковой материал, языковые факты не слишком сильно зависят в лингвистике от применяемых для их описания общих идей. Во всяком случае, «русские пражане» описывали реаль-

ные языки (*langues*). Соссюр же в своем «Курсе общей лингвистики», имеет дело не с конкретными языками, а с общей языковой способностью (*langage*) и прежде всего — с языком как таковым (*langue*).

Быть может, именно с этим связана возможная реактуализация соссюрковского подхода сейчас, когда на первый план в лингвистическом исследовании выходят когнитивные, прагматические, социологические аспекты, связанные скорее с анализом языка вообще и языковой способности, чем конкретных реальных языков. Верно, что линия соссюрвской мысли временно осталась в стороне. Зато теперь лингвисты могут заново вернуться к его негативной онтологии и отчетливой эпистемологической рефлексии. И в этом смысле структурализм как соссюрровский конструктивизм — еще впереди, хотя иногда кажется: куда же тут можно двигаться после Ельмслева? Некоторые исследователи скажут, что в наши дни со структурным подходом в лингвистике и других гуманитарных науках делать больше нечего, что соссюрвская абстракция языка оказалась слишком сильной и потому быстро перестала быть полезной абстракцией, а на месте единой лингвистики появилось множество различных наук о языковой способности человека и разных формах ее проявления. Зато другие полагают, что сейчас, сто лет спустя, из Соссюра как теоретика и философа языка, который опередил свое время, наконец-то можно извлечь плодотворный урок.

Как уже неоднократно отмечалось, автор четко разделяет позиции Соссюра и позиции евразийцев по вопросу о объекте познания. У Соссюра — объект строится осознанно («точка зрения создает объект»). У Трубецкого, Якобсона и других евразийцев — объект (будь то Евразия или язык) реально предсуществует его изучению, и исследователю остается только подтверждать существование этой гармоничной целостности поиском соответствий. Первая позиция наследует номинализму, вторая — реализму (в принципе спор между номиналистами и реалистами в той или иной форме идет в западной культуре от Платона до Хайдеггера). Автору ближе конструктивизм Соссюра, чем реализм евразийцев. Однако по сути для него, как представляется, важен не столько номинализм (средневековый, исторический или некий «идеальный»), сколько своеобразие соссюрвской дифференциальной онтологии (в языке нет ничего, кроме различий) — особого способа построения языка как объекта науки, который еще никому не удалось последовательно осуществить.

## Сравнительная эпистемология с двух берегов

Книга вышла всего год назад и была с интересом встречена читателями; на нее появилось уже много отзывов — не только во Франции и Швейцарии, но и в других европейских странах, а также в России; лингвисты, историки, философы, исследователи культуры открывают и подчеркивают в ней разное. Для кого-то важнее всего доступ к новому материалу, для кого-то — неожиданная параллель между лингвистическими идеями Трубецкого и Сталина, для кого-то — мысль о парадоксальной плодотворности несинхронного культурного и научного развития России и Европы. А теперь и российский читатель с его собственным опытом и ожиданиями тоже сможет отыскать в ней что-то важное для себя.

Русская наука не тождественна западной, но она не является особой наукой — этот лаконичный авторский итог фиксирует разумную и взвешенную позицию в вопросе о взаимоотношениях русской и западной науки и культуры. Ценно и то, что сравнительный подход, так сказать «по определению», не может ограничиться однозначной эпистемологической моралью и фактически «подвешивает» оба момента совместности и сопоставления — и Россию (Евразию), и Европу. Хотя автор справедливо предупреждает нас об опасности гипостазирования абстрактных имен, можно постараться представить себе и Европу, и Евразию, и Россию конструктивным, а не реалистическим образом. Тогда окажется, что «Европа» это не столько сущность, сколько порождение воображения русских интеллектуалов в процессе поиска самоопределения, а «Россия» — нечто конститутивное и актуальное для европейского самосознания, ведь речь идет не о каком-то локальном российском и восточноевропейском явлении, а о том мощном пласте идей, который лег в основу всего послевоенного развития всей европейской гуманитарной науки. Уточнение представлений о взглядах «отцов-основателей» важно не только для русского, но и для европейского научного самосознания, сколь бы расплывчатым ни было это общее слово «европейский» применительно ко всей пестроте школ, подходов, тенденций. Проработка несинхронности и разноритмичности развития идей может быть плодотворной, если не толковать ее в духе абсолютной самобытности, которая ведет в тупики культурного солипсизма.

Размышляя над жизнью наших великих соотечественников — Трубецкого и Якобсона — в науке, над ее ярким евразийским эпизодом, мы одновременно задумываемся и над тем, насколько непросто складывается подчас то, что задним числом приобретает вид непреложной закономерности. Например, что значит — «думали открыть Индию, а открыли Америку»? Искали Евразию, а построили фонологию? Искали целостность, а открыли структуру? Или все же искали структурную фонологию, а потому и смогли в конце концов оставить Евразию на обочине? А если все же искали и то, и другое, то что заставило отказаться от того, что мешало главному, и выйти туда, где могли четче кристаллизироваться структурные идеи? В любом случае «евразийский эпизод», опровергающий привычный кумулятивизм историко-лингвистических описаний, как нам представляется, не отменяет главного, не стирает фундаментального сходства между пражским и женевским структурализмом. В общей перспективе это сходство, как нам представляется, все же важнее различий — важнее потому, что познавательный, собственно когнитивный слой знания, так или иначе нацеленный на объективность, вовсе не исчерпывается его мировоззренческими, социокультурными мотивациями, сколь бы важны они ни были для конкретной истории науки.

В конце концов поиск структуры привел к победе над «органицизмом» и «целостностью», без этого облик гуманитарной науки XX века был бы иным. Однако эта победа была не только половинчатой, что уже отмечалось, она вовсе не была окончательной. Во всяком случае, за истекший (после пражского эпизода) период эта борьба структуры с целостностью обострялась еще не раз (например, во Франции в постструктуралистский период). Вместе с тем сейчас, когда структурная методология многим кажется исчерпанной, не намечается ли уже новая перспектива интереса к структуре — и как уроку ушедшего века, и как ресурсу еще не использованных концептуальных возможностей? Но если так, значит ли это, что в гуманитарном знании ничто не рождается навсегда и не исчезает окончательно? По-видимому, нам придется еще долго размышлять о том, в чем структурная мысль преуспела, чего она в принципе не смогла, а что еще может сделать в будущем. Эти вопросы, как мне кажется, слишком рано были сданы в утиль.

«Время синтеза еще не наступило», — в конце концов признал Трубецкой, несмотря на свою устремленность к синтетической науке. На-

верное, нам следует прислушаться к этому признанию великого систематика, осознавшего ребяческую незрелость своих и чужих прошлых грандиозных обобщений—с тем чтобы реалистически и с достоинством отнестись к своему месту в мировой культуре и науке, работая над своей и над европейской (а также над своей как европейской) мыслью и пытаясь сопоставить их ходы и предпосылки. Сейчас, в период, когда повсюду—в истории, эпистемологии, философии науки—отсутствуют сильные теории, позиция автора особенно ценна для нас своим продуманным акцентом на накоплении сопоставительного материала, на выявлении тонких связей между разными предметными областями и разными культурными ориентациями. Для того, чтобы в очередной раз не потеряться на развилке дорог где-нибудь между структурой и целостностью—нам и нужна такая история, которая вписывает динамику научных понятий (не растворяя, но обогащая ее) в общую историю идей: проясняя прошлое, она тем самым позволяет нам лучше понимать настоящее и даже немножко заглядывать в будущее. Своим собственным ярким вкладом в такую межкультурную историю познания и своим призывом к ее разработке с разных берегов и важна для нас эта книга.

## Введение

*Светлое поле науки не так уж светло,  
как кажется.*

Г. Гусдорф (Гусдорф 1993, т. 2, 365)

В двадцатые годы, в этот промежуток между двумя войнами, когда произошло столько революций — в искусстве, в науках или в политике, в этот период, когда пришел конец окопам и бойне, и каждый, казалось, чувствовал себя «уставшим от старого мира» (Г. Аполлинер), Роман Яacobсон и Николай Трубецкой провозглашают — для всех тех, кто хотел их слышать, — новую эпоху в науке, новый способ организации знания. При этом они утверждают, что это *новое* знание имеет *локальное* происхождение: это «русская наука». Эта книга посвящена рассмотрению обоих этих утверждений.

### Новизна и децентрация

Как рождается новое в науке? Как его распознать? Можно ли считать *новыми* высказывания Яacobсона и Трубецкого? Можно ли сказать, что структурализм Пражского лингвистического кружка потребовал *разрыва* со всем прошлым? Есть ли у нас средства, чтобы измерить величину этого разрыва? Были ли Яacobсон и Трубецкой творцами прерывности в научном дискурсе? Или, пожалуй, увидеть новизну этого дискурса можно лишь учитывая ту пространственную и культурную даль, которая отделяет Россию от западной Европы, лишь осмысляя особую роль Праги как перекрестка культурных влияний в центре Европы!<sup>1</sup> И если трудность с четким определением временных границ между парадигмами делает само понятие парадигмы в лингвистике

---

<sup>1</sup> О межкультурных взаимодействиях как особой составляющей духовного климата Праги между двумя войнами см.: Рейно 1990.

малоэффективным, то не удастся ли нам определить пространственные границы между (скажем пока так) *культурами научного исследования* (*cultures scientifiques*)? В центре нашего внимания будет тогда вопрос о *границах* объектов, которые строят ученые.

Но если наука может расчлняться на локальные эпистемы, если она тесно связана с национальными культурами, то какая же это наука? Вопросы такого рода не часто звучат на «Западе» в конце XX века. Однако для Трубецкого и Якобсона — этих двух лингвистов, снискавших мировую славу своим вкладом в лингвистическую науку — вопрос о локальных эпистемах в 20-х и 30-х годах вовсе не был праздным — напротив, он стоял в центре их размышлений. Но тогда нужно признать, что и сам термин «Запад» — во всяком случае для истории науки — это не очевидная точка отсчета: нужно его определить, нужно выявить предпосылки его употребления, исходя при этом из иного способа рассуждения, из русской самоидентификации, в основе которой — противоположность между Востоком и Западом. Таким образом эта работа вписывается в размышления о Европе; навязчивый вопрос русских мыслителей — является ли Россия Европой — побуждает нас искать ответа в истории науки.

Наша позиция не предполагает ничего революционного. Мы пытаемся понять, можно ли считать «органическое» и «структуральное» в текстах Трубецкого и Якобсона синонимами, является ли постоянно употребляемое ими слово «организм» метафорой или же их мышление действительно было биологистским. Речь идет о том, чтобы показать, как в пражском структурализме и прежде всего у его прославленных русских представителей возникало, в муках рождалось понятие *структуры* из романтического понятия *целостности* и на фоне третьего понятия — *организма*. Вопреки заявлениям тогдашних вождей структурализма о резком разрыве с предшествующей традицией мы скорее видим, как один концептуальный мир постепенно отрывается от другого. Новизна в науке не делается декларациями и не отображается как таковая в сознании современников. Объявить о разрыве не значит осуществить разрыв. Свершившаяся в Праге между двумя войнами структуралистская революция — далеко не столь решительный эпистемологический разрыв (*coupure*), каким она хотела казаться. Скорее в 20-е и 30-е годы мы видим все конвульсии медленного и трудного преобразования органицистской метафоры в структуралистское мышле-



ние. Здесь мы будем изучать именно этот момент напряженности перед ускорением, именно это постепенное складывание понятийного аппарата, именно этот момент неустойчивого равновесия — вроде верхней точки на «русских горках».

То, что понятие *структуры* проистекает из понятия *организма* — мысль не новая, она уже выдвигалась Кассирером<sup>2</sup> и Кёрнером<sup>3</sup>. Мы остановимся главным образом на восточноевропейских источниках этой преемственности.

Это время (между двумя войнами) и это место (Центральная и Восточная Европа) имели исключительную важность для истории гуманитарных наук. Увы, во франкоязычном мире об этом очень мало знают. Так, для Франсуа Досса (Досс 1991) история структурализма ограничивается историей парижских интеллектуалов 50-х — 70-х годов, а для авторов «Всеобщей философской энциклопедии» (1990) «структуралистское движение — это движение мысли, достигшее своей высшей точки во Франции в 60-е годы»<sup>4</sup>.

Вот почему мы здесь настаиваем на *децентрации*, на смещении центра: структурализм — это не только Париж 60-х годов. Это также — в 20-е и 30-е годы от Праги и до Вены — водоворот метафор, переносившихся из одной науки в другую (главным образом из географии и биологии в лингвистику); это долгий путь возобновления и переосмысления давнего спора между Просвещением и романтизмом; это игра открытий и недоразумений, в которой немецкий идеализм или неоплатонизм перетолковываются заново учеными из русской эмиграции, пытающимися определить себя перед лицом дестабилизирующей современности — теми учеными, которые вывезли из России в своих умах некую «русскую науку». Это интеллектуальный мир межвоенного периода, в котором философское понятие целостности (тотальности) вступает в двусмысленное и противоречивое отношение с идеологическим понятием тоталитаризма; в котором вопрос о замкнутости и открытости систем, культур, наук соседствует с вопросом об отношениях личности к обществу. В период кризиса всех ценностей — как гуманистических, так и научных — понятие *структуры* в его связи с понятием

---

<sup>2</sup> Кассирер 1945.

<sup>3</sup> Кёрнер 1976b, 701.

<sup>4</sup> Encyclopédie philosophique universelle, Philosophie générale, t. 2, P., PUF, 2468.

*целостности* подняло вопросы об онтологическом статусе коллективных сущностей, побудило к размышлениям о философии истории и о детерминизме. Вот почему мы попробуем здесь внимательно перечитать тексты, которые часто упоминались, но редко читались. Это должно пролить новый свет не только на интересующий нас здесь период, на отношение между наукой и идеологией, между наукой и «культурами научного исследования», но также и на сам предмет лингвистики — на язык как «систему» или «структуру».

Эта книга родилась в результате долгого диалога с миром гуманитарных и социальных наук в России. Если мы настаиваем на *сравнении* наук России и Запада, то причиной тому — личный опыт, постоянное недоумение перед упорными заявлениями русских коллег о релятивности всех научных теорий. Откуда он — этот лейтмотив у столь многих российских интеллектуалов: «наша наука — другая», «вам нас не понять»?

Но еще больше, чем понятие *традиции*, в российских гуманитарных науках и особенно в лингвистике укоренено понятие *локальной, национальной эпистемологической специфики*. А потому нам нужно отправиться на поиски весьма странного объекта — особой культурно локализованной русской эпистемы, о которой так или иначе постоянно говорят в России.

### О трех больших ученых

Чтобы поднять все эти вопросы, мы сосредоточимся здесь лишь на одном моменте отношений между языковедами и предметом их науки. Этот период между двумя войнами — наше далекое-близкое: он видел появление структурной лингвистики, видел рождение Европы из Версальского договора, видел большевистскую революцию в России; он — ключ к пониманию современной Европы.

Межвоенный период был временем кризиса ценностей всей западной цивилизации (вспомним О. Шпенглера) — прежде всего кризиса демократии — и поиска других решений, других форм организации общества (это различные формы тоталитаризма и идеи «возрождения», «нового человека»). Это ключевой период в истории наук — крушение позитивизма как господствующего способа познания, новые важнейшие открытия и изобретения — от относительности до бессознательного, от понятия модели до понятия структуры.

Существует ли связь между всеми этими внешне разрозненными рядами — событийными и дискурсивными? Хочется надеяться, что мы сможем найти хотя бы начало ответа на этот вопрос в Пражском лингвистическом кружке, в трех его персонажах, в трех русских эмигрантах, трех блестящих интеллектуалах одного поколения<sup>5</sup>, столь же загадочных, сколь и характерных для этого периода.

Первый среди них — Николай Сергеевич Трубецкой<sup>6</sup> (1890—1938), «князь-профессор». На Западе он известен только как лингвист, но на самом деле одновременно со своими лингвистическими разысканиями он напряженно работал в целом ряде областей с непривычными названиями — историософия, культурология, персонология — областей, расположенных вокруг политического, культурного, философского центра, притягивающего на целостность — вокруг «евразийства».

На первый взгляд Трубецкой кажется парадоксальной личностью. В своем венском изгнании он бешено ненавидел «романо-германские» народы. Структуралист, он рассуждал о культурах как об «органических целостностях». Жертва большевиков и гестапо, он презирал демократию и возлагал надежды на те страны, в которых живую идею народа и нации воплощала собой единственная партия (как в фашистской Италии и Советской России). Страстный патриот России, он прославлял татарское иго. Релятивист и защитник всех культур, он отказывал украинцам в праве на их культурный язык.

Вопрос о том, насколько взаимосвязаны различные стороны деятельности Трубецкого, вставал неоднократно<sup>7</sup>, хотя сам Трубецкой его решительно отвергал<sup>8</sup>. Изучение этой связи помогло бы нам поставить вопрос о том, действительно ли в лингвистике существует «западная мысль», является ли «русская мысль» ее частью, есть ли среди различ-

---

<sup>5</sup> С. Карцевский, тоже «русский пражанин», участвовал в создании «Тезисов» 1929 года, но в остальном не сыграл важной роли в Пражском лингвистическом кружке. Трубецкой в своих письмах отводит ему весьма скромное место.

<sup>6</sup> В своих статьях, опубликованных по-французски, Трубецкой пользовался транслитерацией Troubetzkoу. Удобства ради мы сохраняем эту транслитерацию для всех публикаций Трубецкого на иностранных языках, кроме работ о Трубецком с его именем в заглавиях, где мы оставляли транслитерацию авторов (как правило, англоязычную).

<sup>7</sup> Ср. Мунен 1972, 100; Виель 1984, 43; Клейнер 1985, 99; Гаспаров 1987, 49.

<sup>8</sup> Трубецкой 1985, 12 (письмо Якобсону от 1 февраля 1921 г.).

ных вариантов структурализма отдельная «восточноевропейская составляющая»<sup>9</sup>, можно ли говорить о русском структурализме (на первом плане — замкнутые системы), и о западном структурализме (на первом плане — абстракции)?

Роман Осипович Якобсон (1896—1982) — это лингвист, о котором несомненно писали больше всего. В Европе он единодушно воспринимается как просто лингвист, в США — как американский лингвист, а известен он больше всего своими работами об афазии, принципом бинарности, особым интересом к универсалиям, определением фонемы как пучка смысловых различительных признаков, «схемой коммуникации». Очень редко кто-либо на Западе стремился воссоздать собственно *русский* аспект его работы. Но еще реже были попытки разобраться в этом удивительном сочетании отказа от современности с преклонением перед авангардом, в его лингвистическом подходе к замкнутому миру Евразии, в его работе натуралиста во имя антинатурализма с его геометрическим подходом к пространственным отношениям между языками.

Наконец, немного в стороне стоит не-лингвист, чья роль в генезисе структурализма остается мало изученной, — это Петр Николаевич Савицкий (1895—1968). Савицкий положил начало географии, которую он считал «структурной»; он первым в России, в годы Первой мировой войны и позднее, построил геополитическую теорию, своеобразие которой заключалось в выявлении систематических соответствий между изолиниями, относящимися к разнородным областям (климат, почва, языки...). Его идеалом был автаркический замкнутый мир, являющий собою *систему*. Вместе с Трубецким он был бесспорным главой *евразийского движения*. Савицкий оказал на Якобсона и Трубецкого большое влияние и должен быть оценен по заслугам.

### «Идеи, пришедшие с Востока»

Существует ли в лингвистике русский *genius loci*, или «местный дух»? Во всяком случае, существует, по-видимому, некая русская культурная основа или, по выражению Якобсона, «русская идеологическая традиция» (об этом см. у Э. Холенштайна<sup>10</sup>, который предпочитает

<sup>9</sup> Так считает Холенштайн (Холенштайн 1974, 8).

<sup>10</sup> Холенштайн 1984, 22.

термин *Russische Geistesgeschichte*). Однако если русский дух места существует, то мы должны держаться за фундаментальное понятие *соизмеримости* или, точнее, *сравнимости* лингвистических традиций, без которой невозможна никакая научная работа. В самом деле, мы сталкиваемся с опасностью, которую обычно даже не замечаем — опасностью *культурного солипсизма* в двух его формах — противоположных, но взаимодополнительных: они явно выражены в России («наша наука особая»), но неявно присутствуют и на Западе («наша наука и есть наука как таковая» (*la science*)). Необходимо подчеркнуть, что этот эпистемологический изоляционизм — один и тот же, когда кто-то утверждает, будто, «чтобы понять Россию, нужно быть русским», и когда кто-то с европоцентристских позиций игнорирует само существование лингвистики в России. Между этими двумя подводными камнями мы стараемся найти сравнимые элементы и выработать методы их *сравнения*. Мы хотели бы построить «сравнительную лингвистику» наподобие «сравнительного литературоведения»; ее целью было бы прояснение одних текстов через другие: не сочинение монографий об отдельных авторах или школах, но рассмотрение их в «поперечном срезе». Быть славистом на Западе — значит быть перевозчиком между двумя мирами, по крайней мере — между двумя научными мирами; но это требует осознанно ставить под вопрос и понятие «абсолютной самобытности», столько милое сердцу современных российских неославянофилов (из-за культурного релятивизма одна культура не может общаться с другой), и наивное невежество, не видящее различий в научных отсылках и самих критериях научности, и бездумное смешение русского интеллектуального мира с «западной культурой»<sup>11</sup>.

На Западе стало общим местом рассматривать историю структурализма как линейную эволюцию от Соссюра до Клода Леви-Стросса и Ролана Барта — с промежуточными звеньями в Праге и Копенгагене в

---

<sup>11</sup> Распространение той или иной научной теории в других странах иногда зависит от весьма случайных обстоятельств. Так, Бодуэн де Куртенэ был известен в Японии задолго до того, как он стал известен в западной Европе, потому что его ученик Е. Д. Поливанов похвалил его перед своим коллегой Дзимбо, который затем стал пропагандировать учение Бодуэна де Куртенэ, хотя и на свой лад (ср. Трубецкой 1933б, цит. по: Париант 1969, 146). Между тем на французском языке не существует ни одного сборника работ Бодуэна де Куртенэ, а на английском — только одна, ср. Станкевич 1972).

20-е и 30-е годы. Так, в статье «Структурализм в лингвистике» из «Всеобщей философской энциклопедии», опубликованной в Париже в 1990 году, в главе, которая, заметим, называется «Западная философия», мы видим следующее утверждение:

Термин «структурализм» появляется—одновременно с соответствующими методологиями («деятельность»), основы которых Соссюр установил в 1906—1911 гг.,—отчасти как протест против позитивизма исторической грамматики. В 30-е годы Трубецкой и Якобсон (в Праге), Блумфильд и Сепир (в США) выделяют минимальные различительные единицы («фонемы»), причем *первые трое основывают свои позиции на соссюровском подходе*<sup>12</sup> (т. 2, 2470).

Якобсон, таким образом, рассматривается как один из «отцов-основателей» структурализма. Точно так же и Трубецкой, в работе, написанной сербской исследовательницей, но хорошо известной на Западе, трактуется как всего лишь продолжатель Соссюра:

В процессе формирования своих фонологических идей Трубецкой вдохновлялся блестящими формулировками «Курса общей лингвистики»: язык имеет социальную функцию; язык представляет собой систему; звуковые единицы играют роль единиц языка, посредством которых осуществляется общение (Ивич 1970, 135).

Лишь изредка высказываются отдельные соображения насчет собственного вклада русских, или восточноевропейцев, в создание структурализма, например, в введении к коллективному труду под названием «Язык»<sup>13</sup> А. Мартине утверждает:

Представленная здесь точка зрения составляет часть мыслительной традиции, идущей от женевских лекций Ф. де Соссюра, однако она оплодотворена идеями, пришедшими из Восточной Европы (Мартине 1968, XI).

Однако если посмотреть с другой стороны, то картина полностью изменится. В письме к Якобсону<sup>14</sup> Трубецкой считает «совершенно возмутительным» тот факт, что А. Мазон пытается усмотреть соссюровские идеи в книге Якобсона «Заметки о фонологической эволюции русского языка...»<sup>15</sup>. Более того, вернувшись из поездки в Англию, он

---

<sup>12</sup> Курсив наш.— П. С.

<sup>13</sup> Мартине 1968.

<sup>14</sup> Трубецкой 1985, 189 (письмо Якобсону от 28 января 1931 г.).

<sup>15</sup> Якобсон 1929а.

глубоко оскорблен тем, что английские лингвисты просто отождествляют его и Яacobсона «со школой де Соссюра». Он добавляет: «Это не сколько вредит нам»<sup>16</sup>.

В 30-е годы одно из наиболее настойчивых утверждений Яacobсона — это подчеркивание специфического «пространственного фактора», который, как он считает, определяет отношения не только между языками, но и между культурами научного исследования:

Для русской теоретической мысли издавна характерны некоторые специфические тенденции (Яacobсон 1929б, 23).

### Традиции

Причины такого непонимания заслуживают изучения. Это не просто несовпадающие варианты одного и того же течения мысли. От этого зависит и наше понимание структурализма в целом.

Между тем различие между русским и западным способами рассмотрения производства лингвистических знаний дополнительно затрудняется тем, что в истории лингвистики — как в России, так и в Западной Европе — упорно используется общий термин «традиция»<sup>17</sup>. Само это упорство свидетельствует о том, что позиции тут не так четко очерчены, как кажется.

После того как работы Фуко камня на камне не оставили от понятия традиции<sup>18</sup>, можно лишь удивляться тому, что этот термин еще живет в истории лингвистики, по крайней мере в нетерминологическом его употреблении, как нечто очевидное. Между тем, искореняя неопределенные объекты «истории идей», Фуко и представить себе не мог, что можно бесконтрольно называть *традицией* самые разнородные культурные ансамбли с их способами исследования лингвистики,

---

<sup>16</sup> Трубецкой 1985, 299 (письмо Яacobсону, датированное маем 1934 г.). Ср. Виль 1984, 51 сл.

<sup>17</sup> Отметим, что слово «традиция» есть признак различия между точными и гуманитарными науками: взбредет ли кому-нибудь в голову говорить о «традиции» в ядерной физике или молекулярной биологии? Напротив, в науках о человеке и обществе отношение между идеологией, культурой и наукой представляется крайне запутанным. Заслуга сомнительного понятия «русская наука» как раз в том, что оно привлекает наше внимание к этому различию.

<sup>18</sup> Ср. Фуко 1969, 31—33.

обусловленными каждой культурой по-своему<sup>19</sup>. Так, Мунен<sup>20</sup> говорит, без всяких определений, о «глубинной традиции русской мысли», а Ж.-К. Мильнер противопоставляет «нашу традицию»<sup>21</sup> русской лингвистической традиции<sup>22</sup>. Мы будем все время ставить под вопрос имена таких сущностей, торопливо построенных и принятых без обсуждения: это относится и к таким без разбору употребляемым понятиям, как «западная лингвистика» и «русская лингвистика».

В таком культуралистском истолковании приемов лингвистической работы не было бы большой беды, если бы не полное отсутствие определения объектов одновременно с глухим призывом к очевидности, к интуиции. И откуда берется такая уверенность в существовании «западной традиции» в лингвистике, к которой относится (или не относится) эта «русская традиция» или «русская мысль»? Где граница (в особенности *восточная*) этой «западной мысли» — граница, за которой на долгом пути от Атлантического океана до Японского моря научная мысль перестает быть «западной мыслью» и становится русской или же азиатской? Достаточно ли однородны эти объекты, чтобы вообще можно было противопоставлять их друг другу? И как узнать, являются ли две «традиции», два способа «мысли» (и можно ли вообще пересчитать эти «национальные способы мысли»?) объектами различных миров или вариантами одного и того же объекта? Употреблять слово «традиция» без его теоретического осмысления — значит сразу всколыхнуть множество вопросов: являются ли рамки мысли, в которой лингвист мог бы выразить свои идеи и подходы, *принудительными*? Можно ли ввести в традицию нечто *новое*, сделать изобретение или от-

---

<sup>19</sup> Выражение «французская лингвистика» обозначает совокупность лингвистических исследований, проводимых во Франции; этим оно отличается от выражения «французская лингвистическая традиция», которое скорее подразумевает какой-то особый «французский способ» работы в лингвистике. Так, Шевалье (ср. Шевалье 1975) считает своим предметом исследования «французскую лингвистическую ситуацию» с 1969 по 1974 год, тогда как Зумпф (ср. Зумпф 1972) рассматривает «главные черты французской лингвистической традиции».

<sup>20</sup> Ср. Мунен 1972, 149.

<sup>21</sup> Уже и само по себе это выражение заслуживало бы подробного комментария. Что значит здесь «наша» традиция — французская? франкоязычная? западно-европейская? просто западная? К чему относится это местоимение первого лица множественного числа?

<sup>22</sup> Мильнер 1982, 334.



крытие? И как при этом определить, вписывается ли это новшество в традицию или выпадает из нее? Имеются ли *переходы* от одной традиции к другой, или же граница между ними на замке? Здесь возникает опасность неразрешимых противоречий. Вот почему мы решительно отказываемся от понятия «традиции» в лингвистике: оно заранее сковывает предмет, который подлежит обсуждению — а именно связь между наукой и культурой, между наукой и идеологией (или идеологиями).

### Дополнительность

Тему «национальные традиции в лингвистике» следует изучать не по декларациям, а по конкретной работе. Внимательное прочтение текстов позволяет отказаться от априорного представления о школах, течениях или парадигмах, выявить их сложность и разнообразие. Серьезное отношение к письменному тексту позволяет избежать априорных предпочтений, сортировки концепций на собственно научные и на личные фантазии ученого. Парадоксальным образом именно претензии «русских пражан»<sup>23</sup> на свое отличие, своеобразие, позволяют нам непосредственно затронуть тему сравнения между разными направлениями — бесконечно более плодотворную, нежели поиск традиций.

А тогда можно будет затеять критический диалог с русской культурой — но не рисуя жития святых, не умиляясь экзотике загадочной «русской души», но в сравнительной перспективе параллельного сопоставления. Если между Россией и «Западом» обнаруживаются различия, они должны быть обоснованы и измерены. Эту перспективу можно было бы назвать *сравнительной эпистемологией* — если только в этом понятии есть смысл. Своеобразие нашего подхода заключается, как мы надеемся, в том, что в качестве материала изучения культурных различий, которые могут обнаружиться между Россией и Западной Европой, мы берем изучение научных текстов. Исследователю приходится занять неудобную позицию, наблюдая одновременно, как наука в России и вписывается в общее движение западноевропейских идей, течений, споров, и вместе с тем по-своему истолковывает, освещает их, оперирует ими. Так когда-то Рим и Византия были двумя версиями

---

<sup>23</sup> Выражение «русские пражане» здесь будет означать лишь «русские участники Пражского лингвистического кружка», а не «русские эмигранты в Праге».

христианства — противоположными, яростно противостоявшими друг другу. Научная (взаимо)дополнительность между Россией и Западной Европой складывается из обоюдных соприкосновений, наложений, отдач, недоразумений и оплодотворений. Чтобы исследовать эти истоки структурализма, нам придется отказаться от бинарной *структуралистской* мысли: между всеобщей тождественностью и крайней степенью различия найдется место для опосредования, для постепенного перехода, для разного рода сложностей.

Если согласиться с мыслью о том, что в период между войнами разрыв структурализма с предшествующей ему наукой был гораздо менее четким, чем обычно утверждается, то тогда нужно будет внимательно изучить главных авторов, исследовать их эпистемологические миры, проанализировать сеть метафор, которыми они пользуются, книги, на которые они ссылаются, модели мысли, которые они выбирают. Нужно будет выявить неявную аксиоматику, из которой они исходят, и тот скрытый текст, который надиктовывает «русским пражанам» их явные структуралистские тексты. Конечно, прямо сказать, из чего складывался интеллектуальный мир Якобсона и Трубецкого, мы не можем. Но даже если его точное изображение и не в наших силах, то, вникая в их тексты мы сможем построить *модель*, объяснительную схему, которая давала бы возможность познавать то, что нельзя изучить прямо и непосредственно. Прояснение одних текстов с помощью других может позволить нам восстановить недостающие звенья головоломки, распутать спутавшиеся нити; поэтому нам придется часто обращаться к прямым цитатам.

Распутывать нашу проблему — сосуществования несовместимых познавательных установок — не значит стремиться к недостижимому идеалу, пытаясь найти такое единственное место, из которого все предстает в новом свете и в упорядоченном виде. Наша задача более скромная: попытаться отыскать хотя бы какой-то смысл в этом огромном лабиринте. Долг славистов — вновь ввести русский научный мир в европейскую культуру; сделав сравнение между ними, они смогут далее обратиться к специалистам в области эпистемологии лингвистики (а также географам или биологам) и показать им, что славянский мир, это не только мир (гонимых) художников или (проклятых) поэтов, что это не «душа» и тем более не «ментальность»<sup>24</sup>, но интенсивная научная работа.

---

<sup>24</sup> Критика понятия ментальности содержится в кн.: Ллойд 1996.

**Часть первая**

***Состояние вопроса***



## Глава I

### О границах и пределах

*Эпистемология башлярковского типа — та современная эпистемология, которую Ба-либар и Машре называют научной, утверждая, что ее пока не существует, — требует выявить «реальные законы научного производства», написать более историчную историю лингвистики.*

Ж. Мунен (Мунен 1972, 229)

#### **Границы во времени: происходит ли в лингвистике смена парадигм?**

Можно ли точно определить момент рождения лингвистической теории? Можно ли найти ее первоначало — когда «все пошло иначе»? И если в физике момент изменения парадигмы связывается с каким-то открытием, то можно ли в лингвистике *открыть* что-либо, кроме ранее неизвестных языков<sup>1</sup>?

О неприменимости куновского понятия парадигмы к истории лингвистики говорили столь часто<sup>2</sup>, что вряд ли нужны новые доказательства. Напомним важнейшие доводы<sup>3</sup>.

Кун<sup>4</sup> считал, что «парадигма» — теоретическая и методологическая рамка «нормальной науки» — возникает в результате чьего-нибудь за-

---

<sup>1</sup> Так называемое «открытие санскрита» европейцами — после «Калькуттской речи» Уильяма Джоунза в 1786 году — вовсе не было открытием. Скорее это была *новая* — сравнительная — *точка зрения* на материал, известный уже несколько столетий.

<sup>2</sup> Правда, некоторые лингвисты все же им пользуются (ср. Радванска-Уильямс 1993, 5 сл.).

<sup>3</sup> Ср. Хаймз 1974; Пёрсивал 1969, 1976; Банер 1984; Бринкат 1986.

мечательного научного открытия, после которого возврат к прежней парадигме становится невозможным и немислимым. Эта новая система верований пользуется полным одобрением всего научного сообщества, покуда она не будет пересмотрена в результате лавины новых открытий, ниспровергающих старую парадигму, и последующего установления новой парадигмы.

По Куно, парадигмы — это взаимонепроницаемые совокупности элементов, несоизмеримые сущности, совершенно несопоставимые «картины мира», отделенные друг от друга четкой границей: между ними — разрыв во всем, включая способы и средства выражения.

Именно с этой точки зрения критикует Куна К. Персивал. Он показывает, что в истории лингвистических идей практически нет абсолютных разрывов: творцы нового всегда в той или иной мере опираются на прежние теории, перерабатывают и перетолковывают их. Таким образом между школами, течениями нет настоящей прерывности, а потому новую парадигму невозможно отличить от *нового варианта* старой парадигмы. В самом деле, можно до бесконечности спорить о том, относятся ли младограмматики и Казанская школа Бодуэна де Куртенэ к одной парадигме или нет.

Те же доводы приводит и Банер, вдобавок упрекая Куна в сведении «социальных факторов» к социопсихологии поведения ученых — без учета потребностей социальной практики, связанной с историей наук.

Наконец, была пересмотрена и сама тема научной *революции*, низложения старой парадигмы. Вспомним высказывание Куна: «Наука уничтожает свое прошлое»; оно применимо к Эйнштейну, который упразднил Ньютона и Галилея, но неприменимо к Пикассо, который не упразднил полотен Рембрандта. Немало авторов полагают, однако, что история лингвистики не укладывается в эту формулу: нет такой лингвистической теории, которая бы упразднила труд прошлого, она приносит с собой лишь проблемные сдвиги.

Эта критика имеет смысл, но не учитывает два момента. С одной стороны, она не воздает должного теории Куна, которая подчеркивает прерывность в истории наук и отмежевывается тем самым от чисто внутренней, накопительской и непрерывной истории наук, взятой на вооруже-

---

<sup>4</sup> См.: Кун 1970.

ние «аналитической теорией» попперовского типа с ее радикальным разрывом между теорией и историей науки. С другой стороны, Кун никогда и не утверждал, что понятие парадигмы применимо к истории лингвистики, скорее наоборот: ведь лингвистика, вместе с другими социальными и гуманитарными науками, все еще находится, как он считает, в допарадигматической стадии, не достигнув «научной зрелости».

Однако если подход, подчеркивающий непрерывность и накопление, мешает нам заметить эпистемологические разрывы, то противоположный подход, подчеркивающий перевороты, необратимые разрывы между несоизмеримыми эпистемами, мешает нам увидеть те силовые линии старой парадигмы, которые подспудно прочерчивают и новую, услышать отголоски прошлого — глухие, но настойчивые — в речах тех, кто этого не осознает<sup>5</sup>. К. Кёрнер признает существование «подземных течений» внутри «главного потока» (*main stream*). Однако нужен и следующий шаг: признание того, что все эти напоздания, взаимопроникновения, переистолкования, сдвиги, возобновления, недоразумения и перебои не есть неудачи, характерные для «мягких» (социальных и гуманитарных) наук, навсегда обреченных отставать от идеала «твердых» наук. Скорее все эти явления истории науки говорят о напряженном противоречии между прерывным и непрерывным в эволюции: они объясняют как медленное вызревание, так и быстрые перевороты, которые, впрочем, лишь изредка целиком сметают «главный поток» идей прошлого. Вряд ли идея *порогов* преобразований, которые Фуко выявляет в истории знаний (порог позитивности, порог эпистемологизации, порог научности, порог формализации) может применяться к той области, к тому месту и вре-

---

<sup>5</sup> В российско-советском употреблении понятие парадигмы в истории лингвистических идей нередко означает замкнутую, внутренне однородную совокупность элементов с акцентом на *связи* между лингвистикой, философией и другими сферами деятельности, например искусством. Ср. Ю. Степанов (Степанов 1985, 4): «Итак, под „парадигмой“ мы понимаем здесь господствующий в какую-либо данную эпоху взгляд на язык, связанный с определенным философским течением и определенным направлением в искусстве, притом таким именно образом, что философские положения используются для объяснения наиболее общих законов языка, а данные языка в свою очередь — для решения некоторых (обычно лишь некоторых) философских проблем; так же и в отношении искусства: направление в искусстве, прежде всего в искусстве слова, формирует способы использования языка, а последние накладывают свой отпечаток (обычно лишь в некоторой степени) на искусство».

мени, которые мы здесь изучаем, а именно — к структурализму в Центральной и Восточной Европе<sup>6</sup>. Структурализм «русских пражан» не вышел из головы Якобсона в шлеме и со щитом.

После всех этих разломов во времени и трещин в междисциплинарных перегородках нам нужно теперь разобраться с пространственными размежеваниями: картина гуманитарных наук в Европе не только неполна, но и просто непонятна без ее центральной и восточной части.

### **Границы в пространстве: русская наука и европейская наука, тождество или разность?**

Структурализм не явился нам как гром с ясного неба, у него есть предыстория, несмотря на все декларации о полном разрыве со всем прошлым, которые мы иногда находим у идейных вождей этого движения. Все это для нас не откровение после многое проясняющих текстов Кассирера (1945), Пёрсивала (1969), Кёрнера (1975) (последний к тому же изучал «период постепенного вызревания»<sup>7</sup> структурализма с конца XVIII века).

Однако, насколько нам известно, за исключением работ Томана (1981, 1992), Холенштайна (1984, 1987), Гаспарова (1987) и Виеля (1984), мало кто по-настоящему интересовался тем *восточным* вариантом структурализма, который сложился в Праге в 20-е и 30-е годы, главным образом — в работах «русских пражан», которые провозглашали его независимость, его научное своеобразие, его сущностное отличие от других школ, считающих себя структуралистскими, и прежде всего — от Женевской школы.

Кассирер<sup>8</sup> поясняет знаменитое изречение «язык — это система, в которой все взаимосвязано»<sup>9</sup>, высказыванием Брёндаля, для которого «в любом состоянии данного языка всё образует систему; язык состоит

---

<sup>6</sup> Правда, сам Фуко во многом смягчил свою позицию, уделяя все больше внимания «переходам» (interstices) между эпистемами, которые ранее он считал взаимно непроницаемыми.

<sup>7</sup> Кёрнер 1975, 725.

<sup>8</sup> Кассирер 1945, 104.

<sup>9</sup> Кому принадлежит эта фраза — вопрос спорный, ср. Томан 1987; Хьюсон 1990; Петерс 1990.



из совокупностей взаимосвязанных элементов (...) говоря „система“, мы подразумеваем внутренне однородную совокупность, где всё взаимосвязано, где каждый термин зависит от другого»<sup>10</sup>. Кассирер расширительно распространяет эти определения на весь структурализм:

Те же взгляды выражены в «Курсе общей лингвистики» Соссюра, в работах Трубецкого, Якобсона и других членов Пражского лингвистического кружка (Кассирер 1945, 104).

Верно, что в некоторых высказываниях Якобсона также можно видеть подтверждение этого представления о полном единодушии структуралистов:

Некоторые лингвисты, связанные с Пражским кружком, прибыли в 1928 году на Международный конгресс в Гаагу — каждый со своими ответами на основоположные вопросы, предложенные организаторами Конгресса. Всем им казалось, что отклоняясь от традиционных догм, они обрекали себя на одиночество и, возможно, на жесткую критику. Между тем и в официальных дискуссиях и особенно в частных обсуждениях на I Конгрессе лингвистов обнаружилось, что молодые исследователи из различных стран имели общие убеждения и шли одной дорогой. Эти исследователи, работавшие в одиночку, часто на свой страх и риск, к своему великому удивлению обнаружили, что они сражаются за общее дело (Якобсон 1963 [1973, 312]).

Верно и то, что в единственной работе Трубецкого, которая действительно была известна на Западе, в «Основах фонологии», он явным образом опирался при обосновании различия между фонологией и фонетикой на соссюровскую оппозицию *языка и речи*<sup>11</sup>.

После Второй мировой войны этот унифицированный облик после-соссюровского структурализма стал общепризнанным:

Труды Соссюра стали для Пражского лингвистического кружка одним из главных источников вдохновения, причем важнейшим было соссюровское понятие «языка» (Стайнер 1978, 357).

Даже когда этот тезис о единстве структурализма подвергается сомнению, ссылки на Соссюра остаются незыблемой исходной точкой:

---

<sup>10</sup> Брёндаль 1935, 110.

<sup>11</sup> Трубецкой 1939б; рус. пер., 8. Однако Соссюр упоминается в этой книге лишь один раз, и это — единственное положительное упоминание о Соссюре во всем творчестве Трубецкого.

Структурализм не однороден: он предстает в различных формах, таких как фонология Трубецкого, глоссематика Ельмслева, идеи Куриловича или порождающая грамматика Хомского (...) Единственное, что в той или иной мере связывает *всех* структуралистов, это признание Соссюра своим идейным вождем или по крайней мере — предшественником (Манчак 1970, 170, цит. по: Кёрнер 1975, 808).

Эти заявления о структуралистском единодушии оставляют много сомнений. Правда ли, что Пражский лингвистический кружок «неосознанно следует Соссюру»?

В самом деле, тут важна и другая сторона дела. Правда, судя по текстам «русских пражан», написанным на «западных» языках, они и вправду боролись за «общее дело» вместе со своими западными коллегами. Так, Якобсон очень красноречиво хвалит Мейе в посвященном ему некрологе<sup>12</sup>. Однако в менее известных текстах, написанных порусски или по-чешски в 20-е и 30-е годы, открывается другая, скрытая грань деятельности структуралистов. Так, в письме от 17 мая 1932 года Трубецкой пишет Якобсону о том, что, перечитывая «Курс» Соссюра, он находит в нем лишь «старый хлам»<sup>13</sup>.

Спрашивается, что общего между различными структуралистскими школами, которые имеют *общее имя*, провозглашают общие принципы, четко осознавая при этом свои различия? Соответствует ли это общее имя реальной общности взглядов или это лишь знак сплочения ради удобства? И что представляет собой это общее имя?

По-видимому, бурная история европейского (или «континентального», как говорил Якобсон в 1963 году) структурализма основана на недоразумении, связанном с различием способов осмысления ключевого понятия структуры — как онтологической целостности или как системы отношений, как реального объекта или как объекта познания. И работы «русских пражан» важны именно тем, что они обнаруживают само существование этих двух подходов и связанных с ними недоразумений.

Л.-Ж. Кальве сказал: «Каждое общество имеет такую лингвистику, которая соответствует его производственным отношениям»<sup>14</sup>. Это — яв-

---

<sup>12</sup> Якобсон 1937 [SW-II, 497 сл.].

<sup>13</sup> Трубецкой 1985, 241.

<sup>14</sup> Кальве 1974, 39.

ная парафраза из Мейе, который говорил: «Каждый век имеет такую грамматику, которая соответствует его философии»<sup>15</sup>. В свою очередь Мейе, быть может и неосознанно, парафразировал Канта, который утверждал: «метафизика эпохи несет на себе печать своей эпохи»<sup>16</sup>.

Допустим пока, что существует некий «дух времени», который, выходя за рамки отдельных дисциплин, связывает определенным семейным сходством (*air*) различные течения современной мысли. Гёте называл это *Zeitgeist*, а Кёрнер<sup>17</sup>, вслед за Уайтхедом<sup>18</sup> и Беккером<sup>19</sup> — «общей средой выработки мнений» (*climat of opinions*). Лучше было бы назвать это доксой или *общим мнением* в смысле Аристотеля: оно принудительно именно потому, что остается невыявленным и принимается как данность. Докса в данном случае — это не «ложное мнение» или что-то отрицательное: скорее, это совокупность представлений и предпосылок, которые кажутся настолько очевидными, что мы забываем об их истории, о том, что они выработаны трудом предшественников. Постараемся выявить это вытесненное прошлое, эту основу знаний и незнаний, эти основоположные отсылки, эту ткань метафор, которая поддерживает научную деятельность, это надежное прочное ядро знаний и догм, которое дает исследователям твердую почву под ногами, но скрывает от них другие пути мысли. Старое понятие «дух времени» помогает нам нарисовать эту картину известного и неизвестного, воображаемого и отвергаемого: внедряясь в слой метафор, «дух времени» навязывает себя всему научному сообществу, каким бы разнородным оно ни казалось.

Однако если представить себе «дух времени» во всей его обширной одновременности, то в нем обнаружатся и *локальные варианты* или, иначе, такие условия возможности знания (институциональные, интеллектуальные), которые навязывают и *узаконивают* научный дискурс в каждом отдельном национальном научном сообществе. Существует ли некий «дух места», который бы придавал семейное сходство интеллектуальным продуктам одной страны и одной культуры — как бы против

---

<sup>15</sup> Мейе 1926а, т. 1, VIII.

<sup>16</sup> Цит. по: Гусдорф 1993, т. 2, 376.

<sup>17</sup> Кёрнер 1975, 719.

<sup>18</sup> Уайтхед 1967, 3.

<sup>19</sup> Беккер 1932, 5.

течения времени и независимо от него? Все согласны с тем, что ретроспективная иллюзия, при которой мы смотрим на старую теорию глазами более поздней, современной теории,—это грубая методологическая ошибка. Но ведь существует и другая иллюзия, которую можно было бы назвать «хорологической»<sup>20</sup>: она делает нас слепыми к локальному своеобразию эпистемы. Что значит, к примеру, «русская наука»? Мы смутно чувствуем, что в изречении Л. де Бональда «литература есть выражение общества» («О стиле и о литературе», 1806)—заметим, общества, а не эпохи!—содержится вызов, на который нужно найти ответ.

На Западе историчность всякой научной практики давно общепризнана, тогда как мысль о том, что пространство и культура тоже могут быть переменными величинами, влияющими на науку, почти не находит отклика. Правда (хотя ни Кун, ни Фуко, ни тем более Поппер этим не занимались), сейчас стало принято говорить, например, о «китайской науке» (прежде всего—о медицине: ср. работы Дж. Нидама или Н. Сивина) как об особой области знания, о самостоятельной научной практике. Мы практически не сомневаемся, что индийская лингвистика у Панини или арабская лингвистика у Сибавайи—это независимые целые, в эпистемологическом и историческом смысле оторванные от «западной лингвистики». Однако вопрос о том, является ли русская (и советская) лингвистика особой наукой, отличной от западной, может показаться западному читателю праздным. Между тем он упорно и увлеченно обсуждается в России, где серьезно стоит вопрос о самоопределении, о том, является ли Россия частью Европы. Книга Б. Хэрриса и Т. Тейлора «Этапы лингвистической мысли»<sup>21</sup> имеет подзаголовок «Западная традиция от Сократа до Соссюра» и предисловие, в котором речь идет о «долгой многоязычной европейской тради-

---

<sup>20</sup> Термин «хорология» (от греческого *χώρα*—область, местность) был введен в биологию Геккелем (1834—1919) в «Общей морфологии» (*Generelle Morphologie*) (1866, II, 286); у него—это название науки о географическом распределении живых организмов на поверхности земли. Вскоре этот термин был заменен термином *биогеография* (ср. Тор 1995, 579). Однако в лингвистике он сохранился: так, в «Письмах о лингвистике» Г. Асколи (1829—1907) (ср. Асколи 1887, 17) речь идет о «хорографических» (то есть «территориальных») соответствиях между языковыми явлениями.

<sup>21</sup> Хэррис, Тейлор 1991.

ции»<sup>22</sup>, между тем как обе традиции определяются по отношению к общим античным греко-латинским истокам. Спрашивается: можно ли считать русское прочтение византийской традиции европейской лингвистикой? Подобно этому в уже упоминавшейся «Encyclopedie philosophique universelle» разграничиваются три области — западная философия, азиатские системы мысли (Индия, Китай, Япония) и понятия, выработанные первобытными обществами. Вопрос о точных границах между этими «системами мысли» не возникает: они самоподразумеваются, особенно — *восточная граница западной мысли*, которая предстает как нечто очевидное. Русской мысли не отводится никакого особого места, и она «за неимением лучшего» просто включается в рамки «западной философии», так что и Н. Трубецкого с Ф. Достоевским мы тоже должны искать среди «западных» мыслителей. Такая классификация совершенно неприемлема в России в наши дни, но она была неприемлема и в СССР, и в среде эмигрантов вроде Трубецкого.

Наша позиция, противостоящая крайнему культурному релятивизму, ныне распространенному в России (он утверждает, что русская культура *по сути* глубоко отлична от всех других культур), покажется умеренной и банальной: лингвистика в России по своей *природе* не отличается от «западной» лингвистики, она имеет те же истоки (греческая метафизика Платона и Аристотеля) и не является «замкнутым культурно-историческим типом»<sup>23</sup>. Мы ничего не поймем в Трубецком, обращаясь к «русской душе» как к чему-то этнически определенному: для изучения релятивистской философии не надо самому быть релятивистом, но надо понять рассуждения об эпистемологическом своеобразии русской науки, распространенные ныне в России. Подтвердить (или опровергнуть) отнесение русской науки к «западной мысли» можно лишь проделав долгий путь, на котором мы изучим главные *темы* (в холтоновском смысле, см. Холтон 1973) научного исследования в России, сопоставив их с «западными».

В гуманитарных науках разных стран те или иные мыслительные течения не возникают повсюду одновременно. Восприятие тех или иных концепций иногда предполагает *сдвиги* — причем не только инструментальные, связанные с публикацией и переводом книг, но и

---

<sup>22</sup> Там же, VII.

<sup>23</sup> О этом понятии см. у Данилевского, ниже, гл. II.

идеологические. Именно поэтому нужно восстановить основу живой полемики, глухие отзвуки которой — словно «космический шум», улавливаемый радиотелескопами, — доносятся и до нас, становясь фоном наших споров<sup>24</sup> и порождая наши собственные понятия. Как раз эту основу мы и стремимся здесь заново осмыслить, обращаясь к исходным текстам, к высказываниям идейных вождей и очевидцев структурализма. Мы постараемся сделать более понятными те отсылки, которые современный читатель иногда просто не замечает, потому что они для него лишены смысла (ср. скептические замечания Ж. Мунена и А. Мартине о телеологии у Якобсона: оба они явно недооценивают значение этого понятия)<sup>25</sup>. Нами движет не просто желание заполнить пробел в картине развития европейских наук, но интуитивное ощущение того, что нам предстоит восстановить целый духовный мир — скрытый облик пражского структурализма или то, что Н. Савицкий<sup>26</sup> называл «менее известными источниками Пражского лингвистического кружка».

Чтение текстов Якобсона и Трубецкого напоминает расшифровку палимпсеста. Холенштайн упорно искал в них феноменологическую вселенную<sup>27</sup>, а Ж. Мунен обоснованно ощущал «идеологический фон с гегельянской доминантой»<sup>28</sup>.

Остается еще немало тайн, само присутствие которых становится очевидным при простом просмотре указателя имен в «Selected Writings» Якобсона. Это относится, например, к Ж. де Местру. Почему самый знаменитый представитель католической антиреволюционной реакции, прямой антипод духа Просвещения столь часто упоминается у Якобсона — от текстов 30-х годов до «Бесед» с К. Поморской<sup>29</sup>? Как любил повторять Якобсон, это «не случайно».

---

<sup>24</sup> От эпохи «анализа дискурса» во Франции 70-х годов (см. М. Пешё, Л. Альтюссер) сохранился бесценный принцип: *наговорено уже много всего — до нас, вокруг нас — так что нас со всех сторон обступает уже-сказанное*. Наша цель — восстановить это уже сказанное в «другой Европе».

<sup>25</sup> Ср. Мартине 1955, 17—19, 44—45, 97—99); Мунен 1972, 107—108). О телеологии см. ниже, гл. VII.

<sup>26</sup> Ср. Савицкий 1991. Н. П. Савицкий, лингвист, работавший в Праге, — сын П. Н. Савицкого.

<sup>27</sup> Холенштайн 1974, Холенштайн 1976.

<sup>28</sup> Мунен 1972, 100.

<sup>29</sup> Якобсон 1980, 87.

Чтобы раскрыть эту тайну, мы пытаемся выявить условия и предпосылки их взглядов — не только эпистемологические, но и художественные, «идеологические» в широком смысле слова. Чтобы построить картину знаний, мыслей, поисков русских эмигрантов в межвоенной Праге, нужно отвлечься от всех тех событий (и текстов), которые случились (или были написаны) позже. Например, было бы полезно узнать, какие книги имелись в библиотеках Якобсона и Трубецкого. Даже в частной переписке Трубецкой мало говорит о своем чтении, Якобсон — гораздо больше. Мы постараемся восстановить их интеллектуальный мир, их *идеальную библиотеку*, внося, возможно, некоторые поправки в уже привычный нам теперь, в конце века, образ структурализма.

### Границы между наукой и идеологией. Замысел сравнительной эпистемологии

Цель этой работы — выявить исторические условия производства лингвистической теории, осмыслить взаимодействия между соседствующими теориями или между современными дискурсивными полями, восстановить *дух времени и дух места*, ту атмосферу, в которой живет и строится мысль. Нам не нужна внешняя точка зрения на теоретическую работу; нам нужно отыскать связность (или противоречивость) этой работы на основе изучения тех средств, которыми пользуется теория, и тех целей, которые она перед собой ставит. Мы постараемся понять возникновение структурализма у пражских русских в двух контекстах: более широком (культура научного исследования в России и Центральной Европе) и более узком (идеологическое учение евразийства — см. об этом гл. II). Тем самым, в отличие от сциентистской позиции Альтюссера, который считал возможным окончательно отделить науку от идеологии, мы, напротив, подчеркиваем крайнюю запутанность взаимодействий между наукой и идеологией — по крайней мере в интересующей нас здесь области.

Многие французские гуманитарии моего поколения были травмированы проклятием Фуко в адрес «истории идей»<sup>30</sup> или иначе — такого анализа, который постоянно ищет предшественников, преемствен-

<sup>30</sup> Ср. Фуко 1969, 31—33; Фуко 1971, 61.

ность, «традиции», до тошнотворной бесконечности восходит к истокам, первоначалам, влияниям. И этот удар был полезен. Однако не стоит обольщаться эпистемологическими разрывами, прерывностями, скачками, рассеянием высказываний: скорее нужно искать моменты медленного созревания, постепенного отрыва — в той области гуманитарных наук, где изменение знания обусловлено не столько открытиями в той или иной дисциплине, сколько метафорическим привлечением моделей и понятий, взятых из других дисциплин и даже других областей (искусство, политика и проч.). В них одновременно и без труда сосуществуют различные, противоположные, взаимопротиворечивые понятия, причем сама неустойчивость этих понятий (одно и то же слово может иметь различные значения) облегчает такое сосуществование. Мы будем пользоваться здесь категориями исторической эпистемологии — во франкоязычном мире она представлена именами Башляра, Кангильема, Фуко, — одновременно с этим показывая, что переход от идеологии к науке не столь резок, а границы эпистемы не столь четки, как это казалось французским исследователям, работавшим на протяжении полувека после Второй мировой войны почти исключительно на французском материале.

Таким образом, восхождение к истокам — дело не настолько безумное, как думал Фуко: в любом случае оно позволяет лучше понять своеобразие концептуальных рамок, в которых возникли «новаторские» идеи пражских структуралистов.

### Двойная спираль

Мы не будем пытаться *преодолеть* оппозицию между внутренней и внешней историей лингвистики: мы попробуем проследить их взаимодействия, постоянно отсылая одну к другой. Если при этом согласиться с Блуром<sup>31</sup>, который сравнивает попперовскую эпистемологию с философией Просвещения (открытая модель), а куновскую эпистемологию — с романтизмом (закрытая модель) и затем противопоставляет первую второй, то мы сможем пользоваться ими обоими, только уже не противопоставляя, но подкрепляя одну другой — по всей длине восходящей спирали, напоминающей скорее двойную восходящую

---

<sup>31</sup> Блур 1991.



спираль из структуры ДНК, нежели два лестничных пролета. И тогда можно будет утверждать следующее:

1) структурализм пражских русских можно объяснить и понять только в свете идеологических споров того времени: он вписан в более широкую историю культуры;

2) оппозиция между двумя противоположными идеологиями — Просвещением и Романтизмом — определяет лишь крайние, полярные теоретические позиции. На самом же деле между этими двумя полюсами существует постоянный обмен с заимствованиями, переистолкованиями, возвратами, недоразумениями, утаиваниями... Даже один и тот же исследователь может опираться в своих утверждениях на то, что он считает доминантой, сохраняя при этом черты другого подхода в качестве субдоминанты.

Следствия этого двойного утверждения таковы. Не существует такой «национальной науки», которая бы определялась культурой раз и навсегда и представляла как замкнутая целостность. Существуют скорее *основные варианты выбора* между различными способами построения объекта познания (например, синтетическим или аналитическим): они не застыли навеки, но постоянно изменяются, опираясь друг на друга<sup>32</sup>, хотя в тот или иной период, в той или иной научной среде, в той или иной стране они являют нам тот или иной набор преобладающих черт. Так и русская наука не с луны свалилась.

Что же касается *новизны* пражского структурализма, то и тут следовало бы учесть эту напряженность между двумя противоположными возможностями. Так, между утверждением о его абсолютной новизне (согласно М. Халле, например, в Праге возник «совершенно новый способ написания исторической фонологии»<sup>33</sup>, а согласно Матезиусу (1931), кризис младограмматической модели завершился, введя нас в «новую эпоху» — эпоху функционального структурализма<sup>34</sup>) и утвер-

---

<sup>32</sup> Такой «эпистемологически нейтральный» способ написания истории идей отстаивает С. Ору (ср. Ору 1989, 16). Мы не собираемся здесь решать, что «научнее» — размышления евразийцев или же работа их коллег и современников, лингвистов и географов из Западной Европы. Однако принимая позицию «умеренного историцизма» С. Ору, мы обязаны с осторожностью отнестись к той *философии истории*, которая скрыто присутствует в изучаемых нами текстах.

<sup>33</sup> Халле 1987, 104.

<sup>34</sup> Матезиус 1931, 7.

ждением о том, что русские пражане не изобрели ничего нового по сравнению с младограмматиками (статья Н. Савицкого<sup>35</sup>), есть свободное место для изучения полутонов, отношений постоянного обмена (*va-et-vient*) между внешне непримиримыми теоретическими предпочтениями.

Два способа строить предмет познания в лингвистике и всего лишь один способ строить рассуждение об этом предмете — вот что объясняет спиральную композицию нашего исследования: мы по многу раз возвращаемся к одной и той же теме — целостность и ее границы, переход от понятия целостности к понятию структуры, — подходя к ней с разных сторон и с каждым шагом приближаясь к выявлению ее трактовок, скрытых в истории и культуре.

---

<sup>35</sup> Савицкий 1987.

## Глава II

### Евразийское движение

Понятие структуры, которое прорисовывается в работах «русских пражан» межвоенного периода, приобретает новый смысл, если сопоставить его с ключевыми идеями системы и органической целостности в *евразийском движении* — как его непосредственном идеологическом обрамлении.

После окончания Гражданской войны в России и поражения Белой Армии в 1920 году за пределы страны, особенно в Европу, было выброшено множество беженцев<sup>1</sup>. Особенность русской эмиграции заключалась в том, что она включала многих представителей социальной и культурной элиты, университетских преподавателей и людей свободных профессий.

В ней был представлен весь политический спектр противников большевизма — от либеральных республиканцев до монархистов, жаждущих лишь восстановления старого режима. Среди различных тенденций в русской эмиграции было и *евразийство* — то своеобразное течение мысли, о котором мы будем много говорить здесь в связи с понятием целостности.

Проскитавшись по разным городам во время Гражданской войны, а затем (в 1920 году) остановившись в Софии, лингвист Н. Трубецкой<sup>2</sup> стал главным вдохновителем этого течения, которое объединило в себе самые блестящие умы среди русских эмигрантов межвоенного периода.

---

<sup>1</sup> Ср. Раев 1996, 217.

<sup>2</sup> О биографии Н. С. Трубецкого см. Иванов 1991; Либерман 1991а; Серно 1996а. После проведенной в МГУ в 1990 году конференции, посвященной столетию со дня рождения Трубецкого, его философскую, политическую и публицистическую деятельность мало-помалу заново открывают и в России.

Евразийцы не были сектой фанатиков. В отличие от большинства других эмигрантских движений евразийскую теорию разрабатывали настоящие ученые: этнографы, лингвисты, историки, географы, философы, теологи, юристы. Все они были интеллектуалами, известными и признанными специалистами в своих областях; порой они, казалось, были «не от мира сего», но они никогда не были шарлатанами. Все они были образованы и знали из первых рук западную литературу — как научную, так и философскую. Они были чужды фундаментализму, не пытались цепляться за догматы. Напротив, все они высоко ценили научный поиск и научное открытие<sup>3</sup>; они смотрели в будущее и не тянулись к ценностям прошлого — несмотря на идеализацию допетровской России. Однако они изо всех сил отталкивались от «романо-германской культуры»<sup>4</sup> как крайнего проявления устрашающей их *современности* (*modernité*). К этой теме современности мы еще вернемся. А здесь лишь отметим, что евразийцы колебались между весьма оптимистичным сциентизмом (во всем том, что касалось их собственной научной работы) и резким отказом от всевластия науки:

«Эпоха науки» снова сменяется «эпохой веры», — не в смысле уничтожения науки, но в смысле признания бессилия и кощунственности попыток разрешить научными средствами основные, конечные проблемы существования (неподписанная передовица в: Флоровский и др. 1921, VI—VII).

Первым публичным изложением позиций евразийства стало заседание Кружка религиозной философии 3 июня в 1921 в Софии, на котором прозвучали два выступления: теолога и историка культуры Г. В. Флоровского (1893—1979) и лингвиста Н. С. Трубецкого<sup>5</sup>. В том же самом 1921 году четыре молодых русских интеллектуала (родившихся в 90-е годы прошлого века), эмигранты, живущие в Софии, опубликовали сборник статей с загадочным заглавием<sup>6</sup> «Исход к Вос-

---

<sup>3</sup> Впрочем, бывало и иначе. Статья Флоровского «Хитрость разума» (Флоровский 1921) — это яростная атака на рационализм.

<sup>4</sup> И это — один из многих парадоксов: все евразийцы отправились в изгнание на Запад, к тем самым «романо-германцам», которые вызывали у них ужас. Никто из них не искал убежища в крупных центрах русской эмиграции в Азии (подобно Харбину в Манчжурии).

<sup>5</sup> Соболев 1991, 124.

<sup>6</sup> На самом деле это парафраза высказывания Достоевского.

току. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев». Это были музыковед П. П. Сувчинский (1892—1985), экономист и географ П. Н. Савицкий (1895—1968), теолог Г. В. Флоровский, этнолог и лингвист Н. С. Трубецкой. Этот сборник, ставший манифестом евразийского движения, состоял из введения и десяти статей.

В 1923 году П. Н. Савицкий дал следующее определение евразийского движения, примечательное идеей *радикального разрыва* между картинами мира:

Евразийцы как представители определенного философско-публицистического движения—это группа молодых русских литераторов и деятелей, объединившихся на почве единства мировоззрения, вскоре после великого исхода русской интеллигенции в 1919 и 1920 году. Евразийцы—это представители нового начала в мышлении и жизни, это—группа деятелей, работающих на основе нового отношения к коренным, определяющим жизнь вопросам, отношения, вытекающего из всего, что пережито за последнее десятилетие, над радикальным преобразованием господствовавших доселе мировоззрения и жизненного строя. В то же время евразийцы дают новое географическое и историческое определение России и всего того мира, который они именуют российским, или «Евразийским» (...) «срединным материком» (Савицкий 1923; цит. по: Пономарева 1992, 164).

Савицкий, как и все евразийцы, был в плену этой навязчивой темы решительной новизны, разрыва со старым научным и идеологическим миром. На самом же деле, как мы далее увидим, евразийское движение вписывается в мыслительную традицию, которая уходит своими корнями в глубь веков, сохраняя при этом тесную связь с европейской (главным образом немецкой)—мыслью своей эпохи.

### **Организация и политика движения: исторические аспекты**

Евразийцы группировались в главных центрах русской эмиграции в Европе, особенно в Праге, Берлине и Париже.

Поначалу евразийство было движением аполитичным, философским и научным, но вскоре эволюционировало в сторону четкой и разветвленной организации со своими филиалами в большинстве европейских столиц, получавшей большую финансовую поддержку, которая позволяла ей иметь свое издательство и публиковать много периодических изданий. Православная научная утопия постепенно преоб-

разовалась в политическую партию особого типа, стремившуюся ни много ни мало сменить большевиков у власти в СССР. Наверное, такое преобразование было неизбежным—ввиду кипения политических страстей, раздиравших эмиграцию и влекущих за собой политизацию любого интеллектуального движения.

Каждый евразийский центр был в значительной мере независим от других. Явные просоветские тенденции проявлялись в «клармарской группе», собиравшейся в парижском предместье<sup>7</sup> и включавшей «левых евразийцев» (С. Я. Эфрон, Д. П. Святополк-Мирский и др.); эта группа издавала ежедневную газету «Евразия». Очевидные связи клармарской группы с ОГПУ (советскими секретными службами этого времени)<sup>8</sup>, ее просоветская пропаганда, подталкивание эмигрантов к возврату на родину привели к расколу евразийского движения в начале 30-х годов<sup>9</sup>. Трубецкой—вслед за Флоровским и другими—отказался от такого сотрудничества, но продолжал время от времени участвовать в евразийских изданиях<sup>10</sup>.

Самая сильная евразийская группа существовала в Праге; там она, наряду с другими русскими эмигрантами-интеллектуалами, пользовалась поддержкой «Русского Дела» (*Russká Akce*), организованной пра-

<sup>7</sup> В межвоенный период в Клармаре произошло много событий, связанных с русской эмиграцией. Так, здесь жил Н. Бердяев (в доме 14 по улице Сен-Клу). Именно в доме Н. Бердяева происходили собрания, получившие название «клармарских воскресений»; в них участвовал и французский философ-персоналист Жак Маритен. Эти встречи между французскими интеллектуалами и русскими эмигрантами привели к выпуску ряда совместных номеров «*Cahiers de la quinzaine*» (Раев 1996, 273). Опять-таки в Клармаре (в доме 4 по улице Бриссар) находилось евразийское издательство. Когда в 30-е годы Трубецкой приезжал в Париж, он останавливался в Клармаре, у графа Щебрович-Бутенева в доме 52 по улице Сен-Клу (письмо Трубецкого от 13 марта 1934 года; Трубецкой 1985, 296).

<sup>8</sup> С. Эфрон, «левый евразиец» и муж Марины Цветаевой, стал агентом ОГПУ в Париже. В 1937 году он участвовал в политических покушениях, заказанных Москвой. После убийства в Лозанне Игнатия Райса, советского агента, перешедшего на западную сторону, он скрылся в России, где был арестован, а затем убит (ср. Раев 1990, 85; Струве 1996, 57).

<sup>9</sup> Об истории многочисленных расколов в левом крыле движения ср. Шляпентох 1997.

<sup>10</sup> Ср. Трубецкой 1933, 1935а, 1935б, 1937. О причинах, побудивших Трубецкого порвать с евразийством, см.: Казнина 1995.

вительством Т. Г. Масарика: речь шла о подготовке в Чехословакии среди русских эмигрантов демократической смены — интеллектуалов и университетских преподавателей, способных заменить большевистские кадры после неминуемого падения коммунизма в России. Однако усиление коммунистического режима на рубеже 30-х годов, а также крупный экономический кризис практически привели к прекращению этой политики в следующем десятилетии.

Хотя «русская наука» в эмигрантской среде и была лишена нормальных средств распространения своих результатов и воспроизводства своих элит, научный потенциал «русских пражан» был огромен: в системе образования и научного исследования существовала всецело русскоязычная среда и русскоязычные учреждения — факультет права, народный университет, лицей<sup>11</sup>, многочисленные исследовательские институты<sup>12</sup>.

Евразийцы были прежде всего интеллектуалами (исследователями и преподавателями), хотя ранее многие из них были офицерами Белой Армии. Их идеи были такими же максималистскими, как и идеи фашистов и большевиков; они проповедовали то же презрение к парламентской демократии. Однако они резко отличались от тех и других полным отсутствием техники захвата власти<sup>13</sup>. Несмотря на ряд программных заявлений

---

<sup>11</sup> Именно в русском лицее в Праге преподавал с 1922 по 1926 год языковед С. Карцевский (он одновременно работал и в Русском педагогическом институте). Директором русского лицея был П. Савицкий, который служил приват-доцентом одновременно на русскоязычном факультете права и на славянской кафедре германоязычного Университета в Праге.

<sup>12</sup> Ср. Постников 1928.

<sup>13</sup> По-видимому, у них не было связей с русским фашистским движением (о русских фашистах в межвоенный период см. Стивен 1978). Однако современники, кажется, не проводили тут четких различий. Так, Грамши просто-напросто уподоблял евразийцев фашистам: «Евразийство. Это движение разворачивается вокруг журнала „Накануне“, который выходит с 1921 года и стремится к пересмотру установок русских эмигрантов. Главный тезис евразийства: Россия — более азиатская, чем западная страна, она должна возглавить борьбу Азии против европейского господства. Второй тезис евразийства: большевизм — это решающее событие в истории России; он „побудил к действию“ русский народ, а распространяемая им новая идеология укрепляет авторитет России и ее мировое влияние. Евразийцы не большевики, но они враги западной парламентской демократии. Подчас они ведут себя как русские фашисты, так как благосклонно относятся к сильному государству, в котором дисциплина, авторитет, иерархия должны господ-

(Савицкий, например, утверждал, что евразийцы стремятся «создать новую русскую идеологию, способную осмыслить происшедшие в России события и указать молодому поколению цели и методы действия»)<sup>14</sup>, евразийство было скорее теорией познания, нежели теорией действия.

У евразийцев, в отличие от фашистов, не было никакой склонности к действию, к борьбе как цели в себе; они не превозносили волю, не эстетизировали силу и насилие; они были неспособны к дисциплине, а подчинение и преданность вождю не имела для них никакой ценности. Они никогда не стремились повести за собой молодежное движение. Евразийство было научной и религиозной утопией, имеющей целью «самопознание» и обретение пути к подлинной *сущности* общества как коллективной личности (ср. гл. IX).

За исключением некоторого антисемитизма Трубецкого (оно отбрасывало общую атмосферу эпохи<sup>15</sup>), евразийцы явным образом отказывались от какого-либо биологического или расового детерминизма<sup>16</sup>. Их постоянной темой была *культура* в противоположность *цивилизации* (см. ниже). Впрочем, это не мешало некоторым из них уподоблять западные ценности (рационализм, прагматизм, материализм, отсутствие духовности) «упадку» «иудейской морали»<sup>17</sup> или идеям еврейских философов, живущих на Западе<sup>18</sup>.

---

ствовать над массой. Они являются сторонниками диктатуры и поддерживают современный государственный строй Советской России, мечтая о замене пролетарской идеологии национальной идеологией. Православие для них — это типичное выражение русского национального характера, христианство евразийской души» (Грамши 1966, 170).

<sup>14</sup> Это высказывание Савицкого приводит, не указывая источника, Лавров (Лавров 1993, 9).

<sup>15</sup> Трубецкой 1935а, «О расизме».

<sup>16</sup> Однако в «Евразийской хронике» появилась статья с попыткой показать, что распределение групп крови у обитателей Евразии доказывает близость или *родство* евразийских народов: статистическое распределение групп крови среди русского населения показывает, что «Россия находится между европейской и азиатской группами, почти примыкая к азиатской и имея очень мало общего с европейской» (См. В. Т. 1927, 26). Якобсон намекает на эту статью, говоря о «расовом коэффициенте крови» как доказательстве существенного антропологического отличия народов Евразии как от европейцев, так и от азиатов (Якобсон 1931а [SW-I, 147]).

<sup>17</sup> Ср. Карташев 1922, 63, 75—76.

<sup>18</sup> Ср. Флоровский 1921, 30—36.



Однако у них была точка соприкосновения с мощными тоталитарными и антидемократическими идеологиями 20-х и 30-х годов: это глубокое отвращение ко всякому гедонизму, материализму, благополучию, удобству, материальному достатку, утилитарности, индивидуализму. Во всех этих ценностях Л. Дюмон<sup>19</sup> видит признак «современных» обществ, большевизм и итальянский фашизм видели проявление «буржуазного духа», а евразийцы усматривали средоточие западного, романо-германского мира.

И тогда они занялись деятельностью, к которой не были готовы: перешли от разработки учения (семинары<sup>20</sup>, собрания, издание брошюр) к подпольной борьбе, стремясь тайно распространить свои идеи в СССР и даже «перевоспитать» коммунистических вождей. Очень быстро они оказались в руках ОГПУ, которое всегда умело внедряться и дезинформировать. Во время «тайного» путешествия П. Н. Савицкого в СССР летом 1926 года ОГПУ создало из ничего тайную евразийскую организацию, так что он присутствовал на фальшивых собраниях евразийцев, на службах, отслуженных в фальшивых церквях фальшивыми священниками, членами ОГПУ<sup>21</sup>.

В 30-е годы, когда парижская группа становилась все более открыто просоветской, пражская группа сохраняла свои позиции благодаря сильной личности Савицкого. После немецкой оккупации Праги в марте 1939 года евразийская группа прекратила свою деятельность, а евразийские публикации были запрещены. В 1941 году за публичное заявление «Россия непобедима» Савицкий был снят нацистами со своего поста в германоязычном университете. В 1945 году он был арестован советскими агентами, которых встречал с энтузиазмом и патриотическим пылом, и отправлен в лагерь — на каторжные работы в Мордовию. В 1955 году, после десталинизации, он был освобожден и отослан назад в Прагу. За сборник стихов, опубликованный в Париже, его арестовала чешская полиция, но вскоре — из-за смены министра внут-

---

<sup>19</sup> Ср. Дюмон 1983.

<sup>20</sup> В 1926 году, например, «евразийский семинар» в Париже организовал ряд обсуждений, посвященных отношению России к Европе. Это происходило в доме 11 bis по улице де Магдебург. На заседаниях, которые вел Л. П. Карсавин, обычно присутствовало около полутора сотен человек (ср. «Евразийский семинар в Париже», *Евразийская хроника*, 7, 1927, 42—45).

<sup>21</sup> Ср. Степанов 1995, 439.

ренных дел и вмешательства Бертрана Рассела — он был амнистирован. Он закончил жизнь в трудных условиях, лишенный права преподавать, но до конца продолжал работать над переистолкованием русской истории и географии и вел переписку с Якобсоном<sup>22</sup>.

### Учение евразийства: общий очерк

Несмотря на все заявления о радикальной новизне (или, может быть, благодаря им) у евразийства есть общие черты с современными ему идеологическими и интеллектуальными движениями в Европе. Эти общие черты можно объяснить не прямыми заимствованиями, но скорее общим духом времени, общей интеллектуальной обстановкой.

#### *Против универсализма: самобытность*

Евразийская теория основывалась на рассуждениях двоякого рода, искавших точек соприкосновения: с одной стороны, геополитика (Савицкий), с другой — история культуры (Трубецкой) и лингвистика (Якобсон).

Участников евразийского движения объединяла мысль о том, что Россия не является ни частью Европы, ни частью Азии: на востоке Европы и на севере Азии она образует «особый» мир, культура которого в России была подавлена двумя столетиями прозападного монархического режима. Бессознательная суть большевистской революции с ее идеями атеистического коммунизма, принесенными с Запада, — не восстание бедных против богатых, а восстание народных масс против угнетателей, которые подражали Европе и распространяли чуждую, непонятную народу культуру, возникшую в результате насильственной европеизации России.

Для них *самобытность* евразийской культуры и государства обусловлена давним творческим содружеством восточных славян с финно-угорскими и тюркскими<sup>23</sup> народами на евразийской территории. Ду-

---

<sup>22</sup> Письма Савицкого Якобсону хранятся в архиве Якобсона в Массачусетском технологическом институте.

<sup>23</sup> В отличие от турков, населяющих Турцию, тюрками называются все народы, говорящие на языках тюркской группы (азербайджанцы, туркмены, узбеки, казахи, киргизы, татары... и турки).

ховная сущность русского «самосознания»<sup>24</sup> — в православии; двухсотлетнее господство западных принципов, насильственно введенных Петром Великим, привело к раздвоению народной культуры, которая первоначально была *органической целостностью*.

Евразийцы призывали вовсе не к восстановлению монархии и порядка, господствовавших до 1917 года, но к моральному преодолению большевизма путем возврата к православным идеалам любви и «всеединства»<sup>25</sup>, уже выкорчеванным из официальной Церкви, но еще живым в сознании народа.

В отличие от славянофилов и панславистов, евразийцы не признавали никакой связи между Россией и западными славянами-католиками. Их социальные, политические, научные размышления строились вокруг проблемы сродства (*affinités*) — географического, исторического, культурного, психологического — между территориями и народами России и прилегающими к ней землями, ее ближайшими восточными соседями: вместе они рассматривались как особый мир, как *естественное единство*, бóльшим обязанное Востоку, нежели Западу. Главной задачей евразийского движения было сохранить любой ценой государственную целостность бывшей русской империи, ныне СССР — того, что они и называли Евразией. В своих исследованиях они утверждали *противоестественность, искусственность* всякого расчленения этой *живой целостности*. Этот напряженный труд, который должен был обеспечить доказательство реального бытия Евразии, привел Трубецкого в 1927 году к такому определению:

Национальным субстратом того государства, которое называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая многонародная нация и в качестве таковой обладающая своим национализмом. Эту нацию мы называем *евразийской*, ее территория — *Евразией*, ее национализм — *евразийством* (Трубецкой 1927а, 28).

В книге «Европа и человечество» (1920) Трубецкой призывает нас изменить привычную точку зрения: то, что обычно называют «общечеловеческой» цивилизацией с прогрессом как главной ценностью, по сути оказывается лишь европейским шовинизмом: он крайне опасен, так как «гипноз слов» воздействует на неевропейских интеллектуалов.

<sup>24</sup> Калька с немецкого Selbstbewusstsein.

<sup>25</sup> О понятии всеединства см. ниже гл. IX.

С точки зрения евразийцев, заимствования из западной культуры имеют отрицательные последствия для незападных народов, так как они не могут быть «органически усвоены» в незападных культурах. Из-за своих психологических особенностей неевропейцы никогда не смогут стать органичной частью европейской цивилизации и развить в ее рамках свои собственные ценности: ведь для них это — культура из вторых рук. Однако их собственная культура ни в чем не хуже европейской, она просто другая<sup>26</sup>.

Трубецкой призывает интеллектуалов неевропейских стран (и прежде всего, конечно — России), ослепленных Европой, вернуть себе потерянное зрение, заметить лживость и опасность европейских претензий на универсальность. Только тогда они смогут повести свои народы к культурной независимости, дающей им право «быть самими собой».

Исходя из мысли о невозможности и бесплодности универсальной культуры, Трубецкой утверждает, что культуры должны быть «национально ограниченными»<sup>27</sup>. Эти отдельные культуры являются органическими сущностями или «целостностями»: Савицкий и Трубецкой называли их «системами». При этом Трубецкой утверждал, что эти системы чужды друг другу: ведь каждая система внутренне едина, единственна и в другие системы непереводима, а ее исторический путь своеобразен (гармоничность внутрисистемной организации). Но в чем же заключается «системность» Евразии? Именно этот вопрос — поверх всей органицистской метафорики — подводит нас к сложным и тонким отношениям понятий система/структура/целостность в концепциях пражских структуралистов.

#### *Поиск себя: невозможность экуменизма*

Объясняя, почему эти два «мира» — Россия и Европа — оказываются несовместимыми, русские пражане преувеличивают различия между православием и католицизмом. Вот она — подлинная символическая граница, большой вопрос после территориальных потерь России в результате Первой мировой войны — граница как обоснование спора о территориях. Недаром евразийцы признали независимость прибалтийских государств и Финляндии как нечто само собой разумеющееся:

---

<sup>26</sup> Трубецкой 1920, 42.

<sup>27</sup> Трубецкой 1923а, III.

эти народы — будь то католики или протестанты — «латиняне», то есть «не православные»<sup>28</sup>.

Отвергая христианский универсализм (евразийцы связывают его с римской церковью) и даже не принимая в этой связи во внимание проблему культурного релятивизма, Трубецкой без конца говорит о полной несовместимости между православным и римско-католическим миром и особенно — о существенном превосходстве первого над вторым: он упорно твердит навязчивую идею, общую для евразийцев и славянофилов: даже если в силу особых исторических обстоятельств Россия и была в контакте с европейской культурой, все равно по своей глубинной сути она всегда принадлежала и будет принадлежать к совершенно иному культурному миру, отделенному от европейской культуры пропастью и бесконечно более высокому по своим этическим, эстетическим и духовным ценностям, нежели все то, что было создано в Европе.

Так, Трубецкой утверждает, что кириллица превосходит латиницу<sup>29</sup>. Однако, что менее известно, прямо за ним идет Якобсон, выступая в своем основоположном тексте о евразийском языковом союзе<sup>30</sup> с яростной критикой политики латинизации алфавитов для языков, распространенных на территории СССР, и утверждая, что латинский алфавит практически неспособен передать своеобразие евразийских языков. В то же самое время (на рубеже 20-х и 30-х годов) советский лингвист Е. Д. Поливанов (1891—1938), напротив, видел в этой политике положительный сдвиг в сторону интернационализации<sup>31</sup>.

Конечно, вся евразийская мысль вращается вокруг понятия холизма (гармония целостности, симметрия периферий по отношению к центру). Однако гораздо меньше усилий прилагается к тому, чтобы

---

<sup>28</sup> Отождествление католического мира с «латинским» восходит к византийской системе понятий, для которой религиозная принадлежность важнее этнической. Если у румын язык романский, а вера православная, — это не противоречит избранной ими системе понятий. Основоположные и неустранимые различия между православным миром, с одной стороны, и католико-протестантским миром — с другой, четче всего выражены в коллективном сборнике статей «Россия и латинство» (1923). Подробнее о самой этой оппозиции см., в частности: Мирский 1927.

<sup>29</sup> Трубецкой 1927б, 88—93.

<sup>30</sup> Якобсон 1931а [SW-I, 192—194]; см. выше. гл. III.

<sup>31</sup> Ср. Поливанов 1931; цит. по: Поливанов 1968, 197.

определить уже не западную, а восточную границу России. В «Наследии Чингисхана», самой страшной книге, когда-либо написанной Трубецким (она вышла в 1925 году под псевдонимом ИР<sup>32</sup>), подлинной проблемой оказывается именно западная граница России — та, что всегда сопротивлялась русской экспансии, в отличие от восточной ее границы, которая, после взятия Казани в 1552 году при Иване Грозном, постоянно отступала вплоть до самой Аляски. По сути, все призывы русских интеллектуалов к солидарности со странами, которые мы теперь называли бы «третьим миром»<sup>33</sup>, выступают здесь лишь как прикрытия для поиска себя в отношениях к своему другому Я, а именно — к Западной Европе.

Стоит отметить, что среди евразийцев не было ни одного нерусского, даже ни одного украинца<sup>34</sup>. К тому же «туранский» элемент в «евразийской культуре» остается чрезвычайно абстрактным: евразийцы никогда не ссылаются ни на одного евразийского автора, мыслителя, ученого, который не был бы русским. Так, мы не найдем у них ни слова об Авиценне; единственный герой на первых ролях — это Чингисхан...

И здесь евразийцы, возмущенные международной политикой первых лет большевистского правления, все больше разделяли советскую культурную политику, которая в 30-е годы подчеркивала целостность Советского Союза, идею сплоченности народов вокруг России при полном отказе от интернационализма (ср. вопрос о переходе на кириллицу для нерусских языков).

---

<sup>32</sup> Возможно, ИР означает И<sup>Н</sup>иколай <sup>Т</sup>рубецкой, но есть и другое объяснение: ИР значит «Из России». См. ссылку в библиографии на имя Трубецкого.

<sup>33</sup> Ср. призыв Трубецкого к восстанию: «Как же бороться с этим кошмаром неизбежности европеизации? На первый взгляд кажется, что борьба возможна лишь при помощи всенародного восстания против романо-германцев. Если бы человечество — не то человечество, о котором любят говорить романо-германцы, а настоящее человечество, состоящее в своем большинстве из славян, китайцев, индусов, арабов, негров и других племен, которые все, без различия цвета кожи, стонут под тяжелым гнетом романо-германцев и растрачивают свои национальные силы на добывание сырья, потребного для европейских фабрик, — если бы все это человечество объединилось в общей борьбе с угнетателями — романо-германцами, то, надо думать, ему рано или поздно удалось бы свергнуть ненавистное иго и стереть с лица земли этих хищников и всю их культуру».

<sup>34</sup> Отметим, что еврей А. Я. Бромберг призывал всех евреев объединить свою мессианскую энергию с энергией России-Евразии, которая должна стать «Новым Израилем» (Бромберг 1920, 113—117, 139—140).

*Против общей цивилизации: отдельные культуры*

Русская культура осмыслялась евразийцами не как отражение или часть западной культуры, но как «особая» культура, присущая совокупности народов Восточной Европы и Азии, имеющих «душевное сродство» с Россией. Именно это сродство, по мнению авторов «Исхода к Востоку», и делает русскую культуру «доступной и близкой для этих народов, а с другой стороны, делает плодотворным их участие в русском деле»<sup>35</sup>).

Культурологические труды Трубецкого мало известны во франкоязычном мире. Однако они важны для прояснения некоторых особенностей его структурализма, той «старой гегельянской основы», о которой говорил Мунен<sup>36</sup>, признаваясь, что встает в тупик перед некоторыми высказываниями Якобсона о Трубецком (в его распоряжении, очевидно, были лишь краткие биографические сведения из французского издания «Основ фонологии»; переписка Трубецкого была опубликована по-русски лишь в 1975 году<sup>37</sup>).

Провозглашая, вместе с другими евразийцами<sup>38</sup>, «революцию в сознании», Трубецкой опирался на утопическую картину давнего прошлого — не на имперскую Россию после реформ Петра Великого, а на допетровскую московскую «подлинную» Россию, порожденную, как он

<sup>35</sup> Флоровский и др. 1921, VII.

<sup>36</sup> Мунен 1972, 101.

<sup>37</sup> Однако в это время (1972) уже существовала многое проясняющая монография (Бёсс 1961) о евразийстве. Французские публикации на эту тему относятся к 1930-м годам: они выходили главным образом в журнале «Школы восточных языков» (*Le Monde Slave*), но никогда в журнале «Института славянских исследований» (*Revue des études slaves*), а затем полностью прекратились. Лишь много позже франкоязычные исследователи вновь заговорили о евразийстве в связи с Трубецким (Нива 1966; Виель 1984; Нива 1988; Адамски 1992). После войны появились и работы на других языках (напр., Рязановский 1967 и, особенно, уже упоминавшийся Бёсс). Тексты Трубецкого, не относящиеся к языкознанию, были переизданы на русском языке в Москве (1995); большая их часть была издана по-английски (ср. Либерман 1991a) и по-французски (ср. Серю 1996 b). О неоевразийстве в посткоммунистической России см.: Дезер, Пайяр 1994.

<sup>38</sup> Слово «евразиец» обозначает сторонника евразийского учения, а «евроазиат» — обитателя Евразии: такое уточнение предлагает переводчик статьи С. Любинского (1931, 388) (С. Любинский — один из многих псевдонимов П. Савицкого; см. об этом Рязановский 1967, 47).

считает, системой татаро-монгольской власти. Эта завороченность монгольской державой лежит в основе его книги 1925 года «Наследие Чингисхана».

Призывая к пересмотру традиционно отрицательного взгляда на татаро-монгольское иго, Трубецкой утверждает, что реальным первоначалом русского государства была не Киевская Русь, а монгольская империя. В самом деле, Киевская Русь, провинциальная раздробленная территория, занимала меньше одной двадцатой части нынешней территории России: она не была «органической целостностью», а потому оставалась исторически «не жизнеспособной»<sup>39</sup>. Будучи страной оседлых земледельцев, она не могла противостоять степным кочевникам. Татарская Золотая Орда, напротив, как раз и занимала примерно нынешнюю территорию России. Именно Чингисхан выдвинул идею суверенности и единства Евразии. То, что ранее называлось «татарским игом», на самом деле защитило Россию от чего-то гораздо худшего: от «романо-германского ига», представлявшего смертельную угрозу для Евразии.

У евразийцев было много внутренних разногласий, но по крайней мере одно общее убеждение: лишь особый евразийский «взгляд на мир» позволяет сохранить единство и своеобразие русской культуры, основанной как на греко-византийском наследии, так и на монгольском завоевании. Россия-Евразия (хотя эти два слова соответствует части и целому, они обычно употребляются как синонимы, как два имени одной и той же целостности) рассматривалась не как страна-колонизатор (Средней Азии и Кавказа), но как страна колонизованная («романо-германцами»). Более того, русская экспансия в Среднюю Азию и на Кавказ считалась естественным и непрерывным процессом органического развития, «экологическим» процессом, лишенным политических мотивов и причин<sup>40</sup>. Евразия была для них естественным геополитическим единством, в котором *совпадают* географические (геофизические), культурные, исторические, этнические, антропологические признаки: это *гармоничная органическая целостность*.

Хотя Трубецкой никогда не ссылается на свои источники (Г. Тард здесь единственное исключение), он — сознательно или бессознатель-

---

<sup>39</sup> Трубецкой 1925а, 4.

<sup>40</sup> Об отказе Якобсона от причинных объяснений см. в гл. VII.



но — оставляет следы своих прочтений. Так, его книжка «Европа и человечество» (1920) явно отсылает к книге теоретика панславизма Н. Я. Данилевского (1822—1885) «Россия и Европа» (1869). Эта книга Данилевского, предвосхитившая построения О. Шпенглера и А. Тойнби (ее неполный немецкий перевод появился в 1920 году, сразу после публикации «Заката Европы» Шпенглера), по своей тематике очень близка идеям Трубецкого: в ней представлена органицистская теория «культурно-исторических типов», замкнутых в себе и навсегда расколовших единство человечества<sup>41</sup>. Трубецкой описывает «романо-германцев» теми же словами, что и Данилевский<sup>42</sup>. А в подзаголовке «Наследия Чингисхана» («взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока»), отчетливо звучит тот же лейтмотив «взгляда», что и в подзаголовке книги Данилевского («взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому»). Теория отдельных культурно-исторических типов нужна евразийцам, чтобы показать, что наличие особых географических, этнографических и политических связей между Россией и Азией делает заведомо невозможной принадлежность России к Европе. Весомый вклад Трубецкого и Савицкого в обсуждение этого вопроса заключался в замене «типа» «системой» — об этом у нас пойдет речь в связи с понятием «архетипа».

Несмотря на явные и важные несовпадения между Трубецким и Данилевским, чтение Данилевского оставило в идеях Трубецкого свой след, который заслуживает тщательного изучения. Главные общие темы у обоих мыслителей связаны с крайним культурным релятивизмом: всеобщая цивилизация невозможна и немыслима, культура может существовать лишь во множественном числе. Далее это устойчивая романтическая оппозиция между культурой и цивилизацией<sup>43</sup>,

---

<sup>41</sup> Якобсон приветствует Н. Данилевского с его антипозитивизмом как один из «блестящих плодов» русской философии (Якобсон 1929б, рус. пер.: 24).

<sup>42</sup> В конце Второй мировой войны терминология Данилевского («романо-германцы») была подхвачена в СССР знаменитым лингвистом В. В. Виноградовым («Великий русский язык», Москва, 1945), который употреблял ее в панславистской перспективе (ср. Серио 1984). О Н. Данилевском см.: Макмастер 1967.

<sup>43</sup> Эта тема выпукло представлена у современника евразийцев Томаса Манна (1875—1955): «Не в „человечестве“ как сумме индивидов, а в нации содержится

возрожденная Ницше в «Рождении трагедии» (1872): отныне к ценностной оппозиции между «аполлонийской» цивилизацией и «дионисийской» культурой добавляется напряженное отношение между множественным и единственным (или «всеобщим»). Более или менее неявно у обоих мыслителей присутствует мысль о том, что русская культура имеет некое внутреннее преимущество перед другими культурами. В любом случае она своеобразна, сущностно отлична от «романо-германской» культуры.

В отличие от последних панславистов Трубецкой и евразийцы не призывали вновь завоевать Константинополь: каждый должен остаться при своем и учиться познавать самого себя. А кроме того — и это вершина парадокса — Трубецкой обвинял традиционных славянофилов в западничестве («западничающее славянофильство») <sup>44</sup> — ведь славянский мир пытался подражать великим западным державам.

Глубинный отказ евразийцев от западноевропейской культуры проявлялся в их явно враждебном отношении к ее опорным принципам, особенно к понятию демократии и к возвеличиванию индивидуальной личности. Евразийцы стремились доказать, что Россия-Евразия, в силу исторических обстоятельств вступившая в контакт с западным миром, всегда принадлежала и будет принадлежать — по самой сути своих «жизненных принципов» — к культурному миру, совершенно отличному от Европы, отделенному от нее пропастью и бесконечно превосходящему все то, что было выработано европейской культурой.

---

общее и человеческое: ценность этого духовного продукта, художественного и религиозного, невозможно уловить научными методами: она бьет ключом из органических глубин той развитой народной жизни, которую мы называем национальной культурой, а потому ценность, достоинство и очарование всякой национальной культуры заключены именно в том, что отличает ее от других культур, а не в том, что обще для всех наций и является лишь цивилизацией» («Размышления аполитичного человека», 1915—1918). После войны Т. Манн отказался от этой оппозиции. Однако ближе всего к евразийцам — О. Шпенглер: его «историческая морфология» изучает последовательность фаз в развитии каждой культуры: восходящая фаза молодости и динамизма неизбежно сменяется фазой упадка или иначе — «цивилизации» (Шпенглер 1918). Напротив, Н. Бердяев в работе «Смысл истории» (1920) противопоставляет то, чего в России не хватает (цивилизация), тому, что у нее в избытке (культура). Об этой оппозиции культуры и цивилизации существует огромная литература. Среди французских источников ср. Бонуа 1974, Бенетон 1975.

<sup>44</sup> Трубецкой 1921а, 84.

Обвинения евразийцев против «Запада» относились, по сути, к психологическому складу или, как теперь говорят, «ментальности» западного человека и прежде всего к его эгоизму и индивидуализму при защите своих прав. Пражский евразиец, историк и юрист Н. Алексеев утверждал, что вся европейская история наполнена борьбой за суверенные права личности<sup>45</sup>. Он считал, что с XIX века этот эгоистический принцип распространился и на нации в целом, превратив их тем самым в огромных индивидов, борющихся за свои интересы и преимущества. Евразийцы противопоставляли этому разорванному внутренней борьбой Западу гармоничный образ древней России в тени православия. Согласно евразийцам, основа православной концепции мира не в борьбе индивида за свои права, но в братской любви и солидарности между членами *сообщества* (а не *общества* в его абстрактном понимании)<sup>46</sup>. Этот идеализированный взгляд на Древнюю Русь почти дословно совпадал со славянофильскими догмами и во всяком случае — с древними политическими учениями: идеологи Московской Руси с самого начала отрицательно относились к восхвалению личностной автономии, характерному для возрожденческого Запада, и видели в нем выражение человеческой гордыни. Требования индивида, стремящегося получить от общества как можно больше прав, воспринимались в Московии как нечто глубоко безнравственное.

---

<sup>45</sup> Ср. Алексеев 1934а, 1934б.

<sup>46</sup> Здесь мы видим оппозицию — одновременно и романтическую и гегельянскую — между *Gesellschaft*, или обществом как искусственной сущностью, результатом договорных теорий просвещенческой философии (речь идет об ассоциации индивидов, для которых объединение в группу не является целью в себе, так как у них есть другие конкретные цели), и *Gemeinschaft*, или сообществом как органической слитностью, естественной совокупностью, для которой самое главное — единение индивидов. Эта антиномия лежит в основе учения немецкого социолога и философа Фердинанда Тённиса (1855—1936); он развивает ее в своей главной работе «*Gemeinschaft und Gesellschaft*» (1887), а также использует в своих исследованиях языкового знака (об этом ср. Нерлих 1988, 215—217). Предположение Мунена насчет моментов гегельянства у Трубецкого представляется вполне обоснованным: если у Трубецкого «всякий человек способен вполне воспринять только создания той культуры, к которой сам принадлежит, или культур, ближайших к этой культуре» (Трубецкой 1923а, 112), то у Гегеля индивид может полностью осуществить себя лишь в силу принадлежности тому, что одновременно и превосходит и выражает его — своей культуре и своему народу.

Евразийцы считали, что культура России-Евразии по сути своей религиозная, точнее — православная<sup>47</sup>. Эта православная культура, основанная на «соборности»<sup>48</sup>, противопоставлялась юридическому, рационалистскому и индивидуалистскому христианству римско-католической Европы (женевское протестантство воспринималось как некий анти-Рим). С точки зрения евразийцев, западный человек не способен мыслить категорию «целостности», он воспринимает лишь логические абстракции, его этика вырождается в казуистику, а его наука — в чисто деструктивный анализ. Этот рационалистический дух мы находим в юридических выкладках римского права, в логических построениях Фомы Аквинского и в современной аналитической науке. Напротив, греческая теология никогда не была на латинский манер антропоцентричной. Опираясь на традицию платонизма, она мыслила Бога как Логос, который образует и преобразует Космос, а человека — как часть Космоса и участника Логоса. Понятие вселенной играет основоположную роль в православии: в тварном мире нет ничего такого, что не участвовало бы в религиозной жизни. А это в свою очередь исключает чисто человеческую, антропоцентрическую установку по отношению к религии, не допуская тем самым поглощения религии этикой. Равным образом это предупреждает возникновение всяческого индивидуализма, потому что ни Бог, ни человек не рассматриваются *отдельно* — друг от друга и от мира. Отметим важность неоплатонической составляющей в этой картине мира, основанной на учении о нераздельности — отзвуке яростных споров, которые в течение столетий разделяли греческих отцов церкви, опиравшихся на Платона, и римских отцов церкви, основывавшихся на Аристотеле. Однако и здесь знание основано на *долге*: Трубецкой призывает к «работе по переводо-

---

<sup>47</sup> Мусульмане русской империи, благодаря их «туранскому» психологическому складу, считались «потенциальными православными». Для Трубецкого «глубоко знаменательно, что Емельян Пугачев, стоя под знаменем старообрядчества, отвергавшего „поганых латинян и лютеров“, не находил ничего предосудительного в объединении с башкирами и прочими представителями не только инославского, но даже иноверского туранского Востока» (Трубецкой 1921б, 32).

<sup>48</sup> Эта соборность или кафоличность православной церкви проявляется в особом церковном сознании и в множественности теологических мнений, сливающихся в выражении единства. Она предполагает понятие соборования и противостоит понятию подчинения иерарху *ex cathedra* в католицизме.

питанию национального сознания для установления симфонического (хорового) единства многонародной евразийской нации»<sup>49</sup>.

Тем не менее для евразийцев Космос не есть нечто универсальное: он расщеплен на многие «миры», сущность которых в том, чтобы быть различными. Для Трубецкого языки и культуры *совершенны в своей множественности*...

В 1923 году Трубецкой опубликовал в журнале «Евразийский временник» статью «Вавилонская башня и смешение языков», в которой он предложил новое истолкование мифа о Вавилонской башне в свете множественности языков. Если труд — это действительно наказание, наложенное на людей Богом, то множественность языков не связана с наказанием и страданием: напротив, *закон* раздробления языков на веки веков — это гарантия расцвета культур<sup>50</sup>. В традициях франкоязычного выражения можно было бы сказать, что Бог не смешал человеческие языки, а лишь умножил их число.

В самом деле, всеобщая, лишенная различий культура людей, которые задумали построить Вавилонскую башню, — «односторонняя». Эта культура способна к замечательному научному и техническому развитию, но она отличается «полной духовной бессодержательностью и нравственным одичанием»<sup>51</sup>. Общечеловеческая культура может собрать «лишь те психические элементы, которые общи всем людям» и не могут относиться только к логике и материальным потребностям<sup>52</sup>. Вот почему «в однородной общечеловеческой культуре логика, рационалистическая наука и материальная техника всегда будут преобладать над религией, этикой и эстетикой»<sup>53</sup>. Иначе говоря, без духовной закваски логика и материальная техника лишь препятствуют самопознанию. Только в культуре *национально ограниченной* почетное место отводится «своеобразному моральному и духовному облику каждого народа»<sup>54</sup>.

Этот отказ от универсальной культуры и этот поиск отдельных, обособленных культур или «замкнутых культурно-исторических ти-

---

<sup>49</sup> Трубецкой 1927а, 30.

<sup>50</sup> Трубецкой 1923а, 108.

<sup>51</sup> Там же, 109.

<sup>52</sup> Там же.

<sup>53</sup> Там же, 111.

<sup>54</sup> Там же.

пов», единственно способных обеспечить людям гармоничное индивидуальное развитие, были постоянными элементами культурологических текстов Трубецкого. Уже в самом первом своем тексте о национализме он подчеркивал, что

культура должна быть для каждого народа другая (Трубецкой 1921а, 78).

Утверждая, что замкнутость культур—это жизненная необходимость, Трубецкой защищает тем самым крайнюю форму релятивизма, опровергая иерархические классификации линейного эволюционизма<sup>55</sup>:

Всякий момент оценки должен быть раз навсегда изгнан из этнологии и истории культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие (Трубецкой 1920, 42).

В основе этих взглядов лежит великая метафора, восходящая к немецкому романтизму: *нации подобны человеческим личностям*. Именно эта параллель между нацией и индивидом и лежит в основе отказа от любой универсальной культуры.

Отсюда логически вытекает отсутствие у евразийцев каких-либо призывов к переносу духовных и культурных ценностей от одного народа к другому: Трубецкой, например, не призывал проповедовать православие католикам, но лишь подчеркивал естественно-исторический характер оппозиции между двумя вариантами христианства и его непреложность (во всяком случае, до Страшного суда)<sup>56</sup>.

### *Ареальная концепция культуры*

Западная Европа привыкла к антиколониальным речам, построенным на противопоставлении Севера и Юга и на доводах «левого» толка. Менее известны антизападные антиколониальные рассуждения «правого» толка, которые в России строятся на противопоставлении Востока и Запада. Цель этих рассуждений— не столько освобождение людей, сколько защита национальной традиции. Это изменение пер-

---

<sup>55</sup> И в этом релятивизм и антиуниверсализм Трубецкого были глубоко противоположны религиозному экуменизму Вл. Соловьева (1853—1900), который всеми силами призывал к созданию универсальной, надконфессиональной церкви.

<sup>56</sup> Ср. Трубецкой 1923а.

спективы становится очень актуальным в свете событий, последовавших за падением коммунистического режима в России: эти события просто непонятны без сопоставления с их историческими прецедентами, восходящими к славянофильской мысли и даже к византийскому взгляду на «латинский» Запад. Как бы то ни было, идея «реазиатизации» России с целью избежать «кошмара европеизации» — это лишь один из способов обоснования колониальной политики русской империи при подавлении Советским государством всякого «сепаратизма» в республиках и при трактовке западного влияния как «романо-германского ига».

Однако ареальная концепция культуры в свою очередь приводит к многим трудностям. Так, у Трубецкого в его концепции коллективных сущностей (народы и культуры) постоянно ощущается напряжение между прерывным и непрерывным. В самом деле, с одной стороны эти сущности включены в иерархически сложные, открытые структуры:

Нет (или почти нет) на свете народов вполне своеобразных или обособленных: каждый народ всегда входит в какую-нибудь группу народов, с которыми его связывают те или иные общие признаки, а часто один и тот же народ по одному ряду признаков входит в одну, а по другому ряду — в другую группу признаков (Трубецкой 1927а, 28).

С другой стороны, этой непрерывности кладется предел сверху, образующий замкнутые целостности: «К полному своеобразию приближаются только большие этнические единицы (например, какая-нибудь группа народов)» (Там же). Само собой разумеется, что Советский Союз-Евразия образует целостное единство...

Тем самым возникает двойная система оценки. С одной стороны, Трубецкой мыслит в терминах контакта, соседства, постепенных переходов, превращая их в универсальное правило (но приводя в качестве примера лишь евразийские народы). С другой стороны — при сопоставлении романо-германской культуры с русско-евразийской, — он заявляет, что культуры — это наглухо закрытые монады. В «Европе и человечестве» он даже выдвигает дилемму: принять или отвергнуть романо-германскую культуру по принципу «все или ничего».

Трубецкой всегда воспринимал романо-германский мир как внутренне единую и к тому же враждебную целостность: «Романо-германский мир со своей культурой — наш злейший враг», — пишет он в «Рус-

ской проблеме» (Трубецкой 1922, 314). Их культура имеет «роковой недостаток» — эгоцентризм («Европа и человечество»). Французская и немецкая культура кажутся ему единым целым, и это странно, если вспомнить о том, как похожи проклятия евразийцев против романо-германской культуры на проклятия немецких романтиков против французской культуры в эпоху Просвещения — при небольшом смещении предмета вражды к Востоку.

Тем самым культуры у евразийцев иногда образуют непрерывные территориальные общности, а иногда выступают как предметы, которые можно пересчитать и заимствовать как единое целое. Так, русская культурная традиция у Трубецкого являет свою идеальную чистоту при сопоставлении с романо-германской традицией как совершенно иной, но вливается в некую органическую слитность при соотнесении степной (туранской)<sup>57</sup> и лесной (русской и угро-финской) культур — близких, *несмотря* на отсутствие общего наследия. «Миры» Европы и Евразии оказываются *сущностно* различными, а лес и степь — органически взаимодополнительными.

Однако концепция автаркии, культурной самодостаточности порождает острую проблему границ тождества, границ целостности: Трубецкой никогда не дает критериев, по которым можно было бы отделить целое от его частей. Так, украинцы относятся к русским как часть

---

<sup>57</sup> В «Перечне языков всех известных народов» (1800—1805) испанский филолог иезуит Лоренцо Хервас называет «туранской» языковую семью, ныне известную нам под именем урало-алтайской. Он считает, что это имя происходит от Туг: в иранской мифологии — имя одного из сыновей Феридуна, получившего во владение Туран или же Туркестан. В наши дни больше не говорят о туранских языках; что же касается туранской расы, то Анри Валлуа (Валлуа 1976, 41) считает её одной из азиатских рас. Воображаемая близость туранских народов (булгары и турки в турецко-монгольской группе, мадьяры и финны в финской группе) питала в 1900-е — 1930-е годы националистические движения в Венгрии и в Турции, породившие идею пантуранизма и стремление объединить в рамках единого государства тюркские народы, проживавшие в Турции, Иране и СССР. В то же время в Японии была довольно популярна идея туранского происхождения японцев (ср. Юки 1984, 158).

Один из крупных представителей диффузионизма преподобный В. Шмидт, современник Трубецкого и основатель «Венской школы» в антропологии, тоже говорит о «монголо-туранском культурном круге», противопоставляя его «индогерманскому».



к целому, а евразийцы относятся к европейцам как одна целостность к другой, исключаемой ею целостности<sup>58</sup>.

Эти превратности онтологического выбора евразийцев при построении своего объекта вызвали у Н. Бердяева ожесточенную критику и обвинения в «номинализме». Бердяевская критика может показаться странной (философ совершенно не замечает, что в основе евразийской теории лежит платонистский эссенциализм); однако она подчеркивает, насколько произвольны границы между отдельными целостностями в построениях евразийцев:

Евразийцы восстанавливают историософическую теорию Данилевского и усваивают себе его натурализм и номинализм. Историософические взгляды Данилевского и евразийцев есть наивная и философски неоправданная форма номинализма, номиналистического отрицания реальности человечества. Но номиналистическое разложение реальных единств нельзя произвольно остановить там, где хочешь. Номинализм не может признать и реальности национальности, как не может признать и реальности человеческой индивидуальности, разложение реальных единств идет до бесконечности. Если человечество и космос не есть реальность, то столь же нереальны и все остальные ступени (Бердяев 1925, 109).

### *Против демократии: идеократия*

Трубецкой, как и другие евразийцы, изо всех сил отрешивался от парламентской демократии как абстрактного, не «органичного» принципа: это крайняя форма бесформенного индивидуализма, который оставляет одинокого человека во власти абстрактного государства и произвольной арифметики политических выборов. Он боролся за «идеократическое» государство, в котором была бы лишь одна партия, и она состояла бы из людей, обладающих духовным превосходством и способных представлять «Идею» (необходимость подчинения общества Идее была одной из основоположных догм евразийства)<sup>59</sup>. И эта единственная евразийская партия была призвана заменить большевистскую партию в России. Правительство должно было стать не демо-

---

<sup>58</sup> Трубецкой 1927в.

<sup>59</sup> Ср. Савицкий 1923б: «людьми должны управлять идеи, а не организации. Победить коммунизм можно только с помощью более высокой, всеобъемлющей идеи».

кратическим (так как демократия — это почти не прикрытая анархия изменчивых индивидуальных волей), а «демотическим»: всецело опирающимся на симфоническую личность народа и действующим в его интересах. Такие «неконтролируемые» факторы, как, например, свобода печати или частный капитал, должны быть полностью запрещены (либерализм и демократия — это «худшие враги идеократии»). В коммунизме и фашизме евразийцы видели первое грубое приближение к совершенному идеократическому государству. Однако недостатком фашизма была крайняя примитивность его главной Идеи, в которой нехватка содержания компенсировалась чистой организующей волей, а недостатком коммунизма — противоречие между политикой (на практике идеократической) и материалистической философией, отрицающей реальность идей и сводящей историю к процессам, подчиняющимся необходимости. Трубецкой сурово осуждал «идеократические государства» своего времени (СССР проповедовал атеизм, а фашистская Италия держалась за колониализм), однако он видел их преимущества в подготовке пути к неизбежному наступлению «подлинной идеократии».

Идейным течением, близким к евразийству, была «консервативная революция» в Германии 1920-х годов: в рядах этого движения были такие фигуры, как Эрнст Юнгер и Освальд Шпенглер<sup>60</sup>. Немецкая консервативная революция ставила на первый план идею «третьего пути» между либеральным капитализмом и коммунизмом. Евразийство еще громче проповедует идею третьего пути, приписывая к «третьему миру» и Евразию.

У этих двух движений была общая цель или общая иллюзия: проникнуть вовнутрь тоталитарной партии, чтобы заставить ее осуществлять их собственные цели. Общим в этих учениях были элитистский характер и вера во всевластие идеи. Это не были идеологи реставрации, ностальгически относившиеся к прошлому: они видели в катастрофических событиях (после русской революции 1917 г. или немецкого

---

<sup>60</sup> Как известно, Трубецкой хотел, чтобы предисловие к немецкому переводу его книги «Европа и человечество», сделанному братом Романа Якобсона Сергеем Осиповичем Якобсоном (*Europa und die Menschheit / Übers. S. O. Jakobson u. F. Schlömer. München: Drei Masken Verlag, 1922*) написал О. Шпенглер (ср. Поморска 1977). О немецкой консервативной революции см.: Брейер 1996.

поражения 1918-го) шансы решительного обновления общества. Однако в обоих этих случаях между геоисторическим детерминизмом и активизмом «революции в сознании» сложилось крайне напряженное отношение.

Применительно к евразийскому учению можно говорить о тоталитаризме, рассматривая подчинение индивида власти, включение индивида в систему, которая выше его,— в *тотальность*. Тоталитаризм претендует на полный контроль за человеком во всей совокупности его физических, психических, интеллектуальных свойств. Будучи замкнутой самодостаточной системой, покрывающей все аспекты жизни, он строится на принципе автаркии.

### *Философия истории*

Все современные определения структурализма подчеркивают скорее важность изучения *синхронных* фактов, нежели их эволюции. Нам показывают, например, как структурализм в языкознании преодолел историцистский подход младограмматиков. Для Трубецкого (как и для Якобсона до 1939 года) дихотомия синхронии и диахронии неприемлема в принципе и должна быть преодолена.

В «Двух мирах»<sup>61</sup> евразиец Савицкий стремился показать, как Россия постепенно выходит за пределы европейской культуры, толкая этот процесс с точки зрения такой философии истории, в которой культуры, подобно живым организмам, рождаются, растут, созревают, стареют и умирают. Таким образом, Савицкий был яростным противником линейного эволюционизма<sup>62</sup>: он заменил его концепцией геоисторико-культурных монад, замкнутых миров, которые остаются взаимно непостижимыми и непроницаемыми.

В противоположность господствующему образу структурализма, философия истории Трубецкого имеет одну особенность — это телеология, отвергающая саму идею прогресса. В период кризиса этой идеи<sup>63</sup> Трубецкой, как и его современник Г. Сорель, отказались не

---

<sup>61</sup> Савицкий 1922.

<sup>62</sup> Под линейным эволюционизмом здесь имеются в виду теории Л. Моргана и Ф. Энгельса; крайнее выражение такого подхода — «стадиальная» теория Н. Марра, см. гл. VII.

<sup>63</sup> Напомним, что евразийцы не были маргиналами. Они были хорошо образованными людьми, их социальное положение до революции было устойчивым; в

только от линейного прогресса, но и романтической идеи золотого века — во имя «логики эволюции», основанной на идее историчности систем. Логическое следствие западноевропейской идеи «прогресса» Трубецкой видел в упрощенной трактовке истории языковых семейств как постепенного разветвления единого генеалогического древа.

Многие исследователи подчеркивали, что у Якобсона и Трубецкого широко представлена гегельянская тематика<sup>64</sup>. Гегелем навеяна их философия истории, весьма отличная от всего того, что мы видим в структурализме второй половины XX века. Для Трубецкого становление не случайно, оно *наделено смыслом*, и этот смысл должен быть расшифрован. Однако эту философию истории нельзя свести к простому повторению главных гегелевских тем. Да, в некоторых отношениях концепция необратимости времени у Трубецкого типична для XIX века — за исключением того, что в ней нет всеобщности. Время течет внутри замкнутых целостностей, так что народам уже не приходится сменять друг друга, чтобы занять свое место в великом всеобщем процессе постепенного осуществления абсолютного Духа.

Философия истории у Трубецкого — это не отдельная частная дисциплина, но область практического применения общих принципов философии культуры. История — это культура в ее диахроническом развертывании, когда «коллективные личности» становятся движущими силами и субъектами исторического процесса. В этом учении европейцы оказываются противопоставлены всему остальному миру: они, и только они одни, обречены — самой своей природой — на насилие и экспансионизм. Участь других народов не столь безнадежна: в процессе подлинного самопознания каждая коллективная личность осознает свою относительность и по праву признает в любой другой коллективной личности равную себе. Тем не менее европеизация остается основным злом исторического процесса, блокируя *естественную* эволюцию каждой органической целостности.

Конечно, в философии истории Трубецкого важную роль играет божественное провидение, и это несколько смягчает жесткость этой кар-

---

отличие от тех, кто жил на доходы от земельной собственности, научно-технический прогресс не был для них жизненной угрозой. Таким образом, их упорный отказ от идеи прогресса был вызван не экономическими, а идеологическими причинами.

<sup>64</sup> Мунен 1972, 100; Холенштайн 1984.

тины естественной эволюции. Трубецкой признает «непосредственное божественное вмешательство в исторический процесс»<sup>65</sup>, но при этом постоянно ссылается на некую историческую необходимость («неизбежно, что...», «неумолимая логика истории» и др.). Кроме того он предписывает каждой группе людей (этнической, социальной...) послушное выполнение своих *задач*. Об украинцах, например, говорится следующее:

Правильное развитие национального самосознания укажет будущим творцам этой культуры как ее естественные пределы, так и ее истинную сущность и истинную задачу—быть особой украинской индивидуацией общерусской культуры (Трубецкой 1927в, 184).

Так как время и пространство нераздельны, исторические единства являются одновременно и географическими сущностями. Все антропологические и все географические сущности—это *целесообразные целостности*, а потому они имеют каждая свою собственную задачу, свое предназначение. В «Наследии Чингисхана» эта мысль повторяется как лейтмотив:

Государственное объединение Евразии было с самого начала исторической необходимостью. Но в то же время сама природа Евразии указывала и на способ этого объединения (Трубецкой 1925а, 6).

Если большевизм и марксизм для евразийцев—это наихудшие проявления западной (точнее—«романо-германской») культуры, то с русской революцией дело обстоит иначе: это огромный и *необходимый* катаклизм, который всколыхнул народные массы не только в России, но и на Востоке. Для евразийцев Октябрьская революция 1917 года—это очищение, обновление, воскрешение подлинного духа степи, присущего русской культуре, исходный момент будущего усиления и укрепления Евразии.

В итоге евразийство отмечено постоянным напряжением между философией истории, в которой гегельянски-непрерывный процесс развития предоставляет каждому народу—*в свой черед* и в свое время—господствующее место в истории, и циклической концепцией времени, в которой культуры предстают как несоизмеримые и взаимонепроницаемые монады. Этот конфликт между двумя концепциями

---

<sup>65</sup> Трубецкой 1923а, 120.

истории и времени лежит в основе споров о структурализме в период между двумя войнами.

## Границы отсутствующие, границы воображаемые

### *Идеология географизма*

Возникает впечатление, что евразийцы совершенно не знали работ своих современников или непосредственных предшественников в области географии и геополитики России. Так, они, по-видимому, не знали ни антропогеографических теорий Ф. Ратцеля (1844—1904), ни геополитических теорий Дж. Макиндера (1861—1947) в применении к русской империи<sup>66</sup>; по крайней мере, они никогда не ссылались на эти источники. Однако «дух времени» они воспринимали. Будучи современниками Освальда Шпенглера, евразийцы в полной мере участвовали в интеллектуальной жизни послевоенной Европы периода Версальского договора.

Их общая цель заключалась в том, чтобы доказать естественное, *органическое* существование Евразии-СССР, показывая точки приобретенного сходства между народами и языками внутри Евразии—в ущерб тем связям, которые эти народы и эти языки могли иметь с другими народами и языками за пределами евразийской территории. Нижеследующий текст Н. Трубецкого—поразительный пример подобных рассуждений:

Ведь по какому-нибудь частному ряду признаков отдельный народ Евразии может входить и в какую-нибудь другую, не чисто евразийскую группу народов: так, русские по языковым признакам входят в группу славянских народов; татары, чувашы, черемисы и проч.— в группу так называемых «туранских народов»; татары, башкиры, сарты<sup>67</sup> и проч. по религиозному признаку входят в группу мусульманских народов. Но эти связи для всех названных народов должны быть менее сильными и яркими, чем связи, объединяющие эти народы в евразийскую семью: ни панславизм для русских, ни пантуранизм для евразийских туранцев, ни панисламизм для евразийских магометан не должен быть на первом плане,— а евразийство. Ибо все эти «пан-измы», усиливая центробежные силы частнонародных национализмов, подчеркивают односторон-

<sup>66</sup> Ср. Хаунер 1992.

<sup>67</sup> Сарты— часть узбеков, перешедших к оседлой жизни гораздо раньше других (Примеч. наше.— П. С.).

нюю связь данного народа с какими-то другими народами только по одному ряду признаков и потому не способны создать из этих народов никакой реальной и живой многонародной нации-личности. В евразийском же братстве народы связаны друг с другом не по тому или иному одностороннему ряду признаков, а по общности своих исторических судеб. Евразия есть географическое, экономическое и историческое целое. Судьбы евразийских народов переплелись друг с другом, прочно связались в один громадный клубок, так что отторжение одного народа из этого единства может быть произведено только путем искусственного насилия над природой и должно привести к страданиям. Ничего подобного нельзя сказать о тех группах народов, которые лежат в основе понятий панславизма, пантуранизма или панисламизма; ни одна из этих групп не объединена в такой степени единством исторической судьбы входящих в нее народов (Трубецкой 1927а, 29—30).

В это же время Яacobсон тоже интересовался Евразией, которую он определял как *целостность*, как «структурную» корреляцию элементов, относящихся к явлениям различного порядка:

Отличается ли и в каких отношениях человеческое общежитие евразийского географического мира от соответствующих общежитий других и в первую очередь соседних миров — европейского и азиатского? Хозяйственная география, в согласии с показаниями физической географии, констатирует целостность евразийского мира. Исторические судьбы Евразии подтверждают ее неразрывное единство. Изучение расового коэффициента крови выясняет существенное антропологическое отличие народов Евразии от европейцев и азиатов. Наконец, этнология, преодолевая свою многолетнюю опасную зависимость от родословной таблицы языков, устанавливает отличительные признаки евразийского культурного круга (Яacobсон 1931а [SW-I, 147]).

Таким образом, с самого начала на первый план вышел вопрос о *границах*: евразийство — это прежде всего *попытка переопределения границ*, деконструкция «мнимых» или «обманчивых» сущностей (например, «славяне») ради других — более «органичных» и потому более «реальных» (например, «евразийцы»).

Вопрос о границах (между языками, культурами, территориями), упорно звучавший в Европе периода Версальского договора, перетолковывался у евразийцев на основе другого, главного для них, вопроса: где конкретно проходит граница между Россией и ее Другим (западной Европой), в чем суть различия между ними? Евразийцы отделяют Россию от славянского мира и, отмежевываясь от панславистов, перемещают границу ближе к востоку. Тем самым они применяют на прак-

тике одну из важнейших аксиом евразийской теории: причину всех несчастий следует искать в непризнании подлинных границ между системами.

Исторические противоречия современной эпохи накопились в русской действительности во многом из-за того отношения к западноевропейской культуре, которое до последнего времени царило во всем мире, и лишь теперь, кажется, повсюду вызывает попытки пересмотреть этот вопрос (Евразийство [неподписанная передовица]. (Евразийская хроника. Прага, 1925. I. С. 1).

Трубецкой был из тех, кто больше всего способствовал этому переосмотру понятий и сущностей, этому сдвигу мнимых границ между якобы устойчивыми сущностями в стремлении указать иные границы — более истинные, более органические, более *естественные*. Таким образом, всякое славянское единство улетучивалось:

Та культура (в смысле общего запаса культурных ценностей, удовлетворяющих материальные и духовные потребности данной среды), которой всегда жил русский народ, с этнографической точки зрения, представляет из себя совершенно особую величину, которую нельзя включить без остатка в какую-либо более широкую группу культур или культурную зону. В общем, эта культура есть сама особая «зона», в которую, кроме русских, входят еще некоторые угро-финские «инородцы», вместе с тюрками волжского бассейна. С незаметной постепенностью эта культура на востоке и на юго-востоке соприкасается с культурой «степной» (тюрко-монгольской) и через нее связывается с другими культурами Азии. На западе имеется тоже постепенный переход (через белорусов и малороссов) к культуре западных славян, соприкасающейся с романогерманской, и к культуре «балканской». Но эта связь с славянскими культурами вовсе уже не так сильна и уравнивается сильными связями с «востоком». По целому ряду признаков русская народная культура примыкает именно к востоку, так что граница «востока» и «запада» проходит именно между русскими и славянами, а иногда южные славяне сходятся с русскими не потому, что и те и другие — славяне, а потому, что и те и другие испытали сильное тюркское влияние. [Исход к востоку, 96—97] (Трубецкой 1921б, 96—97).

Русский национальный характер (...) достаточно отличается как от угрофинского, так и от тюркского, но в то же время он решительно не похож и на национальный характер других славян (Там же, 111).

Тема переопределения границ — и в русской культуре, и в работах европейских ученых-географов — возникла раньше, чем обычно полагают.

Сам термин «Евразия» был изобретен и введен в употребление австрийским геологом Эдуардом Зюссом (1831—1914) в работе «Лик



земли» (*Das Antlitz der Erde*, 1885)<sup>68</sup>. Он отвергал раздел между двумя континентами — Европой и Азией, считая границу между ними условной, и воспринимал их *союз* на общей территории как единое целое — не только с геологической, но и с этнической точки зрения. Именно в этом *воссоединяющем* смысле (объединение [двух] континентов) термин «Евразия» и в наши дни используется во французском языке<sup>69</sup>.

Напротив, евразийцы использовали этот термин в *исключающем* смысле: Евразия, собственно говоря, не есть ни Европа ни Азия, но некий «особый мир». В этом они следовали славянофильским взглядам лингвиста, этнолога и географа В. И. Ламанского (1833—1914), который первым — на основе географических и лингвистических данных — высказал мысль о том, что Старый Свет разделяется не на два, а на три континента — Европу, Азию и Россию, или «Срединный мир» точнее Европы и севернее Азии<sup>70</sup>.

Уже в 1892 году в книге «Три мира азиатско-европейского материка» Ламанский считал, что русская империя образует самостоятельный географический мир, четко противоположный двум другим по своим природным характеристикам: в нем нет внутренних членений, горные цепи лишь по краям окружают огромную центральную равнину. Подобно своему предшественнику Данилевскому, он мыслил единство русской империи как *культурное и природное* явление: так, заселение Сибири русскими было не колонизацией, но «естественным органическим» процессом, потому что обе части империи, восточнее и западнее Урала, образовывали «нераздельное целое», политическое и культурное единство, спаянное русской культурой, «одной верой, одним языком, одной национальностью»<sup>71</sup>.

Именно в этом идеологическом контексте переопределения границ русской коллективной идентичности и следует рассматривать евразий-

---

<sup>68</sup> История русских представлений об отношении между Европой и Азией излагается в работе: Бассин 1991.

<sup>69</sup> Ср. в «*Encyclopaedia Universalis*» статью «Евразия. Биогеография»: «Евразия — совокупность континентов Европы и Азии, составляет треть суши, поднявшаяся из мирового океана; всего более 54 миллионов кв. км».

<sup>70</sup> Ср. Серю 1998.

<sup>71</sup> Данилевский 1869.

ское движение. По глубинной своей сути это движение определяет себя постановкой под вопрос заблуждений двоякого рода. Первое заблуждение — это идея «общечеловеческой культуры». Для Трубецкого возможны лишь отдельные самобытные культуры; так и романо-германская культура не более всеобща, чем другие. Второе заблуждение — это мысль о том, что Россия — это часть Европы. Однако евразийское учение приводит к крайнему напряжению и постоянному колебанию между двумя полюсами в отношениях между Востоком и Западом — полюсами единства и противостояния. С одной стороны, русско-евразийская культура воссоединяет и примиряет принципы европейской и азиатской культур. С другой стороны, Евразия оказывается ареной борьбы этих принципов, в которой Азия в конце концов выходит победительницей. И это — по двум причинам: с одной стороны, подлинно русская душа — азиатская, а не европейская (русское европейство было лишь поверхностным, искусственно навязанным России Петром Великим); с другой стороны, азиатская или «восточная» культура *выше* и глубже европейской или «западной».

Трубецкого интересует прежде всего *культура*, а географа Савицкого — *природа*. Что же касается Якобсона, то он попытался определить языковую специфику Евразии (ср. гл. III). Однако все они так или иначе стремились — каждый в своей области — дать научное определение Евразии. Так, по Савицкому, традиционное разделение Старого Света на Европу и Азию, равно как и деление России на «европейскую» и «азиатскую» части, не выдерживает критики. Граница по Уралу, в которой обычно видят раздел между Европой и Азией, искусственна. Линия, связывающая наиболее близкие точки перешейка, простирающегося от Балтики до Черного моря<sup>79</sup>, вместе со всеми теми климатическими, растительными, почвенными, языковыми и культурными границами, которые на нее наслаиваются, образует реальную, или «естественную», границу. В письме Якобсону от 7 августа 1930 года<sup>73</sup> Савицкий напоминает о своем приоритете в использовании слова «Евразия» для обозначения России (русской империи) как «особой географической целостности»: эта мысль возникла у него осенью 1919 года, в период выздоровления от тифа на Украине, в Полтаве.

Возникает впечатление, что для евразийцев единственно важна лишь граница между Россией и Европой, так что вычленение само-

---

<sup>79</sup> Савицкий 1934, 17.

<sup>73</sup> Архив Якобсона в Массачусетском технологическом институте.

замкнутых «зональных» культурно-исторических типов есть не что иное, как способ отделить Россию от Европы непроницаемой культурной и экономической границей. Восток и Запад здесь выступают *не как элементы отношения, а как некие первичные объекты*: славяне изначально устремлялись душой к Востоку, а телом — к Западу<sup>74</sup>. Эта концепция культуры оказывается скорее субстанциальной, нежели структуральной: такую культуру можно «переделывать» или «заимствовать» как вещь.

Важное различие между Ламанским и Данилевским, с одной стороны, и евразийцами, с другой, было в том, что у первых славянский мир был частью России, при том что Азией они не интересовались или даже презирали ее, тогда как вторые исключали западных и южных славян из состава Евразии, но вводили в нее все азиатские народы Российской империи.

А теперь можно сопоставить различные изображения той линии, на которую так или иначе опираются все рассуждения о самоопределении России — линии, которая ощутимо отделяет тождественное от другого, свое от чужого. У Ламанского и евразийцев мы находим достаточно четкие географические указания, которые можно перенести на карту.

Линия А — это панславистская граница (Гданьск — Триест), представленная в тексте Ламанского<sup>75</sup>; линия В — это евразийская граница (Мурманск — Брест — Галац), представленная в текстах Якобсона, Трубецкого и Савицкого.

Здесь мы видим четкое различие между панславистской границей и евразийской границей: первая включает славянский мир целиком (в том числе и западных славян-католиков) в «Срединный мир», тогда как вторая граница, близкая к линии Керзона в районе Брест-Литовска<sup>76</sup>, исключает из Евразии как западных, так и восточных славян. За какие-нибудь тридцать лет рассуждения о самоопределении России постепенно сдвигаются с Запада на Восток, отходят от западной Европы и начинают рассекать уже славянскую область<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> Трубецкой 1921б, 93.

<sup>75</sup> Ламанский 1892.

<sup>76</sup> Об истории споров вокруг «линии Керзона» см.: Хаунер 1992, Якемчук 1957.

<sup>77</sup> Можно было бы углубить наши знания в этой области, рассмотрев возврат к панславизму в СССР в конце Второй мировой войны; при этом опорой нам можем послужить книга В. Виноградова «Великий русский язык» (1945), фактически представлявшая собой возврат к идеям Ламанского, приспособленным к потребностям эпохи.



*Граница между Европой и Евразией (Срединный мир)*

У Евразии как целостности много общих характеристик, так что определять ее можно по-разному: в зависимости от выбираемых признаков по-разному пройдут и ее границы. Наиболее характерные ее черты связаны с климатом и физической географией; именно они позволяют евразийцам считать границы СССР двадцатых годов «естественными» границами<sup>78</sup>. Так, граница между Европой и Азией совпадает с температурными и климатическими порогами, с пределами распространения определенных типов почв, фауны и флоры и представляет собой линию, которая проходит примерно от Мурманска до Галаца через Брест. Савицкий определяет Евразию как ту часть материка Старого Света, в которой широтная последовательность климатических и растительных зон<sup>79</sup> между севером и югом меньше всего нару-

<sup>78</sup> Евразийцы не включали балтийские страны в Евразию и были в этом единодушны, однако у них были сомнения насчет линии границы, прочерченной в результате сепаратного Брест-Литовского мира (март 1918). По мнению евразийцев, эта граница должна была бы проходить гораздо ближе к линии Керзона, чем к советско-польской границе, определенной в августе 1920 г. по Рижскому договору. Западная граница СССР, сложившаяся в результате Второй мировой войны и сдвинутая к Западу, гораздо больше удовлетворяла этим требованиям.

<sup>79</sup> О существовании климатических или температурных «зон» первыми заговорили греческие географы; во II веке н. э. эту мысль высказал Птолемей.

шается такими не-широтными факторами, как моря и горы, а все реки параллельно текут по меридианам. Эта «закономерность»<sup>80</sup> смены зон (которая не встречается нигде, кроме Южной Сахары) образует резкий контраст с разнородной, раздробленной, поделенной на отдельные области Европой. Савицкий считал, что Евразия организована по принципу «флагообразных полос»: зоны тундры, леса (тайги), степи, пустыни, гор сменяются с севера на юг широкими непрерывными полосами, как на знамени. Каждая зона столь же правильно подразделяется на меньшие полосы (например, степь подразделяется на полосы широколиственных, узколиственных и полынных трав). Каждая зона и подзона имеет свой собственный сложный набор растений и почв. Каждая зона закономерным образом простирается с востока на запад<sup>81</sup>.

Евразия — это «поистине Срединное царство», «центральный мир древнего континента», «Срединный мир», «сердцевина Старого света» рассматриваемая с «геополитической» точки зрения<sup>82</sup>. Савицкий опи-

---

<sup>80</sup> Большинство евразийских терминов представляют собой кальки с понятий немецкого философского словаря (так, слово «закономерность» построено по образцу *Gesetzmässigkeit*, «целеустремленность» — по образцу *Zielstrebigkeit* и др.). Все это — понятия органицистской философии истории.

<sup>81</sup> Теория зон, о которой здесь будет много говориться, была разработана русской школой почвоведов, основанной В. В. Докучаевым (1846—1903). В своей классической работе «Русский чернозем» (1883) он развивал *целостный* подход, рассматривая каждую почву как «независимое естественно-историческое тело», как *живую среду*, образованную взаимодействием между различными локальными факторами, такими как каменная подпочва, климат, флора и фауна, рельеф, геологический возраст местности, а также — человеческая деятельность. Почва как «естественный территориальный комплекс» оказывается местом сложного взаимодействия живого и неживого, природного и общественного. Докучаев стал основателем русской науки о ландшафте (слово «ландшафтоведение» построено по образцу немецкого *Landschaftskunde*). Выявив генетические характеристики каждого отдельного вида почв, Докучаев создал карту российских и всемирных почвенных зон, вычленив семь «всемирных зон» — арктическую, таежную, лесостепную, степную, сухую степную, пустынную и субтропическую. Докучаев мечтал о «синтетической естественной науке», которая бы объединила в единое целое неживую и живую природу. Эту «историко-натуралистическую» концепцию почв он противопоставлял «западной», или чисто «утилитаристской», точке зрения на почву как пригодную или непригодную для сельскохозяйственной обработки. О Докучаеве см.: Делеаж 1922, 199—202; Семенова, Гачева 1993, 284—285.

<sup>82</sup> Савицкий 19346, 13—14.

сывает эту естественную совокупность как «периодическую и симметрическую систему зон»<sup>83</sup>. Именно в этом своем качестве евразийство и выступает как географистская идеология: именно приемы и средства географии *позволяют увидеть* ранее непонятное и скрытое.

В 1925 году Н. С. Трубецкой тоже предложил свое географическое определение Евразии, которое позволяет нам теперь уточнить евразийское понятие «системы» через мыслительные переключки между Якобсоном, Савицким и Трубецким:

Географическая территория России как основного ядра монгольской монархии может быть определена следующей схемой. Существует длинная, более или менее непрерывная полоса безлесных равнин и плоскогорий, тянущаяся почти от Тихого Океана до устьев Дуная. Эту полосу можно назвать «системой степи». С севера она окаймлена широкой полосой лесов, за которой идет полоса тундр. С юга система степи окаймлена горными хребтами. Таким образом, имеются четыре тянущиеся с запада на восток параллельные полосы: тундровая, лесная, степная, горная. В меридиональном направлении, то есть с севера на юг или с юга на север, вся система четырех полос пересекается системами больших рек. Такова сущность внутреннего географического строения рассматриваемой географической области. Внешние ориентации ее характеризуются отсутствием выхода к открытому морю и отсутствием той изорванности береговой линии, которая так типична с одной стороны для западной и средней Европы, с другой — для восточной и южной Азии. Наконец, в отношении климатическом вся рассматриваемая область отличается как от Европы так и от собственно — Азии целым рядом признаков, которые можно объединить под выражением «континентальности климата»: резкое различие между температурой зимы и лета, особое направление изотерм и ветров и т. д. Все это вместе взятое позволяет отделять рассматриваемую область от собственно — Европы и собственно — Азии и считать ее особым материком, особой частью света, которую в отличие от Европы и Азии можно назвать Евразией (Трубецкой 1925а, 5—6).

Тема *автаркии* — это дальний отзвук книги Фихте «Закрытое торговое государство» (1800), темы закрытого пространства и замкнутых систем. Понятие *континентальности* тоже имеет здесь важнейшее значение. Савицкий подчеркивал<sup>84</sup>, что наиболее удаленные континентальные точки Африки, Южной и Северной Америки отстоят от моря

---

<sup>83</sup> «Евразийский мир это царство периодической и при этом симметрической системы зон» (Савицкий 1934, 17). О понятии периодической системы см. гл. VIII).

<sup>84</sup> Савицкий 19276, 6—9.

не дальше чем на 1700 км, тогда как в Евразии такие точки отстоят от моря более чем на 2400 км. Более того, речь здесь идет о берегах внутренних морей, большую часть года покрытых льдом и к тому же не защищенных от опасности военной или торговой блокады. Если Евразия хочет стать конкурентоспособной на мировом рынке, то такая ситуация для нее невыгодна, поскольку стоимость наземных перевозок гораздо выше, чем морских. И потому подходящим решением может стать экономическая автаркия Евразии как почти самодостаточной целостности: огромные размеры страны и ее природные ресурсы превращают ее в своего рода «континент-океан»<sup>85</sup>. Впрочем, сама мысль о том, будто экономика России-Евразии должна быть самодостаточной, основана на познании *природы* этого «мира»:

Не в обезьяньем копировании «океанической» политики других, во многом к России неприменимой, но в осознании «континентальности» и в приспособлении к ней — экономическое будущее России (Савицкий 1921а, 125).

Трубецкой обосновывает самодостаточность Евразии доводами от естественной необходимости:

(...) вся Евразия в вышеупомянутом смысле этого слова представляет из себя географически и антропологически некое единое целое. Наличие в этом целом таких разнообразных по своему природному и хозяйственному характеру частей, как леса, степи и горы, и существование между этими частями естественной географической связи позволяет рассматривать всю «Евразию» как до известной степени самодовлеющую хозяйственную область. Благодаря всему этому «Евразия» по самой своей природе оказывается исторически предназначенной к тому, чтобы составить государственное единство (Трубецкой 1925а, 6).

Однако в статье 1933 года с вызывающим заглавием «Мысли об автаркии» Трубецкой идет еще дальше. Если у Савицкого автаркия — это решение, экономически выгодное лишь для Евразии, то у Трубецкого автаркия — это общечеловеческий идеал, потому что все человечество состоит из отдельных, «особых миров»:

(...) автаркия экономически и политически выгоднее и дает больше гарантий для счастья человечества, чем система «мирового хозяйства в общем котле»  
(...) До сих пор доказывали выгодность автаркического хозяйства для данного государства. Между тем, по моему мнению, речь должна идти о преимущест-

---

<sup>85</sup> Савицкий 1921а.

вах системы автаркических миров как особой формы организации мирового хозяйства (Трубецкой 1933а; цит. по: Трубецкой 1995, 436).

Далее Трубецкой показывает, что автаркия невозможна в государствах, которые не образуют подлинно «особого мира» (будь то Великая Германия, Венгрия до Первой мировой войны или же современные империи с заморскими колониями). Напротив, нарушать автаркию «особых миров» — это «извращение», с которым нужно бороться:

Надо доказать, что основной плюс автаркии — ее неизменность, гарантирующая мирное сожительство внутри и вовне, — возможен лишь при том условии, если области, объединенные в особый мир, спаяны друг с другом не только экономикой, но историей («общностью судьбы»), цивилизацией, национальными особенностями и национальным равновесием (чтобы не было белого «мастера» и черного раба). Далее, свойством «особого мира» является невозможность его перекройки без ущерба либо для отрезаемой части, либо для большинства прочих частей и т. д. (Там же).

В итоге он предлагает «решительно поставить вопрос о способе жизни и типе цивилизации в условиях экономической автаркии»:

(...) ясно, что всякая данная географическая область может или не может быть автаркична только при данном жизненном стандарте<sup>86</sup> и при данном типе цивилизации. Современная форма организации мирового хозяйства предполагает единый тип цивилизации, но весьма различные жизненные стандарты (социальное неравенство). Система автаркических миров, наоборот, будет многотипна в отношении цивилизаций и в то же время одностандартна в пределах каждого автаркического мира (Там же, 437).

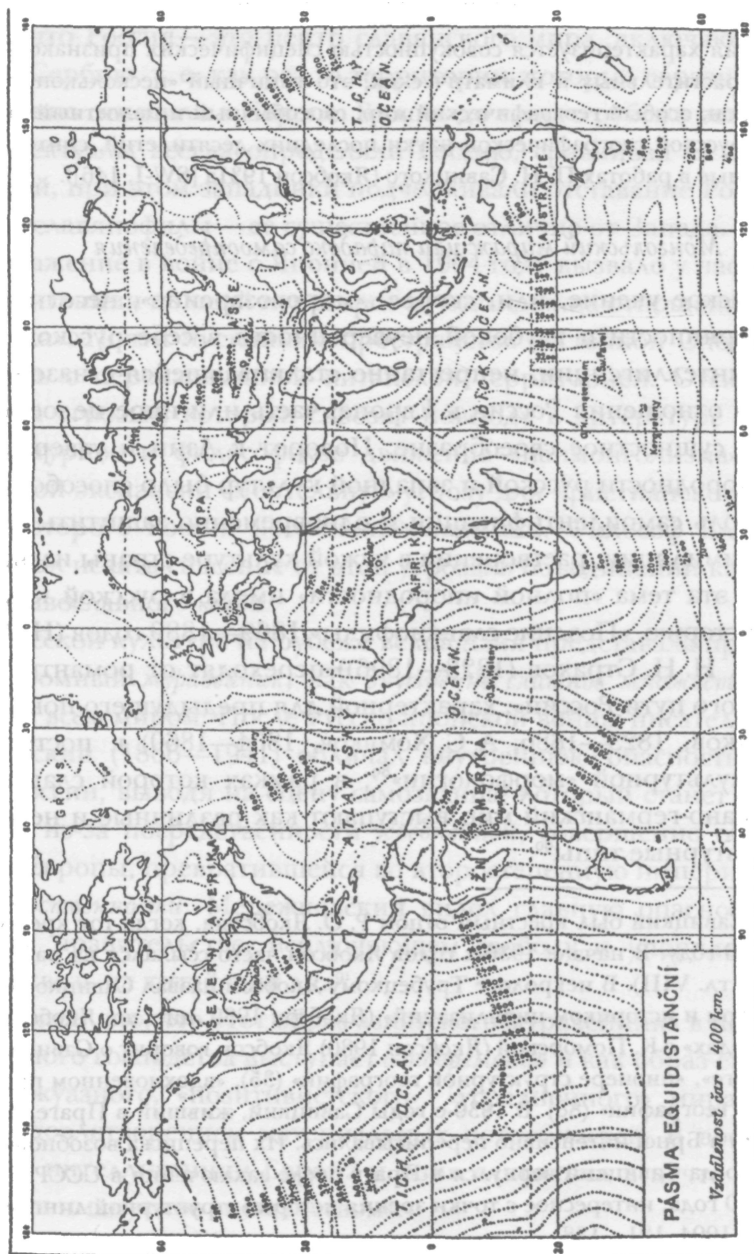
Не будучи «отцом-основателем» евразийского движения, Яacobсон с сочувствием следовал его идеям и участвовал в его публикациях как языковед<sup>87</sup>. Опираясь на работы своего ближайшего друга и соратника

---

<sup>86</sup> Это понятие «жизненного стандарта» у Трубецкого — отголосок понятия *Lebensform*, придуманного Фр. Ратцелем в Германии, и понятия *genre de vie*, выдвинутого П. Видаль Делаблашем во Франции в конце XIX века. Речь идет о сложном целом, в которое входят коллективные практики и производственные техники, исторически сложившиеся применительно к своей географической среде. Если взять за основу оппозицию между детерминистской трактовкой этого понятия (Ратцель) и более мягким, «поссибилистским» подходом (Видаль Делаблаш), то и Трубецкой и Савицкий, по-видимому, окажутся ближе к Ратцелю.

<sup>87</sup> Брошюра Яacobсона «К характеристике евразийского языкового союза» (Яacobсон 1931а) была опубликована Евразийским издательством в Париже.





Карта зон, равноудаленных от линии берега (Савицкий, 1933)

географа Савицкого<sup>88</sup>, он стремился подкрепить тезис о существовании Евразии как «особого мира» языковедческими доводами:

Евразия характеризуется совокупностью специфических признаков — почвенных, растительных и климатических, это типичный «несколькопризнаковый» район, особый географический мир, своеобразный и целостный. Таковы выводы русской географической науки последних десятилетий, синтетически заостренные в работах П. Н. Савицкого (Якобсон 1931a [SW-I, 146]).

### *Монгольский мираж или парадокс самоопределения*

Евразийское учение, или, скорее, «мировоззрение», несет на себе мету растерянности и глубокой неуверенности в себе русской эмигрантской интеллигенции, непрестанно сталкивавшейся с назойливой проблемой отношения России к Европе: часть или иное целое, отставание или сущностное своеобразие. Поворот к Азии и утверждение полной инородности русской и западной культур было способом смягчить эту боль самоидентификации и одновременно защитить себя от угрозы ассимиляции, растворения в чужой культуре страны изгнания.

Однако эта тема «полной инородности» имела в русской культуре длинную историю. «Поздние славянофилы» 1869—1889 годов (Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов (1828—1896)) переходят от романтической идеи «особого пути России», характерной для предыдущего поколения (К. С. Аксаков, 1823—1886, А. С. Хомяков, 1804—1860) к построению историко-культурной «морфологии»<sup>89</sup>, в рамках которой славянский мир и романо-германский мир выступают как различные и несовместимые культурные типы<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> П. Н. Савицкий был крестным отцом Р. О. Якобсона, когда тот крестился в Праге в 1936 году. В начале 1930-х годов Якобсон часто ссылался на работы Савицкого (см. гл. VIII). В некрологе Трубецкому Якобсон назвал Савицкого «великим географом и историком цивилизаций» (Якобсон 1939, цит. по: Якобсон 1973, 300). В «Беседах» с К. Поморской (Якобсон 1980) Якобсон говорит о Савицком как о своем «друге», «пионере структурной географии» (35), «вдохновенном провидце структурной географии» (88). В 1930-е годы Савицкий, живший в Праге, и Якобсон, живший в Брно, интенсивно переписывались. Их переписка возобновилась в 1955 году, когда Савицкий вернулся в Прагу после заключения в СССР. Письмо от 9 мая 1930 года, интересное с точки зрения истории структурной лингвистики, см. в: Томан 1994, 121—138.

<sup>89</sup> О понятии «морфологии» см. гл. VII.

<sup>90</sup> Ср. Гаспаров 1987, 53.

Однако Страхов и Данилевский должны были как-то согласовать такой взгляд на Россию как замкнутое целое с панславистской мыслью о том, что Россия — это центр славянского мира, включающего Богемию и Сербию, т. е. как раз те территории, которые евразийцы недвусмысленно относили к Европе. Вплоть до самого рубежа веков русские интеллектуалы всегда определяли Россию, сравнивая ее с Западной Европой, при этом западники подчеркивали отставание России от Запада, а славянофилы — ее существенное отличие от Запада.

Поражение в войне с Японией в 1904 году вызвало у части русской интеллигенции полный переворот во взглядах на отношения России и «Востока». Почти пустынные пространства восточной Сибири соприкасались с перенаселенной китайской территорией. Отсюда — страх «желтой угрозы», который сквозит повсюду в литературе той эпохи. Литературное и философское движение «панмонголизма» видело в азиатской экспансии смертельную угрозу для христианского мира, частью которого Россия несомненно являлась. Философ Вл. Соловьев призывал искать спасение от этой угрозы в объединении католического и православного мира.

В русской культуре на рубеже веков Азия представляла прежде всего как огромный *муравейник*, как *внутренне слитное множество*, овладевающее всем миром. После Русско-японской войны писатель Д. С. Мережковский (1866—1941) обличал внутреннюю опасность «китаизации» России, выводя на сцену самозванца, который станет царем вселенной из-за посредственности *усредненной*, совершенно обуржуазившейся Европы, превратившейся во второстепенную империю *середины* и *посредственности*. Мережковский видел главную опасность во всемирном правительстве, исключающем свободу и упорядочивающем все насквозь на китайский лад<sup>91</sup>.

Удивительно, что этот образ азиатского муравейника в перспективе всемирного господства выступает *одновременно* и как образ европейского, буржуазного, «позитивистского», «усредненного» мира, занятого лишь удовлетворением материальных потребностей. В воображении русской интеллигенции Европа и Азия сливаются в нечто одинаково чуждое и именуемое «мещанством».

---

<sup>91</sup> О теме «монгольского миража» в русской литературе на рубеже веков см.: Нива 1966.

Однако вскоре это отталкивание от Азии уступило место восточному соблазну. В 1910-е годы литературное движение «Скифы», во главе которого стояли писатели А. Белый (1880—1934) и Р. В. Иванов-Разумник (1878—1946), заменило идею *союза* Востока и Запада катастрофическими пророчествами, в которых ожидание будущего нашествия «гуннов» воспринималось как приближение саморазрушительного экстаза: «скифы» считали себя одной из этих стихийных разрушительных сил. А. Блок писал в «Скифах»:

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы  
С раскосыми и жадными очами<sup>92</sup>.

Одновременно с этим провозглашается, что революция 1917 года пробудила Россию. Русская революция свидетельствует о пробуждении древней скифской России — более близкой к Азии, чем к Европе — и о поражении вездесущего посредственного мещанства.

*Образы другого:*

*Европа или Азия, буржуазность или современность*

Мы видим, что скифство хорошо вписывается в процессы духовного и идеологического обновления на рубеже веков, в отказ от материалистического конформизма и популистского энтузиазма прежнего поколения. Речь идет не о смене парадигм, но о смене системы ценностей. В душах представителей русской интеллигенции отныне сосуществовали два взгляда на мир: «старый», позитивистский и материали-

---

<sup>92</sup> Это знаменитое стихотворение было опубликовано в феврале 1918 года в ежедневной газете «Знамя труда», официальном органе левых эсэров, которая печатала сочинения группы «Скифы». Газета была запрещена большевиками в июле 1918 года, когда левых эсэров обвинили в подготовке государственного переворота. С 1908 года А. Блок тоже осуждал аполлонийскую *цивилизацию*, противопоставляя ее дионисийской *культуре*. В статье «Стихия и культура» из сборника «Россия и интеллигенция» Блок писал, что культура погибает от цивилизации с ее уверенностью в суверенном разуме, с ее накоплением материальных благ и технических достижений: она теряет чувство первобытного единства и разлагает человека на бессильное множество технических приемов.

В письме Якобсону от 28 июля 1921 года Трубецкой писал, что евразийство «носится в воздухе» и что он чувствует его в поэме А. Блока «Скифы» (Трубецкой 1985, 21).

стический, и «новый», присущий малым группам художников и мыслителей, призывавших освободиться от старых цепей, отказаться от позитивизма и материализма — в пользу идеализма как нового открытия духовности.

Однако этот реальный разрыв между двумя непримиримыми идеологическими позициями не должен скрыть от нас их удивительной взаимосогласованности, что было особенностью предреволюционного периода в России. В самом деле, общим врагом русской интеллигенции безусловно был «мещанин» как воплощение иностранного, то есть европейского, начала. Тем самым отказ от «буржуазных» ценностей был «общим местом», объединявшим в России последней трети XIX века различные группы интеллигенции: «левую», народническую, нигилистскую, или революционную (Д. Писарев, Н. Чернышевский), и «правую», реакционную (К. Леонтьев, Н. Страхов, Н. Данилевский), или же просто славянофильскую<sup>93</sup>. Образ мещанина (мелкобуржуазного обывателя) вызывал у всех одинаковое отвращение. Проклятиями в адрес западного обывателя полно все творчество Достоевского. Философы всех ориентаций, писатели, ученые, художники — все они объединялись в острой ненависти к культурным и социальным последствиям капиталистической индустриализации, включая и такое удивительное политическое явление, как парламентская демократия. Правда, классовый подход тут не только не проясняет картину, но, напротив, лишь приводит к путанице. Общая атмосфера в Европе на рубеже веков свидетельствовала об интеллектуальном сопротивлении капитализму и буржуазии, но этот протест против современности провозглашался самой буржуазией в таких странах, как Германия<sup>94</sup>. Это сопротивление современности осуществлялось в атмосфере духовной подавленности в Европе после 1918 года, иногда приводившей к полному отказу от понятия технического прогресса и глубинному отрицанию всех ос-

---

<sup>93</sup> Все это, однако, не так просто и однозначно. Инженерам, строившим прочные мосты через реки на транссибирском пути и читавшим Жюль Верна и Камилла Фламариона, экономистам, подготавливавшим сельскохозяйственную реформу, — всем им была близка идея прогресса, и они трудились, чтобы приблизить модернизацию России. Напротив, евразийцы — в немногих советских откликах — представляли как «защитники буржуазного порядка» (Большая советская энциклопедия, 1-е изд., 1931, статья «Евразийство»).

<sup>94</sup> См. об этом полезную книгу: Мосс 1981.

нов: все большее господство человека над окружением лишало его экологической ниши и природных свойств, отрывало его от себе подобных, ввергало его в пучину смешанных чувств восхищения и ужаса.

Именно в этот момент евразийцы предлагают совершенно новую перспективу: врагом по-прежнему остается мещанин, пленник материального комфорта, однако сам образ врага отныне ограничивается Европой. Что же касается Азии, это уже не обезличенная масса китайцев, но гораздо более привлекательные кочевники-монголы:

Чингис-Хан руководствовался тем убеждением, что люди ценимого им психологического типа имеются главным образом среди кочевников, тогда как оседлые народы в большинстве своем состоят из людей рабской психологии. И действительно, кочевник по самому существу своему гораздо менее привязан к материальным благам, чем оседлый горожанин или земледелец. Питая органическое отвращение к упорному физическому труду, кочевник в то же время мало дорожит и физическим комфортом и привык ограничивать свои потребности, не ощущая этого ограничения как особенно тяжелого лишения (Грубецкой 1925а, 12).

Итак, в евразийстве таится внутренняя напряженность: некоторые его стороны можно объяснить лишь русской интеллектуальной историей, тогда как другими своими сторонами оно вписывается в послевоенные общеевропейские споры. Ни заимствованием, ни спонтанным зарождением его не объяснишь. Россия не была далекой планетой: она жила духом времени, интеллектуальным климатом эпохи.

**Часть вторая**

***Замкнутость***





## Глава III

### Пространственный фактор

*Есть один факт, который властно господствует над нашим многовековым историческим движением, проходит через всю нашу историю, содержит в себе, можно сказать, всю ее философию, проявляет себя во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, являясь одновременно и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это — факт географический.*

П. Я. Чаадаев. Апология сумасшедшего (Чаадаев 1837)

Отказ от современности или порыв авангарда? Евразийство, это движение русских эмигрантов-возмутителей спокойствия, вызывавшее возмущение и недоумение современников своей любовью к парадоксам, интересует нас здесь прежде всего потому, что оно подтолкнуло к интенсивной работе и в языкознании. «Евразийское языкознание»<sup>1</sup> долгое время было утерянным звеном в цепи истории структурализма, хотя многие его темы продолжали жить, подчас независимо от воли пишущих, и в более поздних трудах русских и западных лингвистов.

---

<sup>1</sup> В брошюре 1931 года «К характеристике евразийского языкового союза» Якобсон говорит об «очередных задачах евразийского языкознания» (Якобсон 1931 [SW-I, 194]. Об этом тексте Савицкий отозвался так: «Лингвистика евразийству» (Савицкий 1931, 5), опубликовав в пражском Евразийском издательстве брошюру «Евразия в свете языкознания» (1931), специально посвященную «открытию» Якобсоном евразийского фонологического союза.

На рубеже 20-х и 30-х годов в водовороте экономического кризиса Якобсон задумал крупный проект, который полностью поглощал его в течение трех лет: с помощью фонологии<sup>2</sup> он мечтал построить онтологическое доказательство существования Евразии (или, иначе — СССР) как органического, естественного территориального единства, «образующего Целостность». Речь идет о «фонологических языковых союзах»<sup>3</sup> как частном случае языковых союзов (понятие языкового союза разрабатывалось Трубецким с 1923 года; позже он стал использовать немецкий термин Sprachbund).

Понятие Sprachbund — в противоположность «языковой семье» — было для Трубецкого сущностно связано с евразийским способом мысли. Некоторые языковеды в 1930-е годы использовали идею евразийского языкового союза<sup>4</sup>. Однако именно Якобсон сумел вывести из этого больше всего важных следствий, понять, в какой мере и каким образом фонология связана с выходящими за ее пределы проблемами и спорами. Понятие языкового союза, которое, казалось, было откликом на заботы «диссидентов от индоевропеистики» (Г. Шухардт, итальянские неолингвисты, В. Шмидт и др.) и на развитие геолингвистики; на самом же деле оно строилось на иных основаниях и предполагало интересы. Лишь внешне это понятие напоминает нам о гибридизации или о скрещении языков. На самом же деле речь здесь идет о явном отказе от генетической замкнутости языков и языковых семей, о гигантской попытке стереть, перепрыгнуть генетические границы — ради восстановления других, еще более непроницаемых. Великая концептуальная революция, провозглашенная евразийским языкознанием, основана на понятии *средства через конвергенцию*. В этой главе речь пойдет о ее эпистемологических основаниях, рассуждениях и доводах,

---

<sup>2</sup> Странно, что Трубецкой никогда не изучал Евразию как таковую с языковедческой точки зрения (за исключением заметки о географическом распространении склонения — в приложении к: Якобсон 1931), тогда как Якобсон в течение всего 1931 года занимался почти исключительно тем, что переводил евразийскую идею в языковедческий план. Эти мысли вновь возникли в конце его жизни в «Беседах» с К. Поморской (глава «Пространственный фактор») (Якобсон 1980).

<sup>3</sup> Впервые Якобсон публично связал «фонологию» с «языковым союзом» («К фонологической характеристике языкового союза») 15 сентября 1930 года в докладе на заседании Пражского лингвистического кружка.

<sup>4</sup> Ср. Исаченко 1934; Скаличка 1934.

а в следующих главах — о ее метафорических подосновах, смыкающихся с понятием *целостности*. Изучая все эти «обоснования», мы попытаемся ответить на следующие вопросы:

— почему эмигрант Якобсон<sup>5</sup> писал то, что он писал, между 1929 и 1931 годами в Центральной Европе и против кого он выступал?

— возникла ли его теория из ничего или она имела некую предысторию?

— каким образом он строил свои научные объекты?

— насколько важны для изучаемого предмета сведения, получаемые с помощью этой теории?

— является ли теория фонологических союзов структуралистской?

Таким образом, мы проведем здесь «археологическое» исследование работы Якобсона над фонологическими союзами в интеллектуальной обстановке 1920-х — 1930-х годов.

### Краткое введение в проблему

Французские лингвисты редко используют понятие языкового союза. Это понятие («Sprachbund», «union de langues», «alliance de langues», «association de langues») отсутствует в «Лингвистическом словаре» Ж. Мунена (Мунен 1974), в «Словаре лингвистических терминов» Ж. Марузо (Марузо 1951) и в «Лингвистическом словаре» Ж. Дюбуа (Дюбуа 1973). В «Новом энциклопедическом словаре наук о языке» О. Дюкро и Ж.-М. Шеффера (Дюкро, Шеффер 1995) понятие языкового союза (*association linguistique*) занимает всего лишь несколько строк в статье «Геолингвистика» (подраздел «Скрещение языков», 118—119), где дается отсылка к приложениям III и IV французского перевода «Основ фонологии» Трубецкого без учета того, что в обоих этих текстах понятие языкового союза, по сути, противоположно всякой идее скрещения или гибридизации.

В Великобритании новый «Encyclopedic Dictionary of Language and Languages» (Кристал 1992) вводит понятие «языкового ареала» в статье

---

<sup>5</sup> К тому же *недавний эмигрант*, поскольку в 1929 году он еще был служащим советской дипломатической миссии в Чехословакии, из-за чего многие русские эмигранты и даже влиятельные члены чехословацкого правительства ему не доверяли.

«Ареальная лингвистика» — на примерах языков Западной Европы, в которых имеются округленные передние гласные (типа франц. *sœur*, нем. *müde*). Единственное пояснение к прилагаемой карте ограничивается одной строчкой: «Эту особенность невозможно объяснить историческими причинами», причем ничего не говорится о том, является ли эта особенность гласных фонетической или фонологической.

Напротив, в Италии, на родине неолингвистики<sup>6</sup>, «Лингвистический словарь» Дж. Р. Кардоны (Кардона 1988) дает несколько подходов к проблеме языковых союзов («*lega linguistica*», «*linguistica areale*», «*area linguistica*») с кратким экскурсом в историю (не свободным, впрочем, от неточностей, свойственных и другим изданиям: например, термин «языковой союз» появился у Трубецкого не в 1928, а в 1923 году).

В 30-е и 40-е годы неолингвисты интересовались языковыми союзами (*lega linguistica*), объясняя их, в отличие от Якобсона, теорией субстрата (ср. гл. IV).

На Западе существует, конечно, огромная литература о языковых контактах, однако к этому вопросу здесь редко подходят с точки зрения языковых союзов и еще того реже — *фонологических* языковых союзов.

В 1950-е годы в СССР отношение к понятию языкового союза было резко отрицательным. И это кажется странным, если учесть, что оно вполне соответствовало сталинской языковой политике «сближения» всех языков Советского Союза. Достаточно напомнить здесь о той напряженной ситуации, которая царил в советской лингвистике после «дискуссии 1950-х годов» о марризме: требовалось срочно избавиться от «учения», отвергавшего замкнутость систем (ср. гл. V). Тем самым в 1950-е годы критика понятия языкового союза использовалась в СССР как орудие против структурализма. Чешский языковед Олдржих Леш-

---

<sup>6</sup> *Неолингвистика*, или, иначе, *ареальная*, или *пространственная*, лингвистика, сложилась в Италии между 20-ми и 40-ми годами. Ее наиболее выдающиеся представители — Маттео Бартоли (1873—1946), Джулио Бертони (1878—1942) и Витторе Пизани (1899—1975). Будучи учениками Г. Асколи, неолингвисты построили геолингвистическую теорию, близкую Ж. Жильерону, но с идеалистическими моментами, навеянными Б. Кроче. Они показали, что на практике четких разрывов между диалектами не существует. Один отдельно взятый язык для них — это «система изоглосс». Тем самым они стремились построить лингвистическую географию как изучение *распространения* лингвистических явлений от центра к периферии путем излучения, причем любое место могло оказаться центром.

ка, которому предложили написать статью в советском журнале «Вопросы языкознания», указал, что понятие языкового союза «способствовало влиянию марризма на структурализм»<sup>7</sup>.

Тема языковых союзов вновь зазвучала в советском языкознании в 60-е годы. Правда, работа Якобсона при этом игнорировалась или же отвергалась — на том основании, что речь у него идет об «однопризнаковом» или «экстенсивном» языковом союзе, а не о подлинном или «интенсивном» языковом союзе, существование которого должно подтверждаться многими признаками на разных уровнях анализа<sup>8</sup>.

Наконец, в постперестроечной России теория Якобсона (в связи с именем Трубецкого и с теми большими идеологическими переменами, при которых вся евразийская тематика стала ценностью в поиске самоопределения) приобрела большую известность, правда, скорее в культурологическом, нежели в собственно лингвистическом плане.

Среди современников Якобсона в 30-е годы Мейе был практически единственным, кто откликнулся на эту работу, хотя и не дал скольконибудь ясной ее оценки. В рецензии на выход 4-го тома «Трудов Пражского лингвистического кружка»<sup>9</sup> он говорит лишь о «некоторой загадочности» заглавия статьи Якобсона «О фонологических языковых союзах» (*Über die phonologischen Sprachbünde*), прибегая при этом к понятию субстрата, которое Якобсон использует редко и притом всегда — критически<sup>10</sup>. Между Мейе и Якобсоном всегда существовало

---

<sup>7</sup> Лешка 1953, 103.

<sup>8</sup> Оппозицию «интенсивный—экстенсивный» мы находим у Нерознака (Нерознак 1978, Нерознак 1990) и у Эдельмана (Эдельман 1978, 112). Впрочем, о недостаточности одного-единственного критерия говорил и А. Мейе (Мейе 1931a): так, в своей рецензии на брошюру Якобсона (Якобсон 1931a) он высказывает сожаление по поводу того, что автор не уделил внимания *морфологическому* родству изучаемых языков. Попытка найти другие характерные черты фонологического союза евразийских языков была сделана В. Скаличкой (1934): однако в его небольшой статье не дается убедительного и последовательного перечня сопоставляемых признаков. В последнее время оппозицию интенсивного и экстенсивного использовал Г. Шаллер (1997).

<sup>9</sup> Мейе 1931b, 13.

<sup>10</sup> Трубецкой тоже отрицательно относился к теории субстрата: «Неоднократно отмечалось появление общих фонологических особенностей во многих соседних языках или диалектах, не являющихся родственными. Поспешное объяснение этих явлений прибегает к теории субстрата или направляющего влияния од-

взаимное недоверие<sup>11</sup>. Заслуживает упоминания и весьма примечательная статья Теньера «Геолингвистика и мир растений», написанная им для журнала «Антропология» (*l'Anthropologie*) в 1935 году. Теньер сомневается в ценности таких попыток увязать лингвистику с географией прежде всего потому, что геолингвистика не применима ни к кочевникам, ни к индустриальному обществу, в котором сельские жители покидают деревню и концентрируются в городах: подлинным предметом геолингвистики могло бы быть лишь оседлое земледельческое население. Но как раз тут и возникает парадокс: когда метод геолингвистики становится научным, ее предмет просто исчезает. Теньер нередко общался с членами Пражского лингвистического кружка, а потому в его статье можно видеть отклик на проблему языковых союзов: по сути, он отвергает яacobсоновскую географию с характерным для евразийства вообще акцентом на «степном мире», на кочевой культуре.

В свою очередь голландский лингвист К. Уленбек (Уленбек 1935), отказываясь от чисто генетического взгляда на эволюцию языков, предлагал связать индоевропейский с угро-финским языком, с одной стороны, и эскимосским — с другой. Для него языковая семья — это результат длительной ассимиляции контактирующих языков. Уленбек связывал понятие языковой семьи с антропологическим понятием аккультурации или приспособления одной культуры к другой путем заимствования ее признаков.

Понятие «языкового круга» (*Sprachenkreis*) позволило В. Шмидту (Шмидт 1926), оставаясь в рамках генетических истолкований, учесть проблему смешения языков. Его «круги» крупнее семей, их можно понять в связи с «культурными кругами» (*Kulturkreise*). Считая своей задачей восстановление древней истории языков, относящихся к одному культурному кругу, он ищет в этнологии и антропологии объяснения

---

ного языка. Когда подобные истолкования применяются лишь к отдельным случаям, они остаются ненадежными. В целом было бы лучше воздержаться от каких-либо объяснений до тех пор, покуда мы не будем располагать всей совокупностью материала» (Трубецкой 1931 [1986, 349]). Здесь очевидны намеки на Санфельда и на итальянских неолингвистов. И Яacobсон, и Трубецкой критиковали своих противников за *несистемность* их мировоззрения.

<sup>11</sup> О своеобразии французского восприятия концепций Яacobсона и Трубецкого в период между двумя войнами см.: Шевалье 1997.

сходств между теми неродственными языками, которые входят в общий культурный круг. Якобсону нравился антиэволюционизм Шмидта, но не нравились его ценностные суждения по вопросу о различиях между языками<sup>12</sup>.

Языковой вопрос на Балканах издавна тревожил умы. В 1926 году датчанин К. Санфельд, специалист по романским языкам, выпустил об этом книгу, в которой он выдвинул понятие «лингвистического единства». Эта книга, опубликованная на датском языке, приобрела известность лишь после ее перевода на французский в 1930 году. В ней настолько много общего с теорией Трубецкого, что фактически стало принято говорить о единой «теории Санфельда-Трубецкого». Однако своеобразие подхода Трубецкого (и только его одного) заключается в интересе к границам Евразии (или Советского Союза, в данном случае это одно и то же).

Для Санфельда важно, что балканский «языковой союз» основан на греческом *субстрате*: греческий язык как более престижный одержал победу над другими балканскими языками. Санфельд собрал воедино многочисленные случаи «согласования», «смежности», «соответствия» между балканскими языками, объясняя «тысячи их взаимных связей» заимствованиями и кальками с греческого<sup>13</sup>.

### Фонологический языковой союз у Якобсона

В 1923 году Трубецкой, только что перебравшийся в Вену, пишет статью, где толкует вопрос о *границах* языков в теологических терминах: разнообразие языков и культур не есть Божье наказание людям, посмевающим построить Вавилонскую башню, но, напротив, условие расцвета языков и культур. Объяснив, что общечеловеческая культура невозможна и что лишь в культуре «национально ограниченной» может раскрыться «весь своеобразный моральный и духовный облик данного народа»<sup>14</sup>, он делает одно важное уточнение, которое серьезно осложняет проблему границ между народами, культурами, языками или диалектами:

---

<sup>12</sup> Якобсон 1931a [SW- I, 155].

<sup>13</sup> Санфельд 1930, 34.

<sup>14</sup> Трубецкой 1923a, 111.

Понимая положительные стороны национальной культуры, следует, однако, отнестись отрицательно к национальному дроблению, переходящему за известный органический предел. Нужно всячески подчеркнуть, что национальное дробление отнюдь не равнозначно анархическому распылению национально-культурных сил, что дробление в данном случае не есть беспредельное измельчение (Трубецкой 1923а, 112).

Сама идея языковых союзов у Трубецкого возникает из вопроса о границах «органичных» и не органичных (слишком широкие порождают «механические» объединения, слишком узкие — рассекают живые организмы). Указав на недостатки генетической классификации языков, он вводит понятие *языкового союза*:

Географически соседящие друг с другом языки часто группируются и независимо от своего происхождения. Случается, что несколько языков одной и той же географической и культурно-исторической области обнаруживают черты специального сходства, несмотря на то, что сходство это не обусловлено общим происхождением, а только продолжительным соседством и параллельным развитием. Для таких групп, основанных не на генетическом принципе, мы предлагаем название «языковых союзов». Такие «языковые союзы» существуют не только между отдельными языками, но и между языковыми семьями, т. е. случается, что несколько семейств, генетически друг с другом не родственных, но распространенных в одной географической и культурно-исторической зоне, целым рядом общих черт объединяются в «союз языковых семей» (Трубецкой 1923а, 116).

Именно в тексте «предложения 16» на Гаагском конгрессе в 1928 году Трубецкой дает определение языкового союза, приемлемое для западных лингвистов. Он предлагает немецкий термин *Sprachbund*, который был хорошо принят членами конгресса и получил широкое распространение, особенно среди членов Пражского лингвистического кружка<sup>15</sup>. Ключевые слова тут — *подобие и сходство*. Речь не идет ни о смешении, ни о гибридизации, проблемы фонологии при этом не рассматриваются, понятие географического соседства вообще не упоминается, так что текст Трубецкого мог показаться программой типологического изучения языков, хотя дело было не в этом:

Мы называем *языковой группой* всякую совокупность (*Gesamtheit*) языков, которые связаны друг с другом большим числом систематических соответствий. Среди этих групп языков имеет смысл различить два типа:

<sup>15</sup> Ср. не только работы Якобсона, но также Гавранка (1933), Скалички (1934), (1935).



Мы называем *языковым союзом* группы языков, которые характеризуются большим сходством синтаксических связей, сходством основ морфологических конструкций и большим количеством общих терминов культуры, а иногда также и явной похожестью звуковых систем, притом что никакого явного соответствия в звуковой оболочке их морфологических элементов, равно как и общности повседневного словаря — не наблюдается.

Мы называем *языковыми семействами* группы языков, которые обладают значительным количеством общих слов повседневного языка, обнаруживают согласованность (*Übereinstimmungen*) в звуковом выражении морфологических категорий и прежде всего — постоянные звуковые соответствия (*Lautensprechungen*).

Тем самым, болгарский язык, например, принадлежит, с одной стороны, к семье славянских языков (вместе с сербо-хорватским, польским, русским и др.), а с другой стороны, к балканскому языковому союзу (вместе с современным греческим, албанским и румынским).

Эти обозначения или понятия нужно строго различать. Устанавливая принадлежность того или иного языка к определенной группе языков, лингвист должен четко указать, считает ли он эту группу языков семейством или союзом. Тем самым удастся избежать многих поспешных и непродуманных заявлений (Трубецкой 1928, 18).

Напротив, Якобсон дает понятию языкового союза такое определение, в котором преобладает «пространственный фактор»:

Мы называем языковыми союзами совокупности языков, которые распространены в смежных географических областях и обнаруживают приобретенные структурные сходства<sup>16</sup> (Якобсон 1931г, 371).

После 1931 года позиции Якобсона и Трубецкого сближаются, их голоса начинают сливаться:

Имеются такие фонологические признаки, которые выходят за пределы одного языка и распространяются на обширные смежные области (Якобсон 1938, см. в: Трубецкой 1986, 360).

Пределы распространения фонологических явлений не всегда совпадают с границами языков и нередко выходят за границу какого-то одного языка, так что установить эти пределы распространения можно лишь посредством диалектной фонологии (Трубецкой 1931, см. в: Трубецкой 1986, 349).

---

<sup>16</sup> Весь вопрос в том, как понимать эту «приобретенность»: идет ли речь о заражении при контакте, о подражании или же о том необходимом гармоническом порядке, который являют нам, например, геометрические построения? Ср. гл. VIII.

Вот перечень работ Якобсона о Евразии как фонологическом языковом союзе<sup>17</sup> (всего в них около 200 страниц):

- «Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves», TCLP-II (Якобсон 1929a);
- «К характеристике евразийского языкового союза» (Якобсон 1931a);
- «Über die phonologischen Sprachbünde», TCLP-IV (Якобсон 1931b);
- «Prinzipien der historischen phonologie», TCLP-IV (Якобсон 1931в);
- «Les unions phonologiques de langues», Le monde slave, I (Якобсон 1931г);
- «О фонологических языковых союзах», Евразия в свете языкознания, Прага (Якобсон 1931д);

наконец, более поздний текст:

«Sur la theorie des affinités phonologiques entre les langues», Actes du IV<sup>e</sup> Congrès international de linguistes (Copenhague, 1936) (Якобсон 1938 [1985])<sup>18</sup> (в русском переводе А. Холодовича (см.: Якобсон 1985, 92—104) слово *affinités* в заглавии отсутствует, зато сразу же вводится термин «языковые союзы». — Н. А.).

Самая главная работа Якобсона на эту тему представляет собой брошюру в 59 страниц: «К характеристике евразийского языкового

<sup>17</sup> В своих статьях, написанных на русском языке, Якобсон пользуется термином, который придумал Трубецкой в 1923 году — языковой (или языковый) союз; в статье 1931 года, опубликованной по-французски, он говорит об «union de langues»; в 1938 («Affinités...») — об «association de langues». На немецком языке Якобсон, вслед за Трубецким (Гаагский конгресс, 1928) всегда пользовался термином «Sprachbund», который получил наибольшее распространение в лингвистике. По-французски точный перевод русского или же немецкого термина был бы «union langagière», поскольку речь идет не о союзе языков (Sprachenbund), объединяющихся в группы, но лишь об элементах языков, обладающих различительными фонологическими признаками: эти элементы могут отделяться от общей совокупности, образуя — вместе с элементами других языков — новую группу. Вайнрайх считает термин Sprachbund «неудовлетворительным» именно потому, что он предполагает некое единство языков — «как если бы вопрос стоял о том, является или не является тот или иной язык членом данного языкового союза» (Вайнрайх 1958, 379), однако при этом остается в стороне то обстоятельство, что языковые союзы, по Якобсону, объединяют вовсе не языки, но *изофоны* (ср. ниже).

<sup>18</sup> Все эти тексты Якобсона вписываются в перспективу создания всемирного фонологического атласа — в то время это был общий проект Якобсона и Трубецкого. Его осуществлению помешали финансовые трудности во время экономического кризиса 1929 года, но он не продвинулся вперед и позже, в 1930-е годы, быть может, из-за отсутствия между языковедами той эпохи согласия по вопросу об отношениях между фонологией и пространством.

союза», опубликованную по-русски Евразийским издательством в Париже. Якобсон не составил карту территории, фонологическое описание которой он дает, и, кажется, даже не пытался это сделать. При чтении этой работы мы *внимательно* относились к любой ссылке, к любому упомянутому имени, и стремились в итоге перевести «филологическое исследование» в графическое изображение, не пытаясь на этом этапе устанавливать «истину», выходящую за рамки текста. Наша задача заключалась в том, чтобы зафиксировать и нанести на карту каждое геолингвистическое указание (каждый языковой факт, связанный с тем или иным местом).

Важно отметить, что Якобсон осознанно работает не на уровне фонетики, а на уровне фонологии.

Фонетика — это эмпирическая наука, дисциплина, связанная с наблюдением. Ее предмет — *звуки* языка, которые она наблюдает, описывает и классифицирует. Акустическая часть фонетики использует те же методы, что и акустическая физика, а артикуляторная часть — те же методы, что и физиология. Звуки существуют независимо от фонетистов, они предшествуют исследованию. Все звуки всех языков во всем их бесконечном разнообразии одинаково интересны фонетике. Фонетические транскрипции записываются в прямых скобках: так, например, слово «Якобсон» по-русски произносится [jɪkɔpsón].

Что же касается фонологии, то она ничего не описывает: она *строит модели*. Ее предмет — *фонемы*. Фонему невозможно наблюдать или измерять, поскольку она не является вещью. Она существует лишь как некая абстрактная сущность, *полагаемая* теорией внутри *системы* данного языка. Фонема — это дискретная (прерывная) сущность, определяемая своей смысловоразличительной *функцией*. Для Трубецкого фонема — это наименьшая единица, способная различать смыслы в пределах данного языка. Для Якобсона (после 1938) — это пучок смысловоразличительных признаков, которые определяются внутри каждого языка в зависимости от критериев лингвистической значимости (*pertinence*). Фонема — это не звук, она лишь *реализуется* в звуках. Фонологические транскрипции записываются в косых скобках: слово «Якобсон» в фонологической системе русского языка выглядит так /jakɔpsón/.

В этой дискуссии важно подчеркнуть системную основу фонологии. Две фонемы, принадлежащие двум различным языкам, никогда не будут тождественными, даже если их фонетические реализации сходны,

потому что каждая фонема определяется лишь *противопоставлением* другим фонемам данного языка. Так, для фонемы /s/ во французском языке одним из значимых признаков будет признак глухости (незвонкости), так как она противопоставляется /z/ (poisson/poison: /pwasõ/ ~ /pwasõ/). Однако для фонемы /s/ в испанском языке признак «глухости» не значим, так как в испанском языке /z/ не существует: одна и та же фонема /s/ реализуется, в зависимости от контекста, то как глухая [s], то как звонкая [z]<sup>19</sup>.

Для характеристики «евразийского языкового союза» Якобсон выбрал три главных признака: это мягкостная корреляция, политония<sup>20</sup> и территориальная смежность. Уточним первый момент.

«Мягкость согласных» может наблюдаться в некоторых типах произношения французского языка, когда первый звук в слове *tire* отличается от первого звука в слове *tare* тем, что смыкание зубов сопровождается — в предвосхищение передней гласной [i] — подъемом языка к переднему небу (в разных терминологических системах это может называться «смягчением» или «палатализацией») по «закону наименьшего усилия» (Мартине). Эти два [t] вступают здесь в отношение дополнительной дистрибуции: это *комбинаторные варианты* одной и той же фонемы /t/ — с поднятием языка перед передней гласной («мягкий» вариант) или без поднятия языка перед задней гласной («твердый вариант»). Напротив, в русском языке те же самые два [t] могут находиться перед какой угодно гласной — переднеязычной или заднеязычной, так что их оппозиция оказывается фонологически *значимой*: фонемы /t/ («твердая») и /t'/ («мягкая») находятся в мягкостной корреляции, например: /tok/ (электрический *ток*) — /t'ok/ (он *тек*). Мягкостная корреляция встречается и в конечном положении: /dal/ — /dal'/.

Якобсон видит в этой фонологической корреляции, которую он подключает к более общему «тембровому» противопоставлению (акустическая оппозиция между «высоким» и «низким», касающаяся как

<sup>19</sup> Дюбуа и др. 1973, статья «Фонема».

<sup>20</sup> Вот определение, которое ей дает Якобсон: «Если движения высоты голосового тона принимают в языке различные направления, и противопоставление этих направлений способно дифференцировать смысл слов, то мы, вслед за Дурново, называем такой язык политоническим» (Якобсон 1931a [SW-I, 1971, 156]. По Якобсону, примеры политонических языков: на западе шведский, сербохорватский, на востоке — китайский, вьетнамский.

согласных, так и гласных), «отличительный признак языков Евразии, по сравнению с монотоническими языками соседних месторазвитий»<sup>21</sup>. Он приводит в качестве примера на русском языке стихотворение Хлебникова, основанное на мягкостной корреляции звонкой лабиодентальной фрикативной согласной<sup>22</sup> — по следующей схеме:

/v'i/	/vi/
/v'o/	/vo/

**Фонологическая  
транскрипция**

/ja v'idel/

/videl/

/v'os'en/

/vos'en'/

**Орфография**

я видел

в<sup>ь</sup>идел

вёсен

в осень

Важнейший для Якобсона вопрос заключается в том, можно ли *абстрагировать* феномен мягкости от той согласной, которая явно им отмечена. А это показывает, что уже в 1931 году он вступил на путь расчленения фонем на различительные признаки<sup>23</sup>. Требуется, однако, понять, зачем ему такое расчленение, а для этого требуется показать, что некоторые внутрисистемные фонологические признаки одновременно являются и междусистемными, т. е. общими для различных языков.

Если с артикуляцией переднеязычного или кончикового или губного согласного сочетается в качестве дополнительной работы поднятие средней час-

<sup>21</sup> Якобсон 1931a [SW-I, 159]. О понятии *месторазвития* ср. гл. VIII.

<sup>22</sup> Там же, 160.

<sup>23</sup> Изучение этого наброска концепции различительных признаков здесь для нас тем более интересно, что в других частях этого текста пока еще сохраняется вполне атомистическое, близкое к фонетике определение фонемы: «Фонемами называются члены фонологических противопоставлений, не разложимые на более дробные фонологические противопоставления. Упрощеннейшее определение фонемы: звук, способный в данном языке дифференцировать словесные значения» (Якобсон 1931a [SW-I, 150]).

ти языка в направлении к твердому небу, вызывающее акустическое впечатление мягкости, эта дополнительная работа называется палатализацией. Палатализованные согласные отличаются от непалатализованных согласных того же ряда только дополнительной артикуляционной работой (и соответственно — в акустическом аспекте — только повышенным тембром). Естественно, при наличии в данном языке серии противопоставлений «палатализованный—непалатализованный согласный», дифференциальное свойство, т. е. дополнительная работа и ее отсутствие (и соответственно, в акустическом аспекте, тембровое различие) абстрагируется от отдельных пар, и, в свою очередь, общий субстрат отдельной пары абстрагируется от дифференциального свойства (например, *s* от его твердости). Иными словами, налицо мягкостная корреляция согласных. Эта корреляция отчетлива, если тембровыми противопоставлениями характеризуются согласные нескольких артикулированных рядов. Так, в великорусском языке<sup>24</sup> есть палатализованные согласные переднеязычного, кончикowego и губного ряда, а в большей части украинских говоров палатализованные первых двух рядов (Якобсон 1931a [SW-I, 163]).

Далее Якобсон показывает, каким образом можно определить, является какой-то фонетический признак *релевантным* (в этот период он еще говорит: *фонологическим* или *дифференциальным*) или не является:

Но в производстве среднеязычных, или палатальных, согласных поднятие средней части языка к твердому небу — не дополнительная, а главная работа. Правда, эта работа и в данном случае вызывает акустическое впечатление высокого тембра, однако среднеязычные согласные и твердые согласные, тождественные по способу образования, но принадлежащие к иному ряду, взаимно противопоставлены не только по тембру, но и по характерному шуму (и соответственно, в артикуляционном аспекте, по месту главной работы). Которое из двух моторно-акустических различий является фонологическим дифференциальным свойством такого противопоставления?

Если в данном языке есть противопоставления палатализованных согласных непалатализованным согласным того же ряда, и, сверх того, противопоставления среднеязычных согласных непалатализованным согласным близкого ряда, то и последние противопоставления расцениваются как тембровые и входят в состав мягкостной корреляции. Примеры: 1) те польские говоры, где твердым губным противопоставлены палатализованные губные, а твердым

---

<sup>24</sup> «Великорусский язык» — это собственно русский язык, в противопоставлении малорусскому (или украинскому) и белорусскому. Вопрос о том, можно ли считать совокупность восточнославянских языков тремя диалектными вариантами одного «русского языка» или же различными языками, остается нерешенным и после ожесточенных многовековых споров. Так, об этом спорили два эмигранта — Трубецкой (1927в) и украинец Дорошенко (1928).

заднеязычным, переднеязычным и кончиковому *n* — среднеязычные согласные и 2) те украинские говоры, где твердым переднеязычным согласным соответствуют палатализованные переднеязычные, а твердым кончиковым согласным — переднепалатальные. К этому типу относятся говоры гуцулов, Буковины и Бессарабии. Но основной массив украинских говоров примыкает к великорусскому типу: все мягкие согласные, фонологически противопоставленные соответствующим твердым, реализуются в виде палатализованных, а отнюдь не в виде палатальных звуков (Там же, 164).

Установив разграничения между языками с мягкостной корреляцией и языками без мягкостной корреляции, Якобсон приступает к географическому вычленению более или менее концентрических зон:

1) Все языки, обладающие мягкостной фонологической корреляцией: это все языки Евразии<sup>25</sup> за исключением языков советского Дальнего Востока<sup>26</sup>; мягкостная корреляция распространяется также на Запад (польский, латышский, литовский) и на Восток (японский).

2) Политонические языки: эта область включает берега Балтийского моря (скандинавские языки, за исключением норвежского на северо-востоке, а также — исландского), различные диалекты датского<sup>27</sup>, северо-кашубский<sup>28</sup> (то есть кашубские диалекты Балтийского приморья),

---

<sup>25</sup> Здесь мы не стремимся опровергнуть те факты, которые представляет Якобсон. Отметим, однако, что якобсоновское противопоставление сингармонизма (гармонии гласных) тюркских языков Евразии и турецкого языка в Турции — это весьма спорный случай «тембровой оппозиции» или что отождествление политонии в скандинавских языках и в тибето-китайских языках требовало бы более осторожного подхода: можно ли считать эти виды политонии *тождественными* с фонологической точки зрения? Тем самым неминуемо встает вопрос о *природе* внутрисистемных элементов со всеми вытекающими отсюда следствиями. Если из фонемы извлекается значимый признак, то не приводит ли это к его материализации и превращению в фонетический факт или же к такому уровню обобщения, на котором это понятие становится бесполезным?

<sup>26</sup> Трудно провести четкую границу области распространения палеосибирских языков, таких, как чукотский или юкагирский. Однако Якобсона это не тревожит: для него, как и для большинства евразийцев, важны лишь глобальное восприятие целого, а также граница между Европой и Евразией.

<sup>27</sup> Нелегко изобразить на карте столь неопределенный объект, как «некоторые диалекты датского языка». Якобсон не уточняет свои топографические критерии, считая свои объекты самоочевидными.

<sup>28</sup> Кашубский — это западнославянский диалект, на котором говорят на северо-западе Польши, в восточной Померании. Вопрос о принадлежности кашубско-

языки балтийской группы, а также эстонский (но не финский). На другой стороне, согласно Якобсону, *симметрично* (об этом ниже) распространены языки Юго-Восточной Азии.

3) Полоса (или зона), которая целиком охватывает эту область и характеризуется только отрицательными признаками: это языки, в которых нет *ни* политонии, *ни* мягкостной корреляции.

4) Наконец, наиболее удаленная от центра, окраинная зона, в которой мы обнаруживаем, например, политонию: языки банту в Центральной Африке.

Далее приводятся карты областей, важных для определения границ евразийского языкового союза с фонологической точки зрения. Последняя карта дает общее изображение этих зон, одновременно подчеркивая сущностное своеобразие евразийских языков: они имеют один положительный признак (мягкостную корреляцию), один отрицательный признак (отсутствие политонии) и распространены на единой, непрерывной территории<sup>29</sup>.

### Метафора «масляного пятна»

#### *Распадение языковых семейств*

Закончив работу с лингвистической картой, можно приняться за изучение эпистемологических оснований самого понятия *языкового союза*. Спрашивается, почему для Якобсона было так важно иметь эту обобщенную картину фонологических отношений между различными языками и почему он искал естественные связи между фонологическими системами на уровне пространственных отношений?

В следующей главе мы представим теорию языковых союзов на фоне конкурирующих теорий, обращая особое внимание на то, что внут-

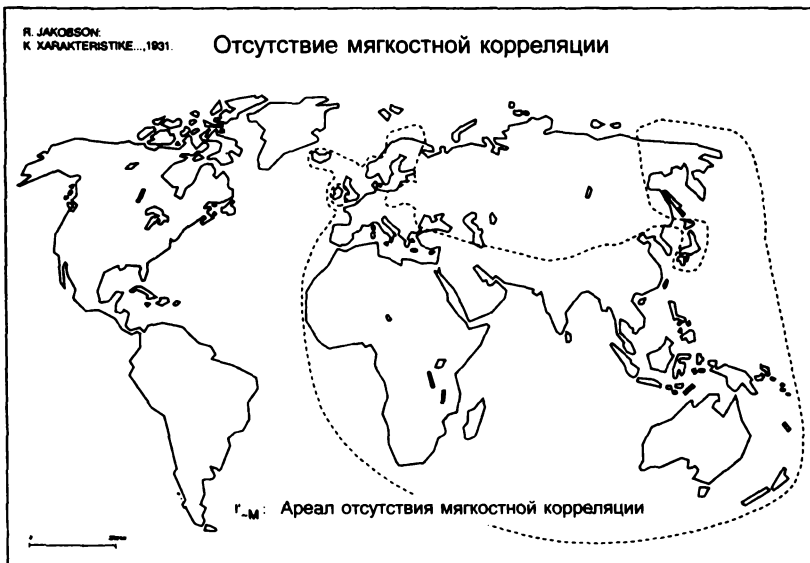
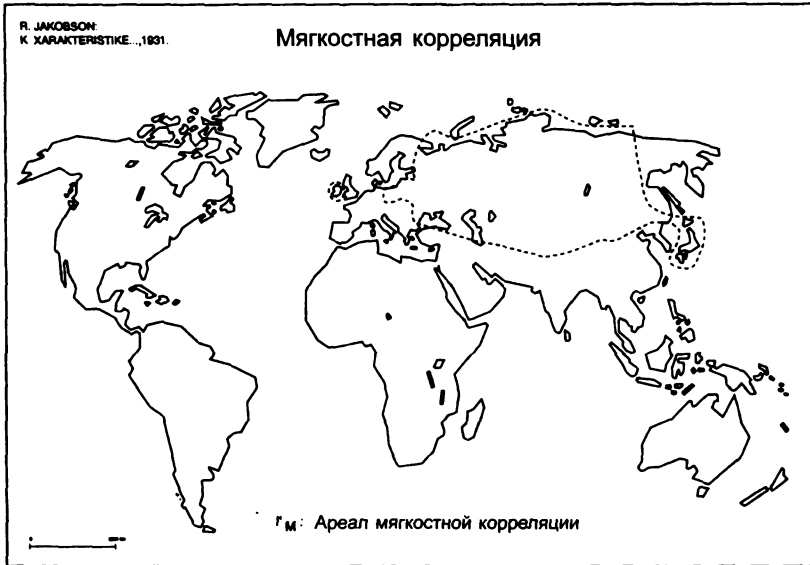
---

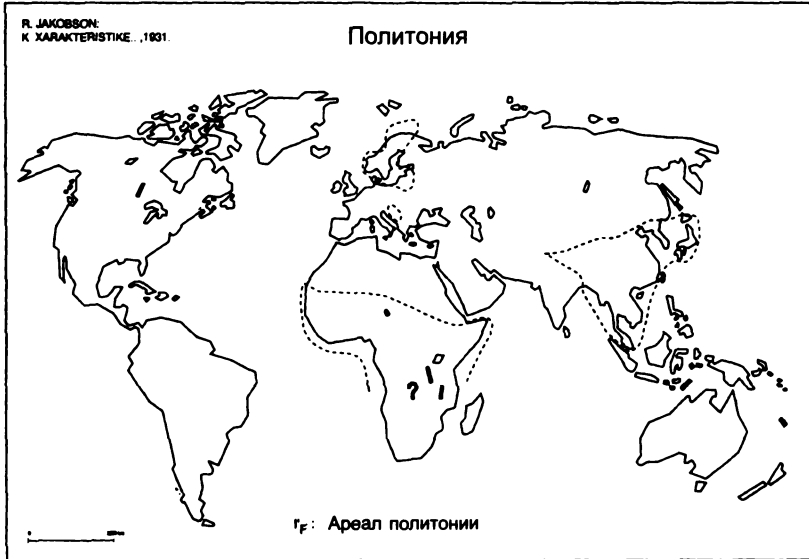
го польскому был предметом ожесточенных споров в конце XIX века (ср. Серно 1996в, 291, сл.).

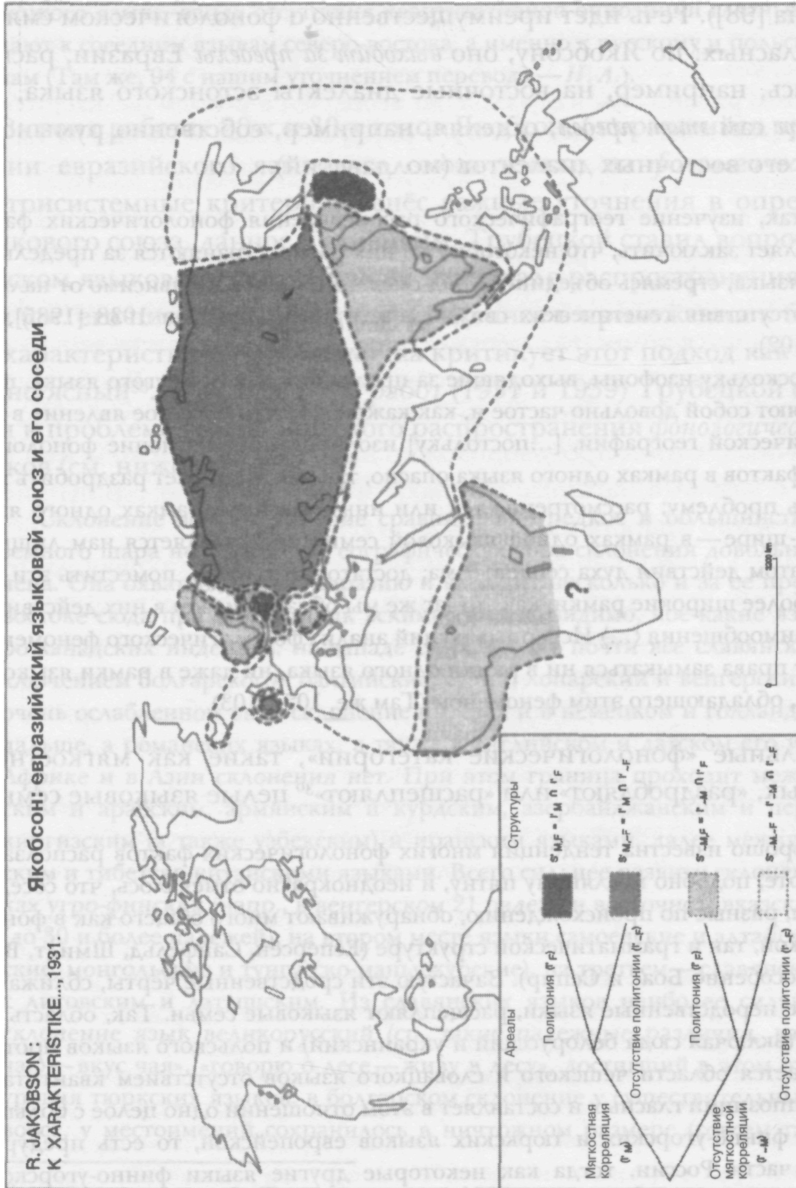
<sup>29</sup> Именно поэтому Якобсон исключает из рассмотрения ирландский язык: в ирландском (гаэльском) имеется мягкостная корреляция, отсутствует политония, однако отсутствие территориальной непрерывности не позволяет ирландскому языку притязать на место в фонологическом союзе евразийских языков. Однако как раз этот пример с ирландским языком Мейе (1931а) считает весомым доводом против концепции Якобсона (см. его рецензию на брошюру «К характеристике...»).



рисистемные элементы (различительные признаки) рассматриваются Якобсоном с внесистемной точки зрения.







Именно в этом и заключался главный довод Якобсона: для него существуют такие фонологические (внутрисистемные) признаки, которые выходят за пределы систем. Эти фонологические признаки образуют расплывающееся «масляное пятно» (частая метафора в текстах

Яacobсона [98]). Речь идет преимущественно о фонологическом смягчении согласных: по Яacobсону, оно *выходит за пределы* Евразии, распространяясь, например, на восточные диалекты эстонского языка, или *отмечает сам этот предел*, отделяя, например, собственно румынский язык от его восточных диалектов (молдавский).

Итак, изучение географического распределения фонологических фактов позволяет заключить, что некоторые из них распространяются за пределы одного языка, стремясь объединить ряд смежных языков независимо от наличия или отсутствия генетических связей между ними (Яacobсон 1938 [1985], рус. пер. 102).

Поскольку изофоны, выходящие за пределы того или другого языка, представляют собой довольно частое и, как кажется, почти обычное явление в лингвистической географии, [...постольку] изолированное изучение фонологических фактов в рамках одного языка опасно, так как это может раздробить и исказить проблему; рассмотрение тех или иных фактов в рамках одного языка или — шире — в рамках одной языковой семьи представляется нам лишь результатом действия духа сепаратизма; достаточно, однако, поместить эти факты в более широкие рамки, как тотчас же мы обнаруживаем в них действие духа взаимообщения (...) Исчерпывающий анализ фонологического феномена не имеет права замыкаться ни в рамки одного языка, ни даже в рамки языкового союза, обладающего этим феноменом (Там же, 102—103).

Отдельные «фонологические категории», такие как мягкость согласных, «раздробляют» или «расщепляют»<sup>30</sup> целые языковые семьи.

Хорошо известна тенденция многих фонологических фактов расплзаться на карте, подобно масляному пятну, и неоднократно отмечалось, что соседние языки, разные по происхождению, обнаруживают много общего как в фонологической, так и грамматической структуре (Есперсен, Санфельд, Шмидт, Вандриес, особенно Боас и Сепир). Зачастую эти сродственные черты, сближая соседние неродственные языки, расщепляют языковые семьи. Так, область русского (включая сюда белорусский и украинский) и польского языков противопоставляется области чешского и словацкого языков отсутствием квантитативной оппозиции гласных и составляет в этом отношении одно целое с большинством финно-угорских и тюркских языков европейской, то есть предуральской, части России, тогда как некоторые другие языки финно-угорской и тюркской семей обладают этим противопоставлением: например, венгерский в этом отношении принадлежит к тому же кругу языков, что и чешский и словацкий. Изофоны сродства пересекают не только границы языковой семьи, но зачастую даже границы одного языка. Так, например, восточные говоры сло-

<sup>30</sup> Яacobсон 1931г, 9.

вацкого языка, ввиду отсутствия количественной оппозиции гласных, примыкают к соседним языкам северо-востока, а именно к русскому и польскому языкам (Там же, 94 с нашим уточнением перевода.— Н. А.).

В своих работах 20-х и 30-х годов Якобсон, опирающийся при выявлении евразийского языкового союза только на *фонологические* или внутрисистемные критерии<sup>31</sup>, внёс важные уточнения в определение языкового союза, данное Трубецким. Трубецкой ставил вопрос о евразийском языковом союзе лишь на материале распространения склонения (см. его письмо Якобсону, приведенное в приложении к брошюре «К характеристике...»)<sup>32</sup>. Скаличка критикует этот подход как недостаточно ясный<sup>33</sup>. Однако в ряде работ (1931 и 1939) Трубецкой обратился и к проблеме географического распространения *фонологических* признаков (см. ниже).

Склонение вообще явление сравнительно редкое и большинству языков земного шара неизвестное. Географическая зона склонения довольно ограничена. Она охватывает всю Евразию и выходит несколько и за ее пределы. На востоке сюда примыкает язык эскимосский и, видимо, кое-какие языки северо-канадских индейцев, на западе сюда входят почти все славянские (за исключением болгарского), балтийские, суоми, лопарский и венгерский; далее в очень ослабленном виде склонение имеется и в немецком и голландском — но дальше, а романских языках, а также в английском и датском его уже нет. В Африке и в Азии склонения нет. При этом граница проходит между османским и арабским, армянским и курдским, азербайджанским и персидским, киргизским (а также узбекским) и иранским языками, далее между монгольским и тибетско-китайскими языками. Всего сильнее развито склонение в языках угро-финских (напр., в венгерском 21 падеж) и восточнокавказских языках (до 30 и более падежей), на втором месте языки самоедские и алтайские (тюркские, монгольские и тунгусско-маньчжурские), на третьем — славянские вместе с литовским и латышским. Из славянских языков наиболее сильно развито склонение язык великорусский (ср. такие падежные различия, как «стакан чаю — вкус чая», «говорю о лесе — живу в лесу», достигший в этом отношении уровня тюркских языков; в болгарском склонение у существительных исчезло вовсе, у местоимений сохранилось в ничтожном размере (совсем так же и в

---

<sup>31</sup> Любопытно, что Л. Теньер в статье 1939 года, опубликованной в «Трудах Пражского лингвистического кружка» (том 8), заявляет: «Насколько мне известно, фонологи никогда не занимали ясной позиции в столь спорном вопросе, как смешение языков» (Теньер 1939, 83).

<sup>32</sup> Якобсон 1931a [SW-I, 196].

<sup>33</sup> Скаличка 1934.

других языках балканского союза), в сербском языке склонение ущерблено (в ед. ч. стерта разница между дат. и творит.); в прочих же славянских языках (в польск., чешск., словацк., лужицк., словенск., украинск. и белорусск.) склонение более развито, чем в сербском, но менее, чем в русском (великорусском). (Трубецкой: Письмо к Якобсону о географии склонения от 29 января 1931 года, см. прилож. к: Якобсон 1931a; цит. по: Selected writings. 1. 1971, 196).

Посредством теории фонологических языковых союзов Якобсон стремился разрешить противоречие между двумя моделями. Это:

1) Миграционная модель: языки центра, некогда обладавшие фонологической мягкостью, переместились к окраинам и *потеряли* мягкость, выйдя за пределы евразийской территории. По Якобсону, так обстояло дело с турецким, а по Савицкому,—с венгерским языком. Аналогичные, хотя и противоположно направленные, изменения происходят с языками, которые вступают на евразийскую территорию и соответственно приобретают мягкостную корреляцию.

2) Модель «локального заражения», не предполагающая людских переселений. Речь идет о «заражении» в языках, соседствующих с евразийским месторазвитием: так, восточные диалекты эстонского, румынского или болгарского в различной степени приобретают фонологическую мягкость, а восточные диалекты словацкого теряют долготную оппозицию.

В отличие от Санфельда и итальянских неолингвистов, проблема, по Якобсону, заключается не в *контакте* (и тем более — не в *субстрате*), но в определенной «целестремительной» конвергенции:

В науке о языке сравнительный метод еще недавно применялся почти исключительно во имя выяснения общего исторического фонда родственных языков. Когда мы прибегаем к сравнительному методу теперь, то нас, рядом с предком-праязыком, интересует самостоятельное бытие отпрысков — характерные тенденции их развития. Как сопоставление расхождений в жизненном пути обособившихся языков, так и обследование сходных форм эволюции — т. н. конвергенций — равно бросает свет на целестремительность языковых видоизменений. Но конвергентная эволюция языков родственных — лишь частный случай. В круг очередных лингвистических проблем вовлекается вопрос о схожих чертах в эволюции смежных языков разного происхождения. Все отчетливее обнаруживается, что и при совершенно разнородных исходных точках возможна значительная общность путей развития: разными средствами из несхожего материала создаются однотипные построения. Возле традиционного понятия однородных языков проясняется понятие языков единоустремленных (Якобсон 1931a [SW-I, 144]).

Таким образом, речь здесь идет явно не о типологии и не о гибридизации, но о новом понятии, которое влечет за собой весь давний спор о *врожденном* и *приобретенном*. В главе VII мы увидим, что и эта оппозиция здесь тоже искажается.

Языковые семейства характеризуются унаследованной общностью словарного и грамматического реквизита и звуковыми соответствиями в этом реквизите, указывающими на единый источник и позволяющими восстановить общие праформы. Признак языкового союза — благоприобретенные сходства в структуре двух или нескольких смежных языков, равнобежные преобразования самостоятельных языковых систем (Якобсон 1931a [SW-I, 145]).

В отличие от своих предшественников — Шухардта и Бодуэна де Куртенэ — Якобсон отказывается сводить происхождение сходств между неродственными языками к отношениям причинности (влияния<sup>34</sup>, заимствования):

Но влияние — только одна сторона проблемы, простейший продукт языкового сожительства. Есть случаи, когда трудно решить, что перед нами — заимствование или только результат конвергентного развития. Заимствование и конвергенция (...) не исключают друг друга и не могут категорически противопоставляться. Важен не факт заимствования — сам по себе, а его функция с точки зрения заимствующей языковой системы; существенно, что именно на данное новшество есть спрос, что оно санкционируется системой соответственно возможностям и нуждам ее эволюции. Заимствование большей частью лишь особый случай конвергенции. Основная проблема при сопоставлении смежных языков — это проблема их конвергентного развития (Якобсон 1931a [SW-I, 149]).

---

<sup>34</sup> Любопытно, что комментаторы Якобсона, в том числе именитые, ошибочно толковали его тексты, усматривая в них то, что им хотелось бы увидеть. Так, Леви-Стросс видит в якобсоновских сродственностях (*affinités*) результат *влияния*: «Вместе с Мейе и Трубецким Якобсон неоднократно показывал, что феномены взаимовлияния между географически смежными лингвистическими зонами не могут остаться чуждыми структурному анализу; в этом, собственно, и состоит суть знаменитой теории лингвистических сродственностей (*affinités*)» (Леви-Стросс 1985, 275). Иные видят у Якобсона лишь *типологическое* исследование, игнорируя понятие *пространства*: «В этом новом ренессансе теории волн типологический подход совпадает с изучением сродства языков; мне кажется, что удивительный успех выдающихся ученых Пражской фонологической школы обусловлен именно тем, что они взяли за основу типологию, не допустив ошибочного влияния старых генеалогических идей» (Ван Гиннекен 1933 [1935, 41]).

Языковой союз у Трубецкого не тождествен лингвистическому ареалу у итальянских неолингвистов или же гибридации у Шухардта или Бодуэна де Куртенэ. Трубецкой не говорит ни о смешении, ни о скрещении языков: для него существуют лишь *параллельное развитие* и приобретенные (а не *заимствованные*) сходства. Речь идет, собственно, не о диффузии, но об общих изобретениях или общих приобретениях.

Для Трубецкого не существует ни субстрата, ни адстрата, ни суперстрата, ни даже просто *влияния* одного языка на другой. Ключевой термин — *конвергенция* как процесс интеграции языковых явлений и как совместное приобретение новых признаков.

Спрашивается, так что же мы, собственно говоря, сопоставляем: структуры? системы? отдельные фонетические элементы? Наверное, если уж заняться собирательством, то все пригодится. По сути, и у Трубецкого и у Якобсона сопоставлению подвергаются — в зависимости от потребностей данного момента — и отдельные эмпирические объекты и системные целостности, однако вопрос о том, что же такое система, остается нерешенным.

Так, Якобсон ссылается на статью Зеленина (1929) «Словесные табу у народов восточной Европы и северной Азии», в которой говорится, что представления об имени и его носителе в Евразии отличны от западных, и делает из этого следующий вывод:

[Д. К. Зеленин] устанавливает общевразийские черты отношения говорящих к слову. Там, где есть общность оценки слова, единство культуры языка, естественно предположить и наличие совпадений в языковой структуре непосредственно (Якобсон 1931a [SW-I, 150]).

Оставим в стороне это «естественное» предположение и отметим, что «отношение говорящих к слову» определяется вовсе не внутрисистемными признаками, но теми положительными чертами, которые складываются в процессе общей жизни людей на всей территории Евразии. Что же касается фонем, то тут Якобсон утверждает, что они выходят за пределы систем: не объясняя причины этого явления, он считает его «типичным» для фонологии:

Уже сейчас — уже на основании тех отрывочных материалов, которыми располагает сравнительная фонология — можно сказать, что для основных принципов фонологической структуры, в частности для различных корреляций, нехарактерно обособленное бытие, ограниченное пределами языка или языкового семейства. Типичнее фонологические языковые союзы, изофоны



(границы фонологических явлений) широкого захвата, нежели фонологические островки. Занесение отдельных корреляций на географическую карту сулит картину преобладания емких зон, захлестывающих границы единичных языков, над « мозаично-дробным » сложением, над чересполосицей корреляций (Якобсон 1931a [SW-I, 155]).

### *Система и союз*

Фонология, это структуральная наука по преимуществу, поскольку она превращает *элементы субстанций в отношения*: звуки входят в фонологию лишь поскольку, поскольку каждый из них определяется как то, чем не являются другие. Так, Якобсон, который считает, что он «изобрел фонему»<sup>35</sup>, одновременно сделал нечто прямо противоположное: он превратил *элементы отношений в субстанции* и к тому же определил их не с точки зрения акустического восприятия, а с точки зрения артикуляторного производства. Опираясь на статью Трубецкого «Туранский элемент в русской культуре»<sup>36</sup>, в которой показана «тесная связь между структурой русского духовного мира и туранского духовного мира, а также тесная связь между туранским духовным миром и туранскими языками»<sup>37</sup>, Якобсон наметил программу изучения «структурной общности евразийских языков»<sup>38</sup>.

Именно вокруг понятия замкнутости систем сплетается связь между обеими сторонами творчества Трубецкого — как лингвиста и как философа, увлеченного органическими целостностями. Для Б. Гаспарова<sup>39</sup> (одного из тех, кто глубоко провели мысль о единстве этих двух сторон) взаимонепереводимость различных культурных систем — это главный принцип всей научной работы Трубецкого, включая и «Основы фонологии». Б. Гаспаров подчеркивает радикальную несовместимость различных фонологических систем: так, внешне сходные звуки и звуковые изменения в различных языках, по сути, представляют собой различные явления, так как они существуют и развиваются внутри различных систем. Он также напоминает о метафоре «языкового

<sup>35</sup> Свидетельство К. ван Сконевельда (C. van Schooneveld).

<sup>36</sup> Трубецкой 1925в.

<sup>37</sup> Якобсон 1931a [SW-I, 147]).

<sup>38</sup> Там же.

<sup>39</sup> Ср. Гаспаров 1987.

фильтра» (*das phonologische Sieb*) или сетки различительных признаков родного языка, через которую мы всегда искаженно воспринимаем звуки чужого языка<sup>40</sup>): эта метафора лишь подтверждает замкнутость каждой системы и основоположную неадекватность любого межсистемного подхода<sup>41</sup>.

Однако идея *необходимо* замкнутой системы приводит к проблеме совместимости с идеей языкового союза, например фонологического. Мы уже видели, что в начале 30-х годов Якобсон искал фонологические доказательства реального существования Евразии<sup>42</sup> и что сам этот поиск был представлен в публикациях евразийцев, где участвовал и Якобсон, как сенсационное достижение<sup>43</sup>.

Якобсон считал доказательством существования Евразии то, что *в общем* все евразийские языки обнаруживают одновременно *и* фонологическую оппозицию мягкостности, *и* отсутствие политонии. Эти факты выходят за пределы отдельных систем, оказываясь общими для многих из них.

Обратим внимание на новые термины, которыми пользуется Якобсон; так, *Sprachbund* в его понимании весьма далек от гибридизации: речь идет преимущественно об *изофонах* (граница между фонологическими явлениями), которые противопоставляются *изоглоссам* (граница между фонетическими явлениями). Исследователей Якобсона не особенно интересовала разница между изоглоссами и изофонами, однако именно на этом тонком различии зиждется смысл понятия *системы*. В отличие от всех прежних отказов от младограмматической модели рассуждения (например, у Шухардта), новизна здесь заключается именно в *системном* подходе.

Однако у Якобсона общим моментом между языками оказывается вовсе не системное отношение (например, наличие или отсутствие сис-

<sup>40</sup> Ср. Трубецкой 1939б, цит. по рус. пер. 1960, 59—62: «Ошибки в суждениях о фонемах чужого языка», 71—73: «Ошибки при определении однофонемной и многофонемной значимости звуков чужого языка».

<sup>41</sup> В это же время Поливанов (1927) тоже стремился избежать переноса фонем или терминов культуры из одной системы в другую.

<sup>42</sup> Итоги этого периода он подводит в «Беседах...», ср. Якобсон 1980, 84.

<sup>43</sup> «Открытие Р. О. Якобсона усиливает внутренние связи во всей научной системе евразийства, повышает математическую вероятность ее истинности» (Савицкий 1931а, 7, ср. также Савицкий 1931б).

темы склонения), но *звуковая субстанция*, благая для поэтов и «отвратительная» для тех, кто не знаком с мягкостной оппозицией<sup>44</sup>:

Наряду с фонологическими особенностями, которые стремятся выйти за пределы одного языка и распространиться на обширные и *непрерывные* области, мы обнаруживаем иные особенности, которые лишь редко выходят за границы одного языка и даже диалекта. Они-то в первую очередь и ощущаются обычно как отличительная черта, отделяющая языки, которые они характеризуют, от всех прочих окружающих их. Так, противоположение палатализованных (или мягких) и непалатализованных (или твердых) согласных ощущается как фонологическая доминанта русского и соседних с ним языков. Как раз это противоположение и сопутствующие ему факты русский поэт и языковед К. Аксаков и назвал «эмблемой и венцом» звуковой системы русского языка. Другие русские поэты усматривали в этом «туранскую» черту (Батюшков, А. Белый), чуждую европейцам (ГрEDIAKовский, Мандельштам) (...). Равным образом любопытно, что представители тех языков, которым фонологическое смягчение согласных было неизвестно, испытывали по отношению к нему иной раз истинное отвращение. «Довольно распространенным,— замечает по этому поводу Хлумский,— является взгляд на смягченные звуки как на свидетельство артикуляционной слабости. Больше того, дело доходило до того, что эту слабость готовы были перенести даже на тех, кто употребляет эти смягченные звуки, в частности на русских. „О, эти бедные русские! Все-то у них смягчено!“» (Chlumsky, Recueil des travaux du I Congrès des philologues slaves, II, 542). В языках Европы, соприкасающихся с «палатализирующими языками», довольно часто наблюдается палатализация для образования уничижительных слов. Эти произносительные соотношения притяжения и отгалкивания показывают всю заразительность и стойкость данного явления (Якобсон 1938 [1985], рус. пер. 99).

Всё это — доводы интуитивной психологии, опирающейся на индивидуальные восприятия вместо доказательств. При этом важно, что фонологическая корреляция здесь выступает уже не как явление структурного характера, но как *субстанция*, воспринимаемая не только сознанием говорящих на родном языке, но и теми, для кого это язык чужой: фонема здесь — это *звук*. Так как же тогда обстоит дело с *фоноло-*

---

<sup>44</sup> Отметим, что Савицкий совершенно не разбирался в проблемах фонологии; он был одержим идеей накопления и взаимоналожения общих признаков в сфере явлений, не связанных родством или причинностью, и считал, что мягкость согласных облегчает русское произношение для нерусских. Что касается Якобсона, то он не уточняет, «ощущают» ли все эти оппозиции те, для кого данный язык родной или, напротив, чужой (хотя в принципе последние должны бы быть «глухи» к этим оппозициям).

гической глухотой? Что заставляет людей осознать фонологическую значимость той или иной оппозиции в чужом языке? К тому же смягчение согласных как фонетическое явление не столь уж редко встречается и в европейских языках, будь то «по природе» (итал. *figlio*, исп. *cavallo*) или «по месту» (франц. *tiens*). У Якобсона мы видим онтологизацию системного признака: речь идет о внесистемном восприятии явления, которое, по определению, является внутрисистемным.

Но если принять мысль Трубецкого о *фонологическом фильтре*, как тогда возможно *внешнее* восприятие внутреннего элемента системы? Оказывается, что и Трубецкой тоже по-своему гипостазировал структурные факты, изрекая ценностные суждения о превосходстве такой морфологической системы, как *агглютинация*, над флективными языками:

Следует признать, что чисто агглютинирующие языки алтайского типа с небольшим инвентарем экономно использованных фонем, с неизменяемыми корнями, отчетливо выделяющимися, благодаря своему обязательному положению в начале слова, и с отчетливо присоединяемыми друг к другу всегда вполне однозначными суффиксами и окончаниями, представляют из себя технически гораздо более совершенное орудие, чем флектирующие языки хотя бы восточнокавказского типа с неуловимыми корнями, постоянно меняющими свою огласовку и теряющимися среди префиксов и суффиксов, из которых одни наделены определенным звуковым обликом при совершенно неопределенном и неуловимом смысловом содержании, другие же при определенном смысловом содержании или формальной функции представляют несколько разнородных, не сводимых друг к другу звуковых видов. Правда, в большинстве индоевропейских языков принцип флективности выступает уже не в таком гипертрофированном виде, как в языках кавказских, но до технического совершенства агглютинирующих алтайских языков индоевропейским языкам еще далеко (Трубецкой 1939a [1987], рус. пер. 58).

Понятие языкового союза является источником многих парадоксов. Новый тип системы, утверждаемый Якобсоном, фактически создает такую совокупность языков, внутри которой все говорящие имеют в своем распоряжении мягкие согласные и отсутствие политонии, однако ведь это еще не обеспечивает взаимопонимания. Но если этот новый тип системы не является языком как средством взаимопонимания, то что же это такое? И что, собственно, делает фонологический союз евразийских языков *системой*?

Итак, мы вынуждены признать, что фонологический языковой союз может функционировать лишь при условии, что его элементы отно-

сятся к фонетике, а не к фонологии: их объединяет лишь общность звуковой субстанции.

Но ведь весь вопрос в том, можно ли сопоставить друг с другом такие различительные признаки (например, смягчение согласных), которые *абстрагируются от* фонем, внутри которых они выполняли определенную функцию. Единственным решением оказывается субстанциализация различительных признаков. Лишь тогда можно понять, зачем Якобсон пересказывает замечание Хлумского: если какой-то элемент свободно проходит сквозь «фонологический фильтр», значит его материальные свойства не зависят от системы. Но в таком случае переход от единичной языковой системы к более высокому уровню фонологических языковых союзов ничего не меняет.

Самый известный во франкоязычном мире текст Трубецкого — это безусловно вводная глава к «Основам фонологии», где фонология отделяется от фонетики на основе соссюрдовской оппозиции языка и речи. В данном случае обращение к соссюрдовскому наследию *имеет смысл*, а дальше в текст мало кто заглядывает. А ведь взгляд Трубецкого на отношения фонологии к географическому пространству вводит нас в совсем иной научный мир, где ссылки на Соссюра уже неуместны.

В статье 1931 года «Фонология и лингвистическая география» Трубецкой противопоставляет непрерывность фонетических вариаций в диалектологии прерывности фонологических различий. Однако его доводы произвольно соскальзывают с одного уровня на другой. Так, рассматривая перечень «фонологически значимых признаков», Трубецкой указывает, что северный диалект великорусского языка имеет «четыре безударные (или редуцированные) гласные фонемы — *ÿ, õ, ä, ĭ*», тогда как южный диалект великорусского языка имеет лишь «три главные безударные фонемы — *ÿ, ä, ĭ* — и не имеет безударного *õ*» (343). Но ведь, следуя его подходу, в диалектах русского языка можно было бы ожидать вовсе не «безударных фонем», а лишь фонетических реализаций основных фонем в безударной позиции. У такого противника психологизма, как Трубецкой, странно видеть подобные формулировки, из которых к тому же неясно, является ли «а» звуком или фонемой:

С собственно восточно-белорусским граничат такие диалекты белорусского, в которых «а» перед ударным слогом с «á» произносится как нейтральный гласный звук «э», объективно не тождественный ни «ĭ» ни «ä», но *ощущаемый*

лингвистическим сознанием<sup>45</sup> не как независимая фонема, а как звуковой комбинаторный вариант фонемы «я» (Трубецкой 1931, см. в: Трубецкой 1986, 346).

Там, где гласная первого слога (*vida*) *ощущается как тождественная*<sup>46</sup> гласной первого слога (*bila*), мы имеем дело с фонологией восточно-белорусского, а где не ощущается,— с фонологией западно-белорусского диалекта (Там же, 347).

Возникает впечатление, что при переходе к проблемам географического соседства понятие фонемы становится неустойчивым и уступает место вещным субстанциальным элементам, которые *как таковые* могут присутствовать или же отсутствовать в диалектах:

Вопросы, на которые должна ответить диалектология, таковы: «Встречается ли такая-то фонема в диалекте X?» и «В каких фонологических позициях такая-то фонема используется в диалекте X?» (Трубецкой 1931, см. в: Трубецкой 1986, 348).

Но и это еще не все. Дело не только в том, что «структурные характеристики» фонем, выходящих за рамки систем, не ограничены тем или иным диалектом:

Изучение фонологических различий, в отличие от этимологических, может продолжаться за пределами одного языка и даже за пределами языкового семейства. Более того, все сказанное выше о картографии фонологических различий остается значимым и для изучения различных языков.

Несомненно, что такое вторжение диалектной фонологии на территории различных языков (родственных или неродственных) может быть полезным. География распределения некоторых фонологических явлений такова, что они обнаруживаются во многих неродственных, но географически сопряженных языках, но отсутствуют в более обширных географических областях, занятых различными языками (Трубецкой 1931, см. в: Трубецкой 1986, 349),

но и в том, что область фонем как внутрисистемных элементов *не совпадает* с областью самих систем:

Границы распространения фонологических явлений не всегда точно совпадают с границами языков, так что установить эти границы распространения можно лишь изучая диалектную фонологию (Трубецкой 1931, см. в: Трубецкой 1986, 349).

На все это можно было бы, конечно, возразить, что статья 1931 года была написана много раньше «Основ фонологии» и осталась незавер-

<sup>45</sup> Курсив наш.— П. С.

<sup>46</sup> Курсив наш.— П. С.

шенным наброском. Однако это возражение бьет мимо цели, поскольку и в «Мыслях об индоевропейской проблеме» (текст был написан в 1937 году и опубликован в 1939) фактически, хотя и без явного об этом упоминания, вновь поднимается проблема *фонологического языкового союза*, которая ставится на материале пространственно-географических отношений между «структурными признаками»:

Так называемая «теория волн», некогда предложенная Йоганном Шмидтом, применима не только к диалектам одного языка и к группам родственных языков, но и к соседящим друг с другом неродственным языкам<sup>47</sup>. Соседние языки, даже не будучи родственны друг с другом, как бы «заражают друг друга» и в результате получают ряд общих особенностей в звуковой и грамматической структуре. Количество таких общих черт зависит от продолжительности географического соприкосновения данных языков. Все это применимо и к языковым семействам. В большинстве случаев языковое семейство представляет определенные особенности, из которых одни объединяют его с одним семейством, а другие — с другим, тоже соседним. Таким образом, отдельные семейства образуют целые цепи. Так, угро-финские языки и тесно с ними связанные языки самодийские представляют целый ряд структурных особенностей, общих с языками «алтайскими» (т. е. тюркскими, монгольскими и маньчжуро-тунгусскими) (Трубецкой 1939а [1987], рус. пер. 53).

Во имя универалистского подхода, свойственного фонологии, Трубецкой спонтанно пользуется диффузионистским словарем:

Исследование общих фонологических законов предполагает сравнительное изучение фонологических систем всех языков мира при отвлечении от отношений родства между ними. Это сравнительное изучение, которое ранее не предпринималось в таком объеме, позволило современным фонологам не только установить некоторые общие законы, но также утверждать, что многие фонологические явления распространяются на более или менее обширных географических территориях, занятых языками из других языковых семейств. Этот факт пока еще далек от объяснения (гипотеза действия «субстратов» представляется совершенно недостаточной). Однако его констатация требует построения новой дисциплины — «фонологической географии» (Трубецкой 1933 [1969, 161—162]).

А в примечании он добавляет:

(...) эта новая дисциплина (первым ее образцом была книга г-на Якобсона о евразийских языках, обобщенная в его статье «О фонологических языковых союзах» — TCLP-IV, 234—240) связана с универалистской тенденцией, харак-

---

<sup>47</sup> Здесь Трубецкой возражает Мейе, прямо его не называя.

терной для современной фонологии. Фонологическая система любого языка предстает как часть более обширной совокупности, включающей в себя языковые системы, распространенные в одной и той же географической области, и должна изучаться в соотношениях с другими частями той же совокупности.

С учетом всего этого вернемся к уже поставленному вопросу: так что же делает языковой союз *системой*? Если исходить из того, что перед нами — *система*, то тогда нам придется признать, что либо система может иметь лишь один *структурный* признак (мягкостная корреляция), в чем явно нет ничего *системного*, либо что она может сложиться в результате наложения совпадений между положительными, материальными свойствами, в чем явно нет ничего *структурного*.

Метафора *звена в цепи* у Трубецкого перекликается с метафорой *масляного пятна* у Якобсона: внутрисистемные элементы так или иначе выходят за пределы систем. Раскручивая эту метафорическую нить, мы нигде не увидим конца: все языки на земле включаются в цепочку взаимосвязей. Однако у Трубецкого и Якобсона мы не найдем ни бесконечно нанизывающихся звеньев цепочки, ни бесконечно расплывающегося масляного пятна: диффузия в определенный момент прекращается. Так и *смежная область* между евразийскими и европейскими языками, несмотря на расплывание масляного пятна, прорезается четкой границей, внедряющейся в генетически родственные единства.

Вопрос о гибридизации привел к проблеме *преодоления пределов*. Модель языка как организма была поколеблена, но еще не разрушена. И нужно было решить, куда же двигаться дальше: к идее вселенской непрерывности или же к построению новых единств.



## Глава IV

### Непрерывное и прерывное

*Нужно, чтобы дверь была либо открыта, либо закрыта.*

А. де Мюссе

«Новизна» Якобсона и Трубецкого вовсе не в том, что они усомнились в младограмматической модели (это делали многие и до них), и даже не в том, что они отвергли общепринятые представления о границах между языками, но в том, что они воздвигли другие границы, еще более непреодолимые. Посмотрим теперь, каким образом их работа сочленяется с важным и нескончаемым спором о границах между диалектами: ведь именно он привел к крушению младограмматических очевидностей.

Отношения между историей лингвистики и историей географии изучены недостаточно. История каждой дисциплины имеет свою собственную динамику, у которой нет прямых параллелей с историями других дисциплин, даже смежных. Однако она так или иначе связана и с этими историями, и с Историей как таковой. Так, *геолингвистика* возникла в результате внутреннего кризиса языкознания в последней трети XIX века. Географы и лингвисты, за редким исключением, мало что знали в этот период друг о друге. Но и для тех и для других была важна сама постановка вопроса о *границах* их научного предмета: для одних это была *территория*, для других — *язык* или *диалект*, а сами эти размышления в свою очередь были как две капли воды похожи на споры биологов об определении *вида*.

Таким образом, заранее можно было предвидеть, что основными понятиями геолингвистических споров станут понятия *прерывного* и *непрерывного* применительно к границам между языками и диалектами. Однако мы увидим, что этот спор не ограничивается «инструмен-

тальными» вопросами. Он пронизан более широкими идеологическими конфликтами: так, этот период отмечен *обострением национализмов* и многочисленными попытками *натуралистического* определения границ между европейскими государствами, причем возникало искушение использовать результаты диалектологии для обоснования территориальных притязаний.

Однако эпистемологический спор об органицистской модели, которая как раз в эту эпоху начинала разрушаться и в лингвистике, имел свою идеологическую подоплеку. И потому ключевым в этом споре стал вопрос о *гибридизации* языков, который в ином случае остался бы лишь одной из попыток представить языковое многообразие на данной территории как нечто прерывное и однородное.

Мы попытаемся представить этот спор в понятиях, которые, по-видимому, не использовались в то время. Это оппозиция номиналистического и реалистического подхода к отношению между языком и территорией: на ее основе можно дальше строить различные графические изображения этого отношения.

Номиналистический подход стремится до бесконечности, до полного распыления описывать *различия, отдельные факты, тончайшие нюансы*. Реалистический подход, напротив, стремится отыскивать общее за разным, прозревать Единое за Многим, восстанавливать Тип, Архетип или Сущность. Таковы два противоположных способа построения предмета познания.

Мы постараемся показать, что различные попытки преодолеть или обойти эту альтернативу оказываются лишь вариантами этих двух возможностей, которые в свою очередь лежат в основе другого спора, одновременно разгоревшегося в этнологии и антропологии того времени: речь идет об эволюционизме и диффузионизме (ср. следующую главу).

## Закрытость

### Органицизм

В начале XIX века германоязычная лингвистика, пропитанная духом торжествующего романтизма, решительно противопоставляла себя рационализму и универсализму минувшего века и философии Просвещения: разнообразие языков уже не является вторичным, поверхностным явлением по отношению к универсальному человеческому

разуму, в нем есть нечто существенное. *Лингвисты* столкнулись с проблемой, которая «носила в воздухе»: как упорядочить все возрастающее множество языковых фактов, которые стали нам доступны в связи с нарастанием открытий и описаний и повышением интереса к разнообразию как таковому?

В своей книге «Слова и вещи» (глава «Классификация»)<sup>1</sup> Мишель Фуко показал свойственные эпохе романтизма колебания между типологической и генеалогической классификацией. Вслед за биологией, во второй половине XIX века линнеевская «искусственная» классификация, идущая «сверху вниз» и основанная на произвольно выбранных критериях, повсюду сменяется «естественной» классификацией, идущей «снизу вверх».

Оба эти типа таксономии имели одну общую предпосылку: языки — это естественные организмы. Классы языков выявлялись на основе *общей сущности*, зависящей в свою очередь от степени *сходства* между языками.

Следуя совершенному и естественному порядку классификации, мы должны были бы поместить в общий класс все роды, обладающие сущностными (то есть не случайными, не усвоенными, не возникшими в результате подражания или звукоподражания) сходствами (Янг 1813—1814, 252; цит. по: Морпурго-Дейвис 1996, 140).

Так, языки должны быть сгруппированы по классам в зависимости от сходств между ними, причем достойными изучения оказываются лишь те сходства, которые унаследованы, а не заимствованы — вследствие контакта или подражания. При этом проблема устойчивости или изменчивости видов, породившая столько бурных споров в биологии, проявилась и в лингвистике: может ли языковое изменение привести к переходу языка из одного типа в другой?

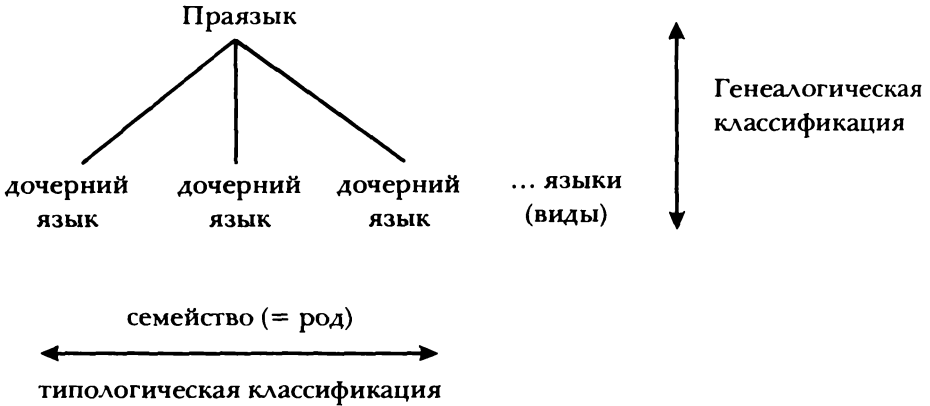
Немецкий лингвист Август Шлейхер (1821—1868) дает трансформистский ответ на этот вопрос, превращая лингвистику в своего рода *естественную науку*. Для него предметом лингвистики является

...язык как естественный организм, строение которого подчинено неизменным законам: язык не может изменяться по воле человека, подобно соловью, который не может изменить свою песню (Шлейхер 1860, 118).

---

<sup>1</sup> Фуко 1966, 137—176.

Из книг и учебников мы знаем о Шлейхере как об ученом, придумавшем генеалогическое древо: он описал изменения языков в терминах биологии и ботаники — как переход от праязыка (*Grundsprache*, *Ursprache*) к дочерним языкам, к разным видам в рамках единого рода. Типологическая классификация, которая строится в пространстве, это лишь отображение генеалогической классификации, развертывающейся во времени.



Эта натуралистическая картина эволюции языков — во *времени*, но не в *истории* (ведь человеческая воля тут бессильна) имеет дело с наглухо замкнутыми объектами: каждый язык есть некое чистое тело, его организм (или его *сущность*) не может изменяться в результате контактов или смешений. По Максу Мюллеру (1823—1900), язык претерпевает естественную эволюцию, независимую от внешних факторов, следуя неумолимым законам. Полезно вспомнить, к примеру, что в лексике английского языка есть кельтские, норманнские, латинские и греческие элементы,

однако в сам системный организм английского языка не вошло ни капли чуждой крови. Грамматика, эта кровь и душа языка, так же чиста в английском языке нынешних британцев, как когда-то в языке англов, саксов и ютов на материковом берегу Северного моря (Мюллер 1862, 72, цит. по: Морпурго-Дейвис 1996, 273).

Для лингвистов-натуралистов<sup>3</sup> сама идея контакта между языками, идея сходств, приобретенных вследствие географической близости,

<sup>3</sup> О натуралистической лингвистике во Франции см.: Деме 1996.

или *гибридизации*, бессмысленна и даже чудовищна: смешанный язык являет собой нечто ужасное. Если рассматривать языки как живые организмы, они с необходимостью оказываются непроницаемыми друг для друга. Отрицание смешанных языков (или, точнее — смешанных грамматик), казалось, было гарантией значимости образа ветвящегося дерева как модели языкового изменения. Модель Шлейхера не допускает ни заражения, ни диффузии, что в свою очередь должно подтверждать ценность реконструкций, основанных на этой модели. Более того: для Шлейхера и тех, кто придерживался тех же взглядов, труд лингвиста заключается в реконструкции праязыка через сопоставление нескольких генеалогически родственных языков. Однако оказалось, что если сравнивать только языки со сходными структурами, такая реконструкция становится невозможной. И здесь возникает проблема оценки: факты сходства известны, однако при таком масштабном сопоставлении они попросту не учитываются, так как *не способны доказать свое родство*:

Лексическая гармония между языками без грамматической гармонии ничего не доказывает. Язык вполне может заимствовать множество слов, не изменив своей жизненной сущности; английский язык, несмотря на огромное количество заимствованных им кельтских и романских слов, остается языком в целом германским (...) Характер языка определяется столь глубинными и мощными отношениями, что заимствованные слова подчиняются ему, не оказывая сопротивления. Короче говоря, смешанного языка не существует, как не существует смешанного организма; всякое органическое существо представляет собой энергетическое единство, самозамкнутое, со своими границами и со своим центром (...) Мы видим иногда удивительные фонетические сходства между языками, принадлежащими к отдаленным группам. Среди особенностей санскрита — звуки, известные под именем *церебральных*: они существуют и в первобытных идиомах Декана, радикально отличных от санскрита (...) осетинский язык из семейства ирано-индогерманских и редкие языки Кавказа имеют так называемую грузинскую фонетическую систему, свойственную собственно кавказским языкам; ливонский язык, соседствующий со славянскими, имеет почти славянскую фонетическую систему и этим решительно отличается от литовского языка (...) Однако все это ни в коей мере не доказывает родства языков: быть может, их элементы были перенесены из одного языка в другой подобно словам в словаре или же стали сходными в силу необходимости, вследствие общности климата на двух соседних территориях (Шлейхер 1852, 38—40).

На первый взгляд, удивительно, что языковые идиомы не имеют никакого соответствия с человеческими расами, т. е. с различиями в биологическом ор-

ганизме людей (...) Причина этого, я думаю, в том, что климат, пища, окружающая природа и способ жизни человека влияют скорее на его тело, чем на языковую материю. Я видел очень мало случаев, которые можно было бы назвать смешением рас или взаимообменом языков<sup>3</sup> (Там же, 50—51).

Эта эссенциалистская концепция чистоты языков служит для исследователя своего рода фильтром, через который просачиваются лишь то, что считается унаследованными сходствами. Факты были описаны и классифицированы, однако в расчет принимались только одни, а не другие — во всяком случае, не те, что ломали красивую теоретическую постройку. А эта постройка в свою очередь основывалась на постоянно скрытой эпистемологической предпосылке: имеют значение только те сходства, которые можно объяснить общностью происхождения, все остальное не заслуживает внимания. Так и для биологии феномен двойников, обусловленного случайностью, а не родством, чужд и неинтересен. Тем самым мы видим, что под влиянием определенных представлений о языке исследователи иногда становились *слепыми*, т. е. попросту не способными видеть некоторые факты.

У Шлейхера были подражатели и последователи во Франции, где целая школа лингвистов-натуралистов работала на окраине «официальной» лингвистики, представленной Парижским Лингвистическим Обществом (основано в 1866 году). Они тоже подчеркивали закономерность развития языка, величественно равнодушного к условностям своего пространственного распространения. Согласно Абею Овлаку (1843—1896), пересекая азиатский континент с северо-запада на юго-восток, мы убеждаемся в том, что территориальное распределение языков не соответствует ни родственным связям между языками, ни морфологическим аналогиям между ними:

Нет, ни в коем случае нельзя строить классификацию языков на основе одного лишь их географического распределения. Неоднократно в истории это географическое распределение нарушалось переселением народов, завоеваниями, подчинением менее сильного языка более сильному (Овлак 1878, 47—48; цит. по: Деме 1996, 242).

Органицистская модель в лингвистике соответствует *эссенциалистской* концепции, распространенной в биологии XIX века: согласно этой

---

<sup>3</sup> Шлейхер здесь ссылается на работу Притчарда (Pritchard, «Histoire du genre humain». 1. 3, 423), не указывая дату издания.

концепции, каждый вид имеет свою неизменную сущность, а между видами царит радикальная прерывность. Эта концепция, ставшая основой фиксизма в биологии, вовсе не исключает эволюционизма, если только он учитывает способность к скачкам (*saltationnisme*): между языками не существует постепенного перехода, между ними — резкие разрывы, вроде разрыва между поколениями. Так, для Шлейхера каждый язык в какой-то момент решительно отходит от общего ствола: например, между латинским и французским нет промежуточных звеньев, а есть лишь резкое качественное изменение.

### *Позитивизм*

В конце XIX века от органицистской метафоры отказались, а позитивистская идеология продолжала оспариваться в ситуации все более острого кризиса, связанного с постепенным крушением ее очевидностей. Почти до самого начала Первой мировой войны лингвистика безусловно находилась под влиянием младограмматического подхода<sup>4</sup>. Младограмматики применяли к языковым явлениям модели естественных наук. Они считали, что лингвистика должна изучать факты эволюции на материале различных языков. Позитивистские убеждения заставляли их искать законы в фонетических изменениях. В отличие от Шлейхера они не занимались ни реконструкцией праязыка, ни типологиями и классификациями, но стремились найти строгий метод для изучения как древних, так и современных языков и диалектов. Так, следуя — явно или неявно — униформистской модели, распространенной в то время в геологии<sup>5</sup>, они считали, что в ходе языковой эволюции одни звуки преобразуются в другие, подчиняясь столь же строгим законам, как и законы физики, химии и биологии, что на всех этапах эволюции языка действуют одни и те же движущие силы, одни и те же причины. Младограмматики сводили все множество языковых фактов к строгому единообразию — посредством формул, похожих на

---

<sup>4</sup> Младограмматический принцип абсолютных фонетических законов с предельной четкостью сформулировал Август Лескин в работе «Склонение в славянолитовском и в германском», он звучит так: «Звуковые законы не знают исключений» (*Die Lautgesetze wirken ausnahmslos*) (Лескин 1876, введение, XXVIII).

<sup>5</sup> Об униформизме в лингвистике ср.: Уэллс 1973; Кристи 1983; Науман и др. 1992.

физические законы. Подобно тому как человек не может избежать действия законов природы, так и язык не может противостоять законам эволюции. Сообразуясь с неумолимыми законами природы, язык эволюционирует независимо от человеческой воли, причем в его развитии нет ничего беспорядочного и случайного: в нем все объяснимо. Для младограмматиков любое уклонение от действия законов могло объясняться *аналогией*, основанной на психологических ассоциациях: именно она «отклоняет в сторону строгую траекторию фонетического закона»<sup>6</sup>. Методология младограмматиков, основанная на эмпирическом поиске и накоплении *фактов*, была по сути своей индуктивистской.

В лингвистике, как и в других области науки, этот подход — одновременно и позитивистский и натуралистский — столкнулся с традиционной на рубеже веков реакцией против позитивизма, которая проявилась, например, в философском устремлении ко всему нематериальному (во Франции А. Бергсон (1859—1941), а в Италии Б. Кроче (1866—1952) с его идеалистической школой). Все эти направления отвергали строгий метод позитивистов, для которых человек — это существо подчиненное, поработщенное строгими, механистическими и неизменными законами природы. Все они заявляли о несовместимости свободы человека, способного к творчеству, с неизменными законами. Однако в нашей области о глубоком кризисе позитивизма свидетельствовала опять-таки именно *проблема грани*.

Любопытно, что позитивизм в лингвистике был подорван *шоком столкновения с реальностью*: он был привержен фактам и стремился установить законы, которым подчиняются эти факты. Однако область применения этих законов была далеко не ясна. Если то, что относилось к одному языку, не относилось к другому, из этого делался вполне разумный вывод, что закон действует лишь в пределах одного языка. Позитивизм, не допускавший ничего незавершенного и неточного, нуждался в надежных критериях разграничения. Однако по мере развертывания исследований и накопления фактов законы стали расчленяться, раздробляться, растворяться... При этом область их применения сужалась — от языка к диалекту, от долгого периода к более короткому, от обширной территории к более узкой. Однако по-прежнему

---

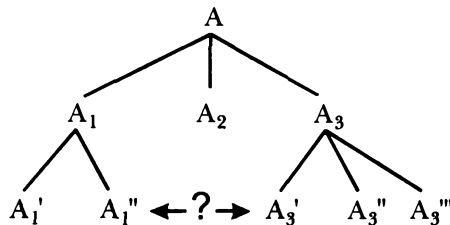
<sup>6</sup> В. Анри: цит. без указания источника в: Доза 1906; ср. антологию под ред. Норман и др. 1978, 28.



му исследователи стремились определить эти *пределы* применимости, сколь бы тесными они ни были во времени и в пространстве.

По сути, младограмматическая догма «законов, не знающих исключения», держалась лишь ценой выдумки — понятия территориального диалекта в противопоставлении социальному диалекту. У этой догмы было свое ограничение: «Исторический фонетический закон не знает исключений в *границах* одного диалекта или одного периода», однако это лишь чуть-чуть сдвигало глубинный вопрос: так каковы же границы этого диалекта или периода? Мы постоянно опираемся на то, что еще только нужно отыскать, а наше исследование напоминает уравнение с двумя неизвестными.

В отличие от Шлейхера младограмматики допускали прерывность в развитии языков во времени, однако они по-прежнему отказывались видеть прерывность в пространстве: мысль о распространении через заимствование была им совершенно чужда. Они следовали строгому эволюционизму, используя биологическую модель той эпохи: по вертикали все открыто (человек происходит от обезьяны, и между ними нет четкой границы), но по горизонтали все замкнуто, разделившиеся виды уже никогда более не могут слиться или смешаться (доказательством этому служит бесплодие гибридов)<sup>7</sup>. В основе образа ветвящегося дерева, который использовали как младограмматики, так и их предшественники-натуралисты, лежит модель, взятая из наук о живой природе:



Таким образом, мы получаем круговое рассуждение: если  $A_1$  и  $A_3$  имеют сходства или общие элементы, то они вместе с тем считаются

<sup>7</sup> В этом вполне можно видеть древнюю досократическую формулу: «Лишь подобное воспринимает подобное»: это значит, что лишь родственники могут обладать сходством, а о сходстве между неродственниками и говорить нечего.

доказательствами *общего происхождения* из А (сходства могут быть лишь унаследованными). Однако в свою очередь существование общего первоначала А (праязыка) доказывается лишь наличием сходств между возможными побегами  $A'_1, A''_1, \dots, A'''_3$ . В любом случае модель наук о жизни не позволяет искать сходства между языками, пространственно смежными, но генеалогически далекими ( $A''_1—A'_3$ ), не говоря уже о сходствах между неродственными языками, что для младограмматиков — чистый абсурд! Эта слепота к фактам географического соседства в силу полубессознательной приверженности к биологической модели продлится долгое время и станет основой сопротивления «пространственному фактору» в межвоенный период. Мы видим все это, например, у А. Мейе (1866—1936), неоспоримого главы французского языкознания в межвоенный период и достойного преемника младограмматиков:

Г-н Кребер настаивает на важности учета географического соседства языков. Конечно, чаще всего случается так, что родственные языки занимают смежные или по крайней мере соседние области. Однако отвлекшись от этих простых фактов, следует признать, что смежность для лингвистического доказательства родства языков — это скорее неудобство, нежели помощь: соседние языки — это те языки, которые подверглись одним и тем же влияниям, которые заимствовали нечто друг у друга или же у других языков. Соседство языков требует весьма тонкого отделения заимствованных элементов от древней основы языка, которая только и может быть доказательством языкового родства. Напротив, предельная отдаленность в пространстве не помешала лингвистам показать, что языки Мадагаскара, Борнео, Явы или Филиппин являются потомками одного и того же древнего языка (Мейе 1926б, 92).

### Невозможная замкнутость

Позиция младограмматиков уже не выдерживала критики. Даже признавая, что фонетические законы не действуют во все времена и во всех местах, что каждый закон явным образом *ограничен* областью одного конкретного языка, одного определенного периода, младограмматики тем не менее утверждали, что закон можно назвать законом, только если он применим ко всем языковым фактам данного периода, недоступен контролю индивида и действует помимо его воли.

Первые резкие выпады против младограмматизма прозвучали внутри самой этой теории. Младограмматическая модель предполагает, что языки развиваются путем различения, дивергенции, подобно

ветвящемуся дереву. Однако, как мы уже видели, *генеалогическое древо* исключает взаимодействие между уже отделившимися друг от друга языками: они живут своей жизнью, считают общие элементы наследием общих предков, а границы между языками и между языковыми семьями остаются непроницаемыми. Однако проблема *сходств* между языками и диалектами нередко (хотя и неосознанно) замыкала исследователей в порочный круг: два языка родственны потому, что они имеют общие черты, однако сам вопрос об общих чертах встает лишь в том случае, если языки считаются родственными. Сходства, возможные между неродственными языками, считаются случайными и не заслуживающими внимания. Тем самым органическая метафора оказывается не просто риторической аналогией, но средством познания: ее основоположный статус позволяет ей *фильтровать* явления, отбирая или же отвергая те или иные вопросы в зависимости от того, считаются ли они научно значимыми.

Постепенно набралось немало маргинальных или *пограничных объектов*, которые с трудом вписывались в теорию. Ряд открытий, сделанных в XIX веке, всерьез поставили под вопрос мысль о непроницаемости границ между языками. Это относилось, например, к границам между армянским и албанским: для языкознания они суть то же, что панда в зоологии, а именно — редкая птица... Так, с конца 1830-х годов было замечено, что армянский язык, будучи полноправным членом индоевропейской языковой семьи, обнаруживает удивительные сходства или «сродственности»<sup>8</sup> с такими неродственными, но территориально близкими языками, как грузинский. В 1846 году Виндишман («Место армянского языка в арийском лингвистическом наследии») подтвердил, что армянский язык принадлежит к индоевропейским языкам, уточнив, что речь идет об их иранской ветви<sup>9</sup>. Однако многочисленные факты противоречили такому выведению, во всяком случае — напрямую. Так, может быть, дело идет не столько об отдельной ветви, сколько о некоем промежуточном звене? Но как тогда согласовать эту мысль о промежуточном звене с законом генетического родства?

---

<sup>8</sup> Здесь мы сохраняем термин «сродство» в смысле «сходство». Дискуссию об эпистемологическом статусе этого термина см. в гл. VI.

<sup>9</sup> Ср. Ничачан 1989, 45—47.

В 1875 году Генрих Хюбшман высказал соображения о том, что иранские элементы армянского языка — это заимствования, что флексии и фонетика армянского языка позволяют видеть в нем *промежуточное звено* между иранской и балто-славянской языковыми группами («О положении армянского языка среди индоевропейских языков»). Опираясь на материал армянского языка для опровержения метафоры генеалогического древа и прибегая к метафоре «волн», Хюбшман утверждал, что армянский язык — это не ветвь среди ветвей, а звено в цепи, связывающей иранские языки с балто-славянскими<sup>10</sup>. Подобно этому удивительные сходства обнаружались между грузинским и баскским языками. В целом же лингвистическая ситуация на Кавказе, среди этих языковых гор<sup>11</sup>, была благодатнейшей почвой для экспериментов<sup>12</sup>.

Также и албанский язык, если использовать выражения младограмматиков, не «вышел» из латинского, но оказался настолько насыщен словами латинского происхождения, что не зная его истории, его можно было принять за латинский. Как объяснить это *неунаследованное* сходство? Быть может, языки не являются четко обособленными объектами, замкнутыми в своих временных и пространственных границах?

Некоторые лингвисты пришли в этом вопросе к крайней позиции, исключаящей какую-либо работу внутри генетически определенного семейства на том основании, что чистых языков и однородных языковых семейств вообще не бывает. Это — идея *необходимого смешения* всех языков мира (миксоглоссия). При этом пробивало себе дорогу и понятие гибридации. Можно вспомнить главную работу Г. Шухардта о смешении языков<sup>13</sup>, где он предлагал такие термины, как «смешанный язык», «смешение языков», «скрещение языков» (*Mischsprache, Sprachmischung, Sprachkreuzung*<sup>14</sup>). Шухардт взял высказывание Макса Мюл-

<sup>10</sup> Ср. Самуэльян 1981, 146—147.

<sup>11</sup> «Языковая гора» это, собственно говоря, гора Арарат. Однако метонимически так называют и Кавказ в целом.

<sup>12</sup> Отметим, что Марр между 1911 и 1919 годами многократно высказывал сомнения относительно «чистоты армянского как индоевропейского языка». См. Мещанинов 1929, 24.

<sup>13</sup> О смешении языков (*Sprachmischung*) у Шухардта см.: Шухардт 1922, 128—141.

<sup>14</sup> Шухардт не пользовался термином «сродство», потому что не видел различия между приобретенным сродством и генетическим родством: для него все языки — смешанные.

лера («смешанных языков не бывает») и перевернул его: «абсолютно несмешанных языков не бывает»<sup>15</sup>. Начиная с 1884 года («Славяно-немецкий и славяно-итальянский») он заявлял: «не бывает совершенно чистого языка». Эта мысль была подхвачена, без указания источника, Бодуэном де Куртенэ в работе «О смешанном характере всех языков»<sup>16</sup>. В том же году в своей «Сравнительной грамматике славянских языков» он говорил о возможности сопоставления «двух или нескольких даже разнородных по своему первоначальному историческому источнику языковых областей, в которых вследствие их территориальной близости замечаются сходные языковые явления»<sup>17</sup>. В этой связи можно упомянуть Ваккернагеля (Ваккернагель 1904), а также Л. В. Щербу (Щерба 1925). Сходства между заглавиями всех этих работ показывают, насколько это понятие «носилося в воздухе» в первой четверти XX века.

Таким образом, сходства могли перескакивать через генетические барьеры: граница становилась пористой. Модели, основанные на идее прерывности, не могли учесть все эти явления.

Открытие сходства между генеалогически не родственными, но географически смежными языками убеждало в том, что сходства объясняются не только генетическим родством. Так, некоторые исследователи начинали допускать смешанное происхождение языков, усомнившись в романтической идее их чистоты. Проблема проницаемых границ и зыбких рубежей специально рассматривалась Шухардтом<sup>18</sup>, для которого сам факт языкового смешения доказывает, что язык — это не организм. Шухардт, в частности, изучал те «пограничные ситуации», в которых оказались славяно-итальянские и славяно-германские говоры. Бодуэн де Куртенэ, который на месте изучал те же самые объекты, что и Шухардт (например, словенский диалект из Резьянской долины в Италии), считал, что все языки необходимо являются смешанными<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Там же, 131.

<sup>16</sup> Бодуэн де Куртенэ 1901 (цит. по: Бодуэн де Куртенэ 1963, 31).

<sup>17</sup> Бодуэн де Куртенэ 1901 [1963. Т. 2, 31]. В этом же отрывке он говорит о сходствах не между родственными, но между географически близкими языками, такими, как армянский и кавказские языки, латышский и эстонский, а также языки Балканского полуострова.

<sup>18</sup> Шухардт 1885.

<sup>19</sup> Бодуэн де Куртенэ 1901.

Однако эту мысль разделяли далеко не все. В частности, А. Мейе<sup>20</sup> не допускал смешанного происхождения языка: признавая заимствования, он считал, что язык не может иметь несколько первоначал. Он не мог принять мысль о подлинном смешении: язык должен остаться по сути своей одним и тем же даже при наличии заимствований. И здесь предметом его размышлений стал армянский язык, приведший исследователя к выводам, близким Хюбшману: армянский язык — индоевропейский, но с парфянскими заимствованиями. Эта позиция Мейе представляет собой лишь прилаженный к конкретному случаю вариант генеалогического подхода<sup>21</sup>.

И, наконец, нельзя не вспомнить, выйдя за рамки нашего межвоенного периода, что такой же была и позиция И. Сталина, который во время «дискуссии 1950-х годов» в советском языкознании яростно критиковал позицию Марра по вопросу о гибридизации и «скрещении языков»<sup>22</sup> и защищал мысль о том, что во время контакта между языками один из них непременно «выходит победителем». В своих контактах с другими языками «русский язык... выходил всегда победителем», сохраняя свою чистоту<sup>23</sup>.

Совершенно неправильно было бы думать, что в результате скрещивания, скажем, двух языков, получается новый, третий язык, не похожий ни на один из скрещенных языков и качественно отличающийся от каждого из них. На самом деле при скрещивании один из языков обычно выходит победителем, сохраняет свой грамматический строй, сохраняет свой словарный фонд и продолжает развиваться по внутренним законам своего развития, а другой язык теряет постепенно свое качество и постепенно отмирает.

Следовательно, скрещивание дает не какой-то новый, а сохраняет один из языков, сохраняет его грамматический строй и основной словарный фонд и дает ему возможность развиваться по внутренним законам своего развития.

Правда, при этом происходит некоторое обогащение словарного состава победившего языка за счет побежденного языка, но это не ослабляет, а, наоборот, усиливает его.

Так было, например, с русским языком, с которым скрещивались в ходе исторического развития языка ряда других народов и который выходил всегда победителем.

---

<sup>20</sup> Мейе 19266.

<sup>21</sup> Ср. Мейе 1903.

<sup>22</sup> Ср. гл. V.

<sup>23</sup> В этом тексте Сталин также выдвигает на первый план понятие «зонального языка»: оно очень близко евразийской системе понятий.

Конечно, словарный состав русского языка пополнялся при этом за счет словарного состава других языков, но это не только не ослабило, а, наоборот, обогатило и усилило русский язык.

Что касается национальной самобытности русского языка, то она не испытала ни малейшего ущерба, ибо, сохранив свой грамматический строй и основной словарный фонд, русский язык продолжал продвигаться вперед и совершенствоваться по внутренним законам своего развития.

Не может быть сомнения, что теория скрещивания не может дать чего-либо серьезного советскому языковедению. Если верно, что главной задачей языковедения является изучение внутренних законов развития языка, то нужно признать, что теория скрещивания не только не решает этой задачи, но даже не ставит ее — она просто не замечает или не понимает ее (Сталин 1950, 142—143).

Этот текст заслуживает внимательного прочтения и проработки. С одной стороны, мы находим в нем темы, чрезвычайно близкие к темам Мейе: язык остается тождественным самому себе, скрещение языков невозможно, язык не может иметь двойного первоначала. С другой стороны, языки имеют «внутренние законы развития» (этим выражением часто пользовался Грубецкой). Отметим здесь и чисто органицистскую, или даже энергетистскую, терминологию: в самом деле, языковые контакты могут *ослабить*, *усилить* или *обогащить* языки, находящиеся в контакте, эти языки могут (или должны?) *продвигаться вперед* и даже *совершенствоваться*. Единственное новшество, внесенное Сталиным, — это сдвоенное понятие «победивший язык» / «побежденный язык», предполагавшее военные действия: оно отсутствует как у Мейе, так и у Грубецкого. Однако эти три персонажа — при всех основоположных различиях между ними — тяготеют к одному и тому же полюсу противопоставления. Все трое отвергали понятие гибридации, все трое, каждый по-своему, работали над восстановлением младограмматической парадигмы, находящейся в состоянии кризиса с 1880-х годов: отзвуки этого кризиса все еще были слышны в СССР 1950-х годов.

*Й. Шмидт: языки как круги на воде*

Одним из наиболее важных эпизодов в оспаривании младограмматических установок (замкнутость языков и диалектов) была книга Й. Шмидта<sup>24</sup>, опубликованная в 1872 году под заглавием «Теория волн» (Wellentheorie): в ней предлагалась совершенно иная метафора

---

<sup>24</sup> Йоганн Шмидт (Johannes Schmidt, 1843—1901) был учеником Шлейхера.

языковых изменений. Для Шмидта индоевропейские языки — это не ветви, отходящие от древесного ствола, но скорее цепь, составленная из отдельных звеньев, — без начала и конца, без центра и периферии. Вопреки метафоре генеалогического древа, инновации в языке, лишь по видимости отдельном и обособленном, могут распространяться и передаваться соседним языкам, подобно кругам, расходящимся по поверхности воды, если в нее бросить камень. Волна, незаметно расходящаяся все более широкими кругами, не имеет *никакой границы*. По Шмидту географически близкие языки *с необходимостью* имеют больше сходств, чем языки, имеющие общие черты, но отдаленные в пространстве: на самом деле, даже и разъединившись, языки продолжают влиять друг на друга. Именно поэтому он и считал, например, славянские языки связующим звеном между индоиранскими языками, с одной стороны, и германскими — с другой. Их положение в пространстве одновременно и отображает, и объясняет их внутренние особенности: чтобы понять, почему славянские языки имеют больше общего с санскритом, чем германские, достаточно взглянуть на карту и увидеть, что они к нему территориально ближе. Шмидт работал с понятиями *посредника* и *перехода*, отказываясь от постулата о замкнутости языков как объектов изучения. Таким образом, он предложил классификацию языков, основанную на их географическом распределении.

Теория волн безусловно связана с появлением диффузионизма в антропологии и отказом от линейной модели эволюционизма. Однако это лишь поверхностная проблематизация шлейхеровского подхода: ведь Шмидт учитывал сходства между соседними языками лишь при условии их родства. Иначе говоря, языковая замкнутость не сломана, но лишь поколеблена и перенесена на другой уровень — языковых семейств. А метафора жизни по-прежнему жива и здорова.

Как бы то ни было, эта серьезная критика генеалогической модели не оказала в тот период сколько-нибудь заметного влияния; ее саму решительно опровергали, так как органицистская мысль в языкознании была еще очень сильна.

*Геолингвистика:*

*каждая черта уникальна, каждому факту — свой закон*

Первая попытка графического изображения языковых фактов в пространстве была сделана в Германии: это «Атлас немецкого языка»



Георга Венкера (1852—1911). В этом атласе (начатом в 1876 году, но никогда не напечатанном целиком) автор стремился на практике подтвердить младограмматический принцип фонетических законов, не знающих исключения.

Однако полученные результаты оказались совершенно неожиданными. Зоны варьирования разных признаков *не совпадали*. Линии, которые позже были названы изоглоссами<sup>25</sup>, имели каждая свою собственную траекторию. И, что еще удивительнее, в разных словах один и тот же признак мог распространяться по-разному. Так, оказалось, что линия, отделяющая [p]/[f] в слове *Apfel/Apple*, не совпадает с разделительной линией между *helfe/helpe*. Усомнившись в своем материале, Венкер сделал уточняющие проверки, расширил область исследования. Однако его открытие подтвердилось: оказалось, что каждое слово, каждый признак, каждый факт имеет свою область распространения, свои собственные границы... Атлас Венкера был задуман в подтверждение теории младограмматиков, но на деле он лишь показал ее абсурдный догматизм: не существует правила без исключения, каждая черта уникальна, а потому не существует и говорящих на «одном» диалекте.

Именно в этот момент невнятицы в романской диалектологии разгорелся громкий и знаменитый спор между итальянским языковедом Г. Асколи (1829—1907) и французскими языковедами Гастоном Пари (1839—1903) и Полем Мейером (1840—1917). В своих «Франко-провансальских этюдах» Асколи (Асколи 1874) впервые использовал термин «франко-провансальский» для характеристики говоров бассейна Роны (Лион, Савойя, северное Дофине, романская Швейцария), разом отделив их как от группы «d'oïl» диалектов, так и от группы «d'oc» диалектов. Романская лингвистика этого периода предпринимала полевые исследования в поисках надежных критериев наличия границ между теми или иными совокупностями диалектов. Пример этого — исследование Бренгье и Туртулоном границы между французским и провансальским (1873—1875)<sup>26</sup>. В своем введении авторы утверждают, что

---

<sup>25</sup> Изоглоссой (по образцу слова «изотерма») называется линия, расчленяющая две области, в которых один признак выступает в разной звуковой форме.

<sup>26</sup> Результаты этого исследования были опубликованы под заглавием «Исследование географической границы между языком d'oc и языком d'oïl» (с приложе-

можно точно определить, по крайней мере на отдельных участках, границу, отделяющую язык «d'ос» от языка «d'oïl»; для науки было бы интересно провести математически выверенную разграничительную линию там, где можно это сделать, указав на те конкретные места, где слияние языков не позволяет классифицировать смешанный промежуточный говор (Бренгье, Туртулон 1876, 6).

Утверждения Асколи столь же противоречили национальным чувствам Поля Мейера, как и исследование Бренгье и Туртулона. В отчете о работе Асколи во вновь созданном журнале *Romania* П. Мейер написал в следующем, 1875 году, что его собственное полевое исследование не допускает диалектов с жесткой границей, равно как и существование «франко-провансальского», который не обладает географическим единством и был выведен на основе анализа письменных свидетельств<sup>27</sup>.

Диалект есть скорее искусственное, нежели естественное образование; любое определение диалекта — это определение имени, а не предмета. Так как природа диалекта неопределенна, то нельзя строго вычленить и группы диалектов — скажем, франко-провансальскую (Мейер 1875, 294).

По-видимому, никакая группа диалектов — независимо от того, как она сложилась, — не образует естественной семьи: ведь диалект в его родовом определении есть лишь произвольное порождение нашего ума (...) наилучший путь к выявлению истинного многообразия романского языка не в том, чтобы очертить границы того или иного языкового факта, но в том, чтобы определить, на какой территории господствует тот или иной факт (Там же, 296).

В 1895 году он вновь вступает в спор:

Изобразив на карте области распространения этих явлений, мы не можем — не закрывая глаз на очевидное — не признать, что традиционное разделение романского языка Галлии на два языка, язык d'ос и язык d'oïl, чисто произвольно. Оно явно основывается только на рассмотрении гласных; если бы взяли за основу согласные, границу языка d'oïl нужно было бы отнести дальше к югу (Там же, 575).

Так и Гастон Пари подчеркивает непрерывность «огромного ковра» диалектов на французской территории:

---

нием карты), проведенное Ш. де Туртулоном и О. Бренгье, постоянными членами Общества по изучению романских языков; Первый Доклад министру народного образования, религиозных верований (cultes) и изящных искусств (Archives des Missions scientifiques et littéraires. 3<sup>e</sup> série. Т. 3. Paris: Impr. nationale, 1876).

<sup>27</sup> Мейер 1875, 296.

Не существует естественной границы, отделяющей север Франции от юга Франции; на всем протяжении национальной территории народные говоры образуют огромный ковер, цвета которого разнообразны и повсюду зависят от оттенков, незаметно переходящих друг в друга (Пари 1905, 434).

В своем докладе «Французские говоры», произнесенном в 1888 году на Собрании Научных Обществ, Г. Пари задал тон весьма распространенной среди французских диалектологов позиции, основанной на идее непрерывных переходов между языками:

Существуют лишь отдельные языковые признаки, которые соответственно образуют разные сочетания, так что языковой говор данного места имеет определенное число признаков, объединяющих его с каждым из соседних говоров со всех четырех сторон, равно как и определенное число признаков, отличающих данный говор от его ближайших соседей. Тем самым каждый языковой признак имеет определенную протяженность и определенные границы, однако эти границы лишь изредка совпадают с границами распространения другого (или других) признаков; вопреки кажимости эти границы тем более не совпадают с политическими границами — древними или современными (тогда как с естественными границами, такими как горы, большие реки, необитаемые пространства, дело в известной мере обстоит иначе) (...)

Сельский житель, который владеет лишь местным говором родной деревни, легко поймет говор соседней деревни, с некоторым трудом — говор той деревни, которая встретится ему на пути при движении в одну сторону, и так далее — вплоть до того места, где ему будет очень трудно понять местный говор. Если вокруг некоего центра представить себе длинные цепочки говорящих, каждый из которых понимает говор своего соседа справа и слева, то Франция предстанет как звезда, лучи которой можно будет связать непрерывными поперечными цепочками. Это несложное наблюдение, проверка которого доступна каждому, чрезвычайно важно; оно позволило моему коллеге и другу г-ну Полю Мейеру сформулировать закон, который по видимости имеет лишь отрицательный смысл, а на деле чрезвычайно плодотворен и должен обновить все ныне существующие методы диалектологии; суть этого закона такова: в гуще языковых явлений общего происхождения собственно диалектов не наблюдается, существуют лишь отдельные языковые признаки, которые соответственно образуют разные сочетания (Пари 1888, 13).

Однако это утверждение диалектной непрерывности как во времени<sup>28</sup>, так и в пространстве не ставит под вопрос понятие семьи родств-

---

<sup>28</sup> С исторической точки зрения для Г. Пари не существует «дочерних языков», но лишь протяженное и непрерывное развитие языка во времени: «Мы говорим на латинском языке», упорно твердил он. Так же считал и Мейе.

венных языков: прерывность существует, но на более высоком уровне, на внешних границах совокупности диалектов, которая позднее будет названа *диасистемой*.

Во Франции именно «Языковой атлас Франции» (1902—1910), составленный Ж. Жильероном и Э. Эдмоном, более всего содействовал распространению идеи, согласно которой каждый языковой факт уникален и следовательно диалектов как замкнутых, четко очерченных сущностей *не существует*: для авторов атласа диалекты вообще не являются исчислимыми объектами. Особенность этого атласа в том, что главное внимание в нем уделяется не звукам, а словам и их уникальному распространению.

Такое атомистическое видение языковых фактов мы видим не только во Франции; в Италии группа исследователей, которые в 1980-х годах называли себя «неолингвистами», резко противопоставляя свою позицию младограмматическому представлению о диалектах и языках как «реальных» сущностях, еще резче подчеркивали непрерывность соотношений между языком и территорией. В своей обобщающей статье, опубликованной после Второй мировой войны, но написанной задолго до этого, Дж. Бонфанте утверждает:

Любой лингвистический атлас показывает: единства не существует, имеется лишь огромное количество диалектов, изоглосс, переходов, разного рода колебаний, целое море конфликтующих сил и противоречивых движений (Бонфанте 1947, 8).

Эта защита взгляда на язык как на бесконечное множество распыленных фактов свидетельствовала о типично номиналистическом подходе, сильная сторона которого заключалась в разрушении крайних «реалистических» построений младограмматиков, в показе их произвольности. Однако эта позиция не могла противостоять позитивистскому культу «факта»: напротив, она лишь укрепила его. Если вокруг мы видим лишь распыленные факты, то это мешает работе систематизации. П. Мейер и Г. Пари действительно считали французскую территорию непрерывной мозаикой, но не означает ли это, что они тем самым воздвигали еще более мощный барьер — только уже на границах галлороманской области?

*Ж. Ансель: географ, заинтересованный лингвистикой*

Жак Ансель имел так много неприятностей во время нацистской оккупации Франции именно потому, что он отказывался обосновывать географические и политические сущности натуралистическими рассу-

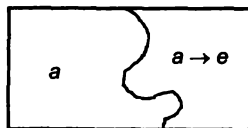
ждениями, якобы основанными на прямом наблюдении границ между диалектами. Он боролся против «глоссомехии»<sup>29</sup>, против политического использования карт распространения диалектов (например, присоединение ирредентистских территорий), против «картографического предрассудка, против человеческой картомании»<sup>30</sup>. Он подчеркивал, что языковая граница между Германией и Польшей «проведена нечетко, имеет волнообразные очертания»<sup>31</sup> и никоим образом не может быть основанием для установления политической границы. Это рассуждение стало лейтмотивом его книги о Балканах (1930):

В наши дни имеется тенденция моделировать языки по нации: каждая нация, освободившаяся от Турецкой империи, притязает на собственный язык цивилизации. Нам известно в общем распределение важнейших языков цивилизации. Однако государство имеет свои четкие границы. Мы хотим знать, совпадают ли они с языковыми границами. И вообще—существуют ли эти языковые границы. Если доверять картам, составленным местными учеными, то балканские языки распространены в четко ограниченных областях. Беда, однако, в том, что эти границы меняются в зависимости от национальности географа. Во время Парижского конгресса, который предшествовал заключению последних договоров, появилась масса таких работ: несмотря на их научный вид, все это—произведения национальной пропаганды; сравнение карт, составленных греками, болгарами, сербами, румынами, итальянцами, венграми, повергает нас в скептицизм. Жестко определить границы разговорного языка невозможно (Ансель 1930, 89—91).

*Попытка компромисса: понятие «приблизительного совпадения»*

Фердинанд де Соссюр кладет в основу тот же тезис, что и геолингвистическая школа Жильерона: каждый факт имеет свою собственную изоглоссу.

Если, например, на части территории произошел переход А в Е:

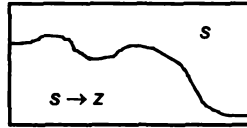


то может случиться, что переход S в Z произойдет на той же территории, но в иных границах:

<sup>29</sup> Ансель 1939, 109.

<sup>30</sup> Там же, 184.

<sup>31</sup> Там же, 64.

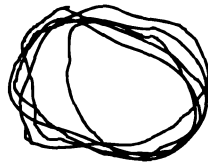


Наличием этих особых зон распространения того или другого явления и объясняется ранообразие говоров на территории распространения данного языка, предоставленному своему естественному развитию. Зоны распространения того или другого из этих изменений предвидеть нельзя; ничто не позволяет заранее определить размеры этих зон; можно только констатировать их наличие. Накладываясь одна на другую на карте, где их границы перекрещиваются, они являют чрезвычайно сложные комбинации. Их очертания порой кажутся весьма причудливыми (Соссюр 1977, 236).

В тот же самый период, хотя и немного позже, Ж. Вандриес подхватывает это понятие несовпадения границ:

...язык одной деревни заметно отличается от языка соседней. Описание каждого из них обнаружит особенности фонетические, грамматические, равно и лексические. Но редко случается, чтобы особенности языка одной деревни не захватывали и других соседних деревень. Однако, если мы будем брать каждую из особенностей порознь, границы взятых особенностей почти никогда не совпадут. Так, например, в пяти или шести из десяти обследованных деревень произносят «а» там, где в соседних деревнях произносят «е», или же «о» там, где другие произносят «и». Но границы района произношения «а» и «е» не совпадают с границами района произношения «о» и «и». Районы, где существуют эти два перехода звуков, не совпадут, т. е. области распространения фонетических особенностей распределены по-разному (Вандриес 1923 [1937], 228).

Однако именно Соссюр первым выдвинул на передний план понятие *приблизительного совпадения* в качестве компромиссного решения: «Когда таких совпадений оказывается достаточно много, уже можно говорить о диалекте в первом приближении»<sup>3а</sup>. Этот текст сопровождается таким наброском:



<sup>3а</sup> Соссюр 1977, 239.

Итальянские неолингвисты подхватили эту мысль, не ссылаясь на Соссюра: для них язык — это *пучок изоглосс*, а в точке наименее плотного пересечения изоглосс находится центр.

Мало-помалу в рассуждения внедрялся критерий меры и степени: используя более крупный или более мелкий масштаб, мы оказываемся более или менее чувствительными либо к наличию целого пучка признаков, либо к несовпадению, отсутствию взаимоналожения изоглосс.

В итоге можно сказать, что геоллингвистика не перевернула иерархическое отношение между временем и пространством, но сумела добавить к нему еще одно измерение. Точнее, как неоднократно замечает Жильерон, пространство есть зеркало времени или ключ к пониманию временной эволюции: когда мы читаем карту, мы можем «видеть» эволюцию.

### Синтез или возврат к старому? Теория взаимоналожения

Многие лингвисты не соглашались с тем, что диалекты — это чисто произвольные конструкции. Вскоре в Европе возникла реакция против номиналистического подхода.

#### В Германии: Т. Фрингс

В Германии межвоенного периода школа Т. Фрингса искала соответствий между административными, религиозными, политическими границами, с одной стороны, и границами диалектов — с другой, причем Фрингс считал, что эти соответствия имеют *причинный* характер. По Фрингсу, именно неязыковые границы решающим образом влияют на экспансию лингвистических фактов<sup>33</sup>. Так, определенная область распространения диалекта (*Sprachlandschaft*) предполагает «излучение» из административного центра (*Kernlandschaft*), которое вытесняет на окраину (*Saumlandschaft*) более древние языковые факты. Эта концепция отвергает старый натуралистический взгляд на диалекты: диалектные образования объясняются административными причинами (ср. трирский, кельнский *Sprachlandschaft*).

Фрингс считал, что обычай заключать браки между членами одной и той же политической единицы приводит к языковому однообразию.

<sup>33</sup> Фрингс 1928, 83.

Менее чем за 50 лет проведение новой границы приводит к языковой дифференциации, а изоглоссы, совпадающие с политической границей, обычно сохраняются в течение долгих веков, изменяясь лишь в мелочах. Напротив, изоглоссы соответствуют географическим границам, лишь если они одновременно являются (или ранее являлись) и политическими границами. Именно поэтому в 40 километрах к востоку от Рейна обнаруживается большой пучок изоглосс, отделяющих нижненемецкий от верхненемецкого. Фрингс стремится найти ковариантность или параллелизм в варьировании других культурных и языковых фактов. Так, наличие изоглоссы *helpe* vs. *helfe*, *lucht* vs. *luft* в Германии соответствует не только границе между рипуарскими и мозельско-франконскими диалектами. Фрингс обнаруживает ряд ковариаций, соответствующих кельнской и трирской областям, разделяемым цепью Эйфеля. Так, на оппозицию *kend* vs. *kenk* (ребенок), *haus* vs. *hus* (дом), *grumper* vs. *erpel* (картофель) и др. накладываются другие оппозиции: «коса с длинным косовищем» vs. «коса с коротким косовищем», «серый хлеб овальной формы» vs. «черный хлеб прямоугольной формы», «святой Квирин как покровитель скота» vs. «святой Квирин как покровитель лошадей» и др.

В школе Фрингса ковариантность между диалектными и внешними фактами получает причинное объяснение: такими причинами могут быть распространение данного языкового явления из административного центра (образец для подражания), цепи гор как препятствие для экономических обменов и общения людей<sup>34</sup>.

### Во Франции

Споры возобновляются и во Франции, где сосюрское понятие «приближенности» лишь немного их приглушает. Страсти бушуют вокруг главного вопроса: расколота ли Франция надвое языковым барьером? Огюст Брён поддерживает идею разрыва, некогда высказанную Бренгье и Туртулоном:

Наш ответ Гастону Пари таков. Стену, которая разделяет Францию надвое, мы физически уже не видим, но она существовала, и долго существовала, воздвигнутая природой и временем, причем не ближними к нам веками, а той предысторией, которую в безмолвии вырабатывало человечество. Письменные

<sup>34</sup> См.: Дюбуа и др. 1973, 233.



документы безмолвствуют, однако сам след существует — в диалектах, в системах права, в цвете волос, в цвете глаз, в способах ведения сельского хозяйства. Его наличие отмечают географ, этнолог, юрист. Еще раз напомним, чтобы снять возражения: из-за всевозможных искривлений, отклонений, непересекающихся точек эти следы у этнолога и языковеда не совпадут. Важно лишь само наличие общего направления — с запада на восток, но никогда не с севера на юг: след тянется поперечно (а не вдоль) или же по диагонали. Различия в деталях можно будет когда-нибудь объяснить в результате исследований на местности — неторопливых, дотошных и всесторонних: изучая каждую отдельную область, мы сможем подниматься вверх по течению времени, как это делалось в нашем исследовании. Здесь же мы стремились лишь осветить проблему в целом, сведя ее к нескольким простым фактам (Брэн 1936, 249).

А Луи Гоша задолго до этого опубликовал статью с вызывающим заглавием «Существуют ли диалектные границы?» (*Gibt es Mundartgrenzen?*), в которой он резко критиковал теоретические позиции П. Мейера и Г. Пари и стремился доказать, что эти границы «сами себя очерчивают» (1903).

*Пражский лингвистический кружок:  
радуга и замкнутые системы*

Именно на основе этого спора об открытости или закрытости языков и диалектов строится здание *структуральной* теории Пражского лингвистического кружка.

Хотя зарождающийся структурализм Пражского лингвистического кружка тоже основан на теории *соответствий*, отношение между языком и территорией в нем иное. Здесь нет никакой причинности: напротив, во имя объяснительной телеологии это отношение фактически становится возвратом к новому типу натурализма.

Как мы видели, в Западной Европе противостояние позитивизму предполагало провозглашение человеческой свободы и отказ от детерминизма. В Пражском кружке, и особенно у его русских членов, свободе человека нет места. Соответствия между рядами генетически не связанных явлений восходят скорее к неоплатоническому взгляду на мир, в котором целостности являют себя через отношение частей к целому. Выявить связи между этими частями — такова цель «структуральной науки» русских пражан.

Ссылаясь на «современную географию», Якобсон вновь вводит понятие диалекта, однако на этот раз уже не путем индуктивного вывода: в

коротком и малоизвестном тексте (отчет о работе Первого съезда славистов, Прага, октябрь 1929) он рассматривает диалект как структуру. Его главный тезис — отказ от «анархического» понятия непрерывности диалектов и поиск сущностей с четко очерченными границами.

Исходный пункт для нынешней диалектологии — понятие диалекта как механической суммы разнородных различительных признаков. Геолингвистика (*Sprachgeographie*) обнаружила, что понятие герметически замкнутого диалекта с жесткими границами — это фикция. Крайней антитезой такому подходу стало понятие анархии не связанных друг с другом изоглосс. Более того, она усомнилась в самом существовании границ между фонетическими явлениями, утверждая, что звуковая форма каждого отдельного слова имеет свою собственную судьбу. В современной географии возник естественный протест против такого превращения изолиний из вспомогательного средства в собственную цель научного познания. Теперь география особенно настаивает на соотношении изолированных характеристик, на взаимоувязывании их в нечто единое, на установлении зон, отмеченных одновременно несколькими характеристиками и на выборе наиболее обоснованного зонирования. Географ П. Савицкий перенес методологические завоевания географии в область геолингвистических исследований. При таком подходе понятие диалекта приобретает новый смысл: оно становится структуральным понятием. Сопоставление изоглосс показывает, что некоторые из них связаны прочными упорядоченными связями, а иные — лишь волей случая: таким образом возникает иерархия изоглосс. Одни представляют границы между различными фонологическими системами, и в этом случае можно говорить о границах действия того или иного фонетического закона, или об изофонах. Другие изоглоссы выступают лишь как границы между различными фонетическими реализациями (термин Трубецкого) *одной и той же фонологической системы*. Третий тип изоглосс указывает границы между различными использованиями фонологической системы данного языка. В тезисах Пражского лингвистического кружка, представленных конгрессу, была показана произвольность изоглосс при их раздельном рассмотрении: признаки, которые кажутся тождественными, могут быть функционально различными (Якобсон 1930, 385).

Якобсон предлагает здесь *структуральное* решение, заменяя фонетические изоглоссы фонологическими (системно упорядоченными) изофонами: уточняя границы, мы должны пересмотреть и само понятие системы.

### Где начинаются и где кончаются вещи?

Геолингвистические исследования подтолкнули к постановке теоретических вопросов. Само сопоставление лингвистики и географии

дает не просто пограничный объект изучения где-то на стыке взаимодействий между языком и территорией, но скорее новый способ построения различных научных предметов — путем прорезания борозды прерывного в непрерывном (идет ли речь о языке или о территории). Сопоставление истории языкознания и истории географии — этих весьма различных дисциплин — может дать много интересного для истории научной мысли в целом. Подтверждая, что карта — это не территория, что прозрачно нейтральное изображение объекта невозможно, попытки пространственной локализации говоров дают дополнительные основания для сомнений в простодушном эмпиризме и позволяют толковать этот научный спор на основе гораздо более древней оппозиции — философской оппозиции реализма и номинализма в построении объектов познания.

Вновь обратившись к этой оппозиции, мы видим, что обвинение в номинализме, выдвинутое против евразийцев Бердяевым, беспочвенно. Евразийская лингвистика — это тонкий вариант реализма или даже некоего динамического эссенциализма: ведь сущности не вечны, как у Платона, а изменяются во времени, сохраняя при этом свою самождественность, подобно *организмам*. Фундаментальный вопрос евразийской лингвистики — «Как правильно определить границы?» Евразийская лингвистика — это, по сути, непрекращающийся спор, постоянная борьба за передвижение или даже устранение ложных границ между сущностями. Подобно биологии и географии, она тоже цепляется за понятие сущностей. Но является ли она тогда структуралистской? В следующих главах мы попытаемся ответить на этот вопрос.

## Глава V

### Эволюционизм или диффузионизм?

Парадокс евразийской теории в том, что культура как таковая состоит из отдельных культур, открытых друг другу; или, иначе, замкнутая глобальная система, определяемая в терминах органического единства, оказывается как бы внутри себя открытой. Эта удивительная типология обретает смысл в контексте споров между эволюционизмом и диффузионизмом, возникших в антропологии.

1920-е годы начинаются в общей атмосфере научного кризиса. Понятие *границы*, по сути, затрагивает и лингвистические объекты: кризис органицистской парадигмы в европейской лингвистике, вызванный эволюционистскими открытиями изменчивости биологических видов<sup>1</sup>, побудил к размышлениям над такими понятиями, как скрещение, смешение, гибридизация языков. Русское языкознание 20-х годов не является каким-то особенным явлением: оно глубоко укоренено в европейских спорах об эволюционизме и представляет собой местный отклик на более общий европейский вопрос того времени — вопрос о границах между естественными и социальными науками.

Именно это сложное отношение между духом места и духом времени мы и будем теперь изучать, сопоставляя два движения, два течения в русской лингвистике послереволюционного периода: одно царило в СССР и выступало как официально признанное советское языкознание, а другое существовало в эмиграции, осыпая проклятиями первое: речь идет о марризме и о евразийстве. В самом этом сопоставлении столь различных ученых, как Марр и Трубецкой, есть иконоборческий момент. Оно позволяет нам одновременно ввести в действие понятия, связанные как с духом места, так и с духом времени и прове-

---

<sup>1</sup> Как это ни странно, эволюционистские тезисы Дарвина лежали в основе органицизма А. Шлейхера.

речь наше предположение о том, что в этих внешне противоположных течениях есть немало общего.

Сопоставив две системы метафор, присущих этим двум «идейным семействам», мы увидим, что речь идет о динамической паре понятий, которые претерпевают общую эволюцию, опираясь друг на друга в своем продвижении вперед. Эти различные метафорические системы разграничиваются по линиям *универсализм/релятивизм, эволюционизм/диффузионизм*, выводя нас за рамки собственно языкознания к более общей эпистемологической проблематике. Приняв за путеводную нить проблему границ между различными научными объектами в свете понятий целостности и системы (они ставят под вопрос натуралистический взгляд на чистоту языка-организма), мы заметим парадоксальный обмен между двумя моделями мира и языкового изменения, которые, будучи в принципе взаимопротивоположными и несоизмеримыми, иногда оказываются лишенными четких границ и взаимоналагающимися. Речь идет о двух ответах на старый вопрос: «Почему языки изменяются?» Разница, однако, в том, что для марристов главным является вопрос «почему?» (по какой причине?), а для евразийцев — вопрос «зачем?» (с какой целью?).

### Марризм

Органицистскому релятивизму евразийской теории — как она была здесь представлена — во всем противоположен эволюционистский детерминизм учения Марра.

В отличие от евразийской теории, о марризме существует немало литературы, доступной западным ученым. А литература эта обильна и разнообразна: правда, она состоит в основном из апологий и филиппик, спокойные и трезвые исследования встречаются реже. И все же отметим здесь две работы, вышедшие в США: Томаса (1957) и Самуэляна (1981).

Мало что даст нам выяснение того, был ли Марр «сумасшедшим»<sup>2</sup>, ответственным за «идеологическое извращение науки»<sup>3</sup>, психопатомегаломаном<sup>4</sup> или «непревзойденным гением»<sup>5</sup>. Мы обсуждаем здесь

<sup>2</sup> Трубецкой, письмо от 6 ноября 1924 года; Трубецкой 1985, 74.

<sup>3</sup> Ср. подзаголовок книги: Лермит 1987.

<sup>4</sup> Алпатов 1991.

<sup>5</sup> Фрейденберг 1937.

лишь место его теории в истории идей о языке. У Марра было немало фантазий, как, впрочем, и спекулятивных недоказанных положений (однако не больше, чем у романтиков или Шлейхера). В любом случае очевидно, что у него было богатое воображение. Но поскольку даже безумные построения и бредовые речи могут что-то рассказать нам о языке, мы постараемся понять, почему Марр думал то, что он думал, каким образом его идеи жили в «духе времени» и «духе места»<sup>6</sup>.

Среди многочисленных биографических источников о Н. Я. Марре (1864—1934), появившихся за пределами России, отметим работы Томаса<sup>7</sup>, Лермита<sup>8</sup> и Самуэльяна<sup>9</sup>. Напомним лишь, что во время революции 1917 года Марру было 53 года и он уже был академиком (с 1912), деканом филологического факультета Санкт-Петербургского университета (с 1911). У него не было большевистских убеждений, и ничто в его карьере до 1917 года не изобличает никаких революционных пристрастий. В этот период он был скорее разочарованным компаративистом, тщетно пытавшимся построить сравнительную грамматику кавказских языков. С 1888 года он пытался сблизить грузинский язык с семитскими языками, но эта мысль вызвала лишь отрицательные отклики русских и зарубежных ученых. Его навязчивой идеей стало построение единой теории языка и культуры, но в этом он ничуть не отличался от европейских лингвистов первой половины XIX века.

То ли из оппортунистских соображений, то ли соглашаясь с философской ориентацией большевиков, но он оказался единственным академиком, который благосклонно принял новую власть. В 1924 году он стал президентом Государственной академии по изучению материальной культуры (ГАИМК), основанной в 1919 году, и директором Яфетического института<sup>10</sup>. Именно в этот период он решительно порвал с тради-

---

<sup>6</sup> Отметим, однако, что Марр, подобно евразийцам, претендовал на *научную новизну*. Он называл свою теорию «новым учением о языке».

<sup>7</sup> Томас 1957, гл. 1.

<sup>8</sup> Лермит 1987.

<sup>9</sup> Самуэльян 1981, 107 сл.

<sup>10</sup> Этот институт в системе Академии наук был создан в сентябре 1921 года, назван Институтом яфетидологических исследований и переименован в Яфетический институт в сентябре 1922 года. В 1932 году он стал Институтом языка и мышления. В его программу входило исследование исторического процесса эволюции языков и в особенности — явлений скрещения (см.: Алпатов 1991). Заня-

цией сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков, отрицая какую-либо связь между языком и этнической принадлежностью, отвергая роль переселений в процессе диверсификации и рассеяния языков и трактуя само понятие праязыка и языковых семейств как бесполезную фикцию. Вместо этого он предложил теорию седиментации или пелиточных слоев в ныне существующих языках, возникших в результате скрещивания или гибридизации. Выявляя некую «стадиальную типологию», он занимался «палеонтологией языка»<sup>11</sup>. Переходя от исследования отдельных конкретных языков к изучению языка как такового, он построил универсальную линейную эволюционистскую теорию всех языков мира. Идеи Марра вполне соответствовали господствовавшему в СССР стилю писаний 20-х годов с характерным для них отказом от идеи национального происхождения и акцентом на универсальном космополитическом измерении. Противопоставляя свои взгляды всей предшествующей лингвистике, Марр выдвинул идею эволюции языков по образу пирамиды, поставленной на свою вершину — от разнообразия к единству.

Марр последовательно разрабатывал теорию стадильности языков, используя те же понятия, что и Шлейхер: так, внутри «единого глоттогонического процесса» человеческий язык *необходимо* проходит три последовательных этапа: изолирующий, агглютинирующий, флективный. Эти этапы соответствуют «сдвигам мысли», обусловленным «сдвигами в технике производства».

В отличие от Шлейхера, Марр, однако, утверждал, что язык не является организмом, но при этом, следуя ленинской теории отражения и плехановскому монизму, он считал язык *надстройкой*. Однако его откровенный антиорганицизм был внутренне противоречивым.

Теоретическая разработка этой разрастающейся, постоянно перерабатываемой теории завершилась к концу 1920-х годов. Вот как излагает ее верный ученик Марра И. И. Мещанинов<sup>12</sup>:

1) все языки оказываются различными оформлениями единого процесса развития человеческой речи;

---

тый поиском родства между кавказскими языками, Марр называл их яфетическими — по имени Иафета, сына Моисеева, чтобы противопоставить их семитским и хамитским языкам.

<sup>11</sup> Это давний термин: Пикте 1863.

<sup>12</sup> Мещанинов 1929, 138.

2) различные, известные нам, типы речи переживают определенные стадийные состояния;

3) эти стадийные состояния выявляются по своим признакам-координатам, обусловленным определенным состоянием современного им человечества, объединяемого сходными общественными и хозяйственными потребностями и вырабатываемым мировоззрением (...)

4) сложившиеся языки характеризуются своими комплексами признаков-координат; по этим суммам признаков языки группируются на системы;

5) сами характеризующие признаки как стадий, так и систем<sup>13</sup> и отдельных языков вовсе не стабильны; они изменяются, в связи с чем нарушается равновесие комплекса, в результате чего одна стадия переходит в другую, разным образом меняются и системы.

### О сближении внешне противоположных теорий

Трудно найти в русском языкознании течения столь же полярные в своих основаниях, как марризм и евразийство. Они занимают крайние и противоположные позиции — эволюционистскую и релятивистскую. Однако живя одним и тем же духом времени<sup>14</sup>, они смыкаются даже в самом этом противопоставлении.

А теперь требуется объяснить предпосылки исследований и собственные высказывания представителей обоих этих течений, показывая их историю и их внутреннюю связность, но при этом проясняя марризм и евразийство друг через друга. Различия между ними достаточ-

---

<sup>13</sup> Слово «система» у Марра примерно означает «языковое семейство», взятое в синхронном плане.

<sup>14</sup> Марр и Трубецкой никогда не встречались. Трубецкой всегда упоминал о Марре только в отрицательном смысле. 6 ноября 1924 года он жаловался Якобсону, что не в состоянии рецензировать работу Марра: она относится скорее к области психиатрии, чем языкознания (Трубецкой 1985, 74—75). В русском варианте своей статьи «Мысли об индоевропейской проблеме» он обвинял Марра в рабском копировании европейского языкознания (Трубецкой 1939а). Марр никогда и ничего не говорил о Трубецком. Впрочем, маловероятно, чтобы он не был знаком с материалами Первого конгресса лингвистов (Гаага, 1928). Савицкий ссылался на Марра, наряду с другими учеными (Савицкий 1927б, 31—32, гл. VIII). Некролог Марру, написанный Якобсоном, трезв и нейтрален. Якобсон говорит о больших «организаторских способностях» Марра, о его «призывах к изучению фактов смешения языков, а также доиндоевропейских элементов в индоевропейских языках» (Якобсон 1935, 135—136).



но глубоки. Однако наша цель — показать, что фактически речь здесь идет о двух преобразованиях эпистемы (скорее эпистемы, чем парадигмы) XIX века, которые — по причинам, которые нам еще предстоит выяснить — определили набор устойчивых представлений или *доксу* русскоязычного мира 20-х и 30-х годов.

Оба течения были захвачены тем же самым кризисом сравнительно-исторической грамматики, выражением которого стали размышления о проблеме приобретенных сходств или *сродственностей* (ср. след. главу). Во второй половине XIX века натуралистическая и — шире — органицистская модель уже не справлялась с открытием неопределенности границ между системами и с теми новыми вопросами, которые из этого вытекали. В частности, возникали сомнения и в самой биологической метафоре: ученые были согласны считать барьер *взаимооплодотворимости* (*interfécondité*) границей между видами живых существ, однако определить границу между языками в зависимости от степени *взаимопонимания* было гораздо сложнее.

Евразийцы и марристы решительно отвергли модель Шлейхера (*натурализм*), однако они делали и следующий шаг, ставя под вопрос само генетическое объяснение разнообразия языков в его классической форме *генеалогического древа*. Однако одной критики познавательной модели еще недостаточно для того, чтобы ее устранить: ее нужно заменить другой, способной вместить и связно разъяснить как старый вопрос о разнообразии, так и новый вопрос о сродстве. В поисках такого объяснения евразийцы обратились к *пространству* (сходства приобретаются в результате контакта), а марристы — ко *времени* (сходства возникают на тождественных этапах однообразного развития всех языков мира).

Несмотря на все декларации об отказе от биологической модели, она сохраняла свое значение у деятелей обоих движений. Повсюду в Европе разработка общей темы *гибридизации* лишь подчеркивала устойчивость биологической метафоры, несмотря на расширенную проблематизацию генетической замкнутости языков и языковых семейств.

Евразийцы и марристы в полной мере участвовали в развитии языкознания своего времени. Они занимались одними и теми же вопросами — об изменении и о разнообразии языков. Они изучали эти вопросы в рамках сходной проблематики — непрерывного и прерывного в коллективных сущностях (речь могла идти как о народах, так и о язы-

ках). Они пользовались одной и той же великой метафорой, которая прошла через весь XIX век от начала романтической эпохи: «Общество подобно индивиду».

Этот человек, этот коллективный индивид имеет свою собственную коллективную психологию, которая для евразийцев определяется симбиозом с территорией и соседними группами, а для марристов — общественно-экономической формацией, к которой относится сообщество говорящих, и их местом в эволюции истории. И для тех, и для других языки и культуры суть прерывные величины, границы между которыми стали предметом увлеченных поисков.

Несмотря на непримиримость философских оснований, и те и другие искали принципы эволюции языков в *конвергенциях* между ними. Наконец, и те и другие были воодушевлены общей уверенностью, общей верой в детерминизм: русские читатели Гегеля, неутомимые строители философии истории, они неустанно искали *законы* языковой эволюции.

## Философские категории

### *Бытие*

«Абсолютная самобытность» и теория двух наук. Одни провозглашают специфику русской науки, другие ее отрицают — в любом случае и евразийцы, и марристы объявляют решительный разрыв с «западной наукой» (в особенности с индоевропейским языкознанием), которое одни именуют «буржуазным», а другие «романо-германским».

Является ли этот провозглашаемый разрыв реальным или только воображаемым? Существует ли здесь, говоря языком Башляра, «эпистемологический разрыв»? Для евразийцев такой разрыв, прежде всего этногеографический, существует: «евразийская наука» во всех своих моментах противоположна «романо-германской науке». Однако тут необходимы уточнения. В конце 1920-х годов Якобсон настаивал на самобытной *непрерывности* «русской науки» в противоположность «западной науке».

Что касается Трубецкого, то он говорил не столько о «русской», сколько о «евразийской» науке. Трубецкой гораздо дальше, чем Якобсон, отошел от «русской традиции»: замороженный «туранской мен-

тальностью»<sup>15</sup>, он верил в этногеографическую детерминацию науки. Он глубоко враждебно относился к «романо-германской» науке. В 1920 году в своей первой крупной евразийской работе он призывал «отказаться совершенно от характерного для романо-германской науки способа мышления»<sup>16</sup>. Однако и для тех, и для других существовала «национальная наука» — не в смысле некоторых государственных научных учреждений, но в романтическом смысле «психического склада», особой этнической «умонастроенности». И для Трубецкого, и для Якобсона существовали некоторые прототипические ориентации русской науки (главным образом, глобализм, холизм, «целестремительность»)<sup>17</sup>.

Для Марра западная наука — это «буржуазная наука» на тех же основаниях, что и дореволюционная русская наука. Разрыв в данном случае имеет программный характер, он отмечен жестким требованием отказа от старого:

Новое учение об языке требует отрешения не только от старого научного, но и от старого общественного мышления (Марр 1929, 56).

Для него, конечно, не существует особой русской науки (поскольку он отрицает всякую национальную самобытность), но существует новая наука и *новая теория языка*, которая во всех своих моментах противоположна буржуазной науке. Марр допускает наличие случайных сходств с уже существующими теориями (скрещение языков у Шухардта, социологический подход у Мейе, происхождение языка у Кассирера, взаимодействия живых языков у Боаса), однако при этом подчеркивает полную независимость своей теории<sup>18</sup>.

Однако в обоих случаях речь идет, по сути, об отвержении европейского научного мира, о глубокой враждебности к тому, что, быть

---

<sup>15</sup> У Трубецкого слово «туранский» имеет прежде всего этногеографический смысл («народы южной России и Туркестана»), а вовсе не лингвистический («урало-алтайские языки»). Именно это позволило ему отмежеваться от националистических «пантуранских» движений в Венгрии и Турции, основанных на воображаемом единстве между угро-финскими и тюрко-монгольскими народами.

<sup>16</sup> См.: Трубецкой 1920, 15.

<sup>17</sup> О понятии *целестремленности* (или «целестремительности») (*Zielstrebigkeit*) у Трубецкого и Якобсона см. гл. VII.

<sup>18</sup> См.: Марр 1936: ИР-II, «Яфетическая теория», 1.

может, существует лишь в их воображении,— к «западной науке». Отсюда в обоих случаях призывы к полному разрыву, упреки к потворстве западной науке:

Русская интеллигенция в своей массе продолжает раболепно преклоняться перед европейской цивилизацией, смотреть на себя, как на европейскую нацию, тянуться за природными романо-германцами и мечтать о том, чтобы Россия в культурном отношении, во всем была подобна настоящим романо-германским странам (Трубецкой 1922, 306).

Подобного рода тексты найдут отголосок у марристов несколько позже, уже в эпоху Жданова:

Отечественное языкознание развивалось в определенных конкретно-исторических условиях, в определенной классовой среде и национальной обстановке (...) раболепие и низкопоклонство перед чужеземною наукою не находит себе никакого оправдания<sup>19</sup>.

И Марр, и Трубецкой, однако, внимательно следили за этим ненавистным западным миром: что думают о них, например, в Париже?

Естественно, в Вене еще слышно кой-что по яфетидологии, но в Париже... *lasciate ogni speranza!* Чересчур высока тут образованность, чтобы поживиться новым учением... (Марр 1927 в: Марр 1933—1936, IP-I, 250).

А Трубецкой, вернувшись из Парижа, куда он заехал по пути из Лондона, пишет Якобсону:

Впрочем, надо сказать, что кроме личной антипатии к Вам здесь есть и известное отталкивание французов от тех форм евразийско-придунайской культуры, в которых находит себе выражение современная фонология. Что этот

---

<sup>19</sup> Странным отражением в зеркале выглядит статья Трубецкого «Мысли об индоевропейской проблеме» (Трубецкой 1939а), в которой он обвиняет Марра в раболепии перед иностранцами. «В этом вопросе [о развитии различных морфологических типов языков.—*Уточнение Р. Якобсона*] т. н. „новое учение о языке“ Н. Я. Марра ничем не отличается от т. н. „буржуазной лингвистики“. И если утверждение о большей „примитивности“ агглютинирующего строя по сравнению с флективным в устах „буржуазных лингвистов“ можно приписать „социальному заказу мирового империализма“, то в устах Н. Я. Марра и его последователей оно является просто плодом раболепия перед европейской наукой (к тому же весьма поверхностно усвоенной)». На это примечание, которое не было воспроизведено в русском тексте, опубликованном в СССР в 1958 и 1987 годах, указывает Якобсон: Трубецкой 1985, 74.

специфический налет в фонологии довольно силен, в этом мне было особенно легко убедиться, беседуя одновременно с Martinet и Новаком. Новак — «восточный человек», и вся фонология у него «с восточным акцентом». Люди, никогда не бывавшие в России или в славянских странах, ничего специфического с этим акцентом не ассоциируют. Для них это просто иностранный акцент, как всякий другой. Точно так же и для индогерманиста, не имеющего никакого личного отношения к Средней Европе или к Евразии. Но для слависта это нечто совсем другое. Что там ни говори, а все славянское, средневропейское и русское французские слависты в глубине души презирают и считают варварством. Славянские ученые хороши как собиратели материала, но когда они начинают рассуждать, обнаруживается их *manque de culture* и их *âme slave*<sup>20</sup>: это беспочвенные фантазии, сектантская кружковщина и т. д. Поэтому, французский славист ни за что не позволит, чтобы русский или славянин его учил, — во всяком случае, пока этот русский или славянин не офранцузится (Трубецкой, письмо, датированное маем 1934 года; Трубецкой 1985, 300—301).

*Мало изученные языки, презираемые культуры.* — Трубецкой и Марр имели доступ к общему материалу: к живым языкам, не известным большинству западноевропейских лингвистов. Оба они хорошо знали многие кавказские языки и неоднократно проводили полевые исследования. Более того, Трубецкой изучал урало-алтайские и тюркские, а также сибирские языки, которые он потом назвал общим именем «бореальные языки». Марр, помимо кавказских языков, владел многими языками Советского Союза, урало-алтайскими и тюркскими языками (чувашскими).

Евразийцев и марристов одинаково привлекала идеология раскрепощения «третьего мира» в противовес западному миру. Евразийцы, например, точно так же сочиняли воззвания к восточным народам, как и постславянофил К. Леонтьев. Однако наиболее интересно сближение их позиций с советским отношением к Востоку; ср. воззвание Трубецкого 1925 года:

Евразийство призывает все народы мира освободиться от влияния романо-германской культуры (...) и призывает «колониальные» народы к борьбе за освобождение и от этого экономического господства (Трубецкой 1925б, 79).

В «Европе и человечестве» (1920) Трубецкой стремился противодействовать западному империализму. Для него не существует всеобщей цивилизации, а ценности «прогресса», защищаемые европейски-

---

<sup>20</sup> По-французски в тексте.

ми колонизаторами, лишь отражают романо-германский шовинизм. Из-за своих культурных и психологических отличий неевропейские народы никогда не станут частью романо-германской цивилизации. Мыслить всемирную культуру на одной линии с романо-германской цивилизацией — губительная интеллектуальная ошибка: культуры *должны* быть отдельными, иметь свои границы.

Евразийцам очень хотелось сделать Россию будущей предводительницей угнетенных народов Евразии (новое имя русской империи) как неделимого, естественного, органического целого. Тем самым они поддерживали имперскую политику, направленную против всякого сепаратизма, доводами натуралистического толка: если существует органическое единство, то было бы преступно его разрушить. Тем самым Европа видится как нечто радикально отличное от Евразии:

Неромано-германским народам нужна новая, неромано-германская культура. Романо-германским же низам никакой принципиально новой культуры не нужно, а хочется лишь поменяться местами с правящими классами с тем, чтобы продолжать все то, что делали до сих пор эти классы: заправлять фабриками и наемными «цветными» войсками, угнетать «черных» и «желтых», заставляя их подражать европейцам, покупать европейские товары и поставлять в Европу сырье. Нам с ними не по пути (Трубецкой, письмо от 7 марта 1921; Трубецкой 1985, 15).

Марр тоже интересуется всем, что не является западной Европой:

...сама индоевропейская лингвистика есть плоть от плоти, кровь от крови отживающей буржуазной общественности, построенной на угнетении европейскими народами народов Востока их убийственной колониальной политикой (Марр 1924 в: Марр 1933—1936, ИР—3, 1).

Свою исследовательскую программу он определяет так: это

перенос в первую голову исследовательской работы на бесписьменные языки культурно порабощенных народностей... (Там же, 34).

Евразийцы провозглашали релятивизм в противоположность одной единственной культуре — западной. Они совсем не интересовались Другим как таковым, но лишь весьма конкретными другими — нерусскими в Евразии. Иные Другие их совсем не интересовали.

Марристы были более открыты к Другим (так как самих себя они не представляли в качестве «мы»). Однако и у них были свои привилегированные Другие — между прочим, как раз те, кого в эпоху Ельцина

стали называть «ближним зарубежьем»: горцы Кавказа, нерусские в России — чуваша, башкиры, якуты...

Для Трубецкого существование народов, наций само собой подразумевается; для Марра практически тоже: ведь современные языки антагонистических классов возникли из языков разных народов.

### *Пространство*

*Замкнутые системы и радуга.* — К непримиримому столкновению евразийских и марристских представлений приводит вопрос о границах между различными системами.

Для марристов существуют единое человечество и, следовательно, единая субстанция всех языков, всеобщая линейная эволюция культур и языков и, наконец, эволюция разнообразия в сторону единства. Подобно тому как трансформизм в биологии ставит под вопрос видимую устойчивость видов, Марр отвергает замкнутый характер «языковых систем».

Для евразийцев, напротив, общечеловеческой культуры не существует, понятие человечества есть пустая и бессодержательная абстракция<sup>21</sup>, языки и культуры суть замкнутые совокупности (системы, «организмы»). Само это разнообразие — закономерно и ко благу — порождает замкнутость. Однако евразийская модель не есть нечто наглухо закрытое: географически смежные языки и культуры проникают друг в друга и образуют зоны и их совокупности — более обширные и «органичные».

Таким образом, евразийство — это особая форма диффузионизма с границами двух типов: проницаемыми, порождающими сродства, и наглухо закрытыми, блющими принцип системности. Это напряжение между непрерывным и прерывным в представлении о границах между языками и группами языков, между отдельными культурами и совокупностями культур впервые появляется в статье Трубецкого «Вавилонская башня и смешение языков» (1923); оно столь же важно для общей лингвистики, как и для «этнической культурологии»:

---

<sup>21</sup> Ср. у Ж. де Местра, на которого Якобсон так часто ссылается (в связи с его враждебностью к случайности в эволюции): «В мире не существует человека вообще. Я видел в своей жизни французов, итальянцев, русских. Благодаря Монтеские я знаю и о том, что существуют персы, но вот человека как такового мне в жизни не доводилось встречать; если он и существует, мне об этом ничего не известно» (Oeuvres, I, 75 — цит. б/г в: Финкелькраут 1992, 28).

Язык есть непрерывная цепь говоров, постепенно и незаметно переходящих один в другой (Трубецкой 1923а, 115).

И все же распределение и взаимные соотношения культур основаны в общем на тех же принципах, что и соотношения языков, с той лишь разницей, что то, что в культуре соответствует «семействам», имеет гораздо меньше значения, чем то, что соответствует «союзам». Культуры отдельных соседних друг с другом народов представляют всегда целый ряд черт, сходных между собой. Благодаря этому среди этих культур обозначаются известные культурно-исторические «зоны», например в Азии зона мусульманской, индостанской, китайской, тихоокеанской, степной, арктической и т. д. культур. Границы всех этих зон взаимно перекрещиваются, так что образуются культуры смешанного или переходного типа. Отдельные народы и части народов специализируют данный культурный тип, внося в него свои специфические индивидуальные особенности. В результате получается та же радужная сеть, единая и гармоничная в силу своей непрерывности и в то же время бесконечно-многообразная в силу своей дифференцированности (Там же, 118).

Для Трубецкого и Якобсона существование «народов», «языков» и «культур» в качестве исчислимых и определенных объектов само собой подразумевается, однако в то же самое время границы между ними становятся предметом пристального внимания, изучения и даже перестройки, так как оказывается, что внутрисистемные элементы могут переходить на межсистемный уровень (ср. гл. III).

Однако, согласно Трубецкому, существует культура, которая не играет в эту игру и отличается от всех других культур своим притязанием на всеобщность<sup>22</sup>:

С того момента, как романо-германская культура начала стремиться стать общечеловеческой цивилизацией, материальная техника, чисто рационалистическая наука и эгоистически утилитарное мировоззрение получили в ней решительный перевес над всем остальным (Трубецкой 1923а, 113—114).

*Язык и территория.*— Марр отвергает любой географический детерминизм в применении к эволюции языков и их особенностям. Поскольку существует «единый глоттогонический процесс», связанный с прохождением различных общественно-экономических стадий, постольку в различных местах возникают тождественные новации, и не может быть речи о каких-либо специфических особенностях «типов» или «архетипов» языков.

---

<sup>22</sup> Ср. заглавие его брошюры 1920 года — «Европа и человечество», которое противопоставляет Европу и остальной мир.



Ни место, география с пейзажем, природа сама по себе, хотя бы и с ресурсами производства, доселе называемыми по недоразумению и у нас естественными производительными силами, ни время без четкой производством определяемой функции не имеют также, как никогда не имели, никакого значения для развития мышления, или тем более — базиса, хозяйства, самого производства и форм социальной структуры (Март 1931 в: Март 1933—1936, ИР—3, 97).

В этом смысле Март оказывается классическим эволюционистом, четко противостоящим диффузионизму. Это относится и к Мещанинову — по крайней мере в вопросе о типах языков:

Все эти типы отнюдь не самодовлеющи, они связаны своим развитием с определенными требованиями, предъявляемыми к языку создавшимся в человеческих объединениях потребностями общения, следовательно, единого места их зарождения искать не приходится. Они могли развиваться повсюду, где создавались необходимые для того условия (Мещанинов, 1929, 121—122).

Совершенно иначе обстоит дело с евразийскими мыслителями, которые придерживаются противоположной, релятивистской традиции, признавая определенную форму диффузионизма и подчеркивания значение пространственных контактов<sup>23</sup>. Уже в конце жизни в 8 главе своих «Бесед» с Поморской Яковсон возвращается к этой теме, столь близкой ему в 20-е и 30-е годы — к так называемому «пространственному фактору». Главная мысль заключалась в «замене родства соседством»<sup>24</sup>: она стала лейтмотивом в его работах 1931 года.

### *Время*

*Прогресс и релятивизм.* — Для объяснения различий между языками и культурами лингвистика и антропология на рубеже веков имели два антитетических решения — «отставание» и «самобытность». Все те, кто искал ответа на вопрос о различии между Россией и Западной Европой, ввергались в область этой альтернативы.

«Отставание» — это тезис *эволюционистского* мышления, которое видело в истории человечества прямую дорогу от простого к сложному, *прогрессивный* переход к все более высокому и ценному, по сравнению с тем, что было раньше.

---

<sup>23</sup> Мейе, напротив, считал, что «из понятия контакта ничего дельного не извлечешь».

<sup>24</sup> Яковсон 1980, 79.

«Самобытность» — это тезис релятивистов, прямо противоположный эволюционистскому. Он лишает современные общества их привилегий: они больше не являются высшим этапом человеческого развития. Все формы социальной организации равноправны, и этноцентризм должен уступить место культурному релятивизму.

Эволюционизм существовал в различных формах: это культурный эволюционизм (Дж. Фрезер, Э. Тейлор, Л. Морган), социоэкономический эволюционизм (Ф. Энгельс). Однако все эти варианты эволюционистского мышления объединялись тезисом о единстве человечества, поиском единого объяснительного принципа. Культурные или экономические отличия в жизни разных народов — это следствия разных ступеней эволюции.

Все эти формы эволюционизма строились на общих принципах и прежде всего на принципе *необходимого* порядка преемственности:

Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что Дикость предшествовала Варварству во всех человеческих племенах, а Варварство в свою очередь предшествовало *цивилизации* (Морган 1877, цит. по: Бодло 1971, 12).

Это относится и к Энгельсу, который предложил схему эволюции из пяти этапов: первобытное общество, рабство, феодализм, капитализм, социализм, коммунизм («О происхождении семьи...», 1884).

Марризм прекрасно вписывался в ту эволюционистскую парадигму<sup>25</sup>, которая господствовала в европейской и американской лингвистике и антропологии конца XIX века. Вслед за Морганом, для которого «история человеческого рода едина в своих истоках, в своем опыте, в своем прогрессивном развитии»<sup>26</sup>, Мещанинов в 1929 году говорил

---

<sup>25</sup> И тут опять возникает основоположный для эволюционизма вопрос о границах. Леви-Брюль, на которого часто ссылался Марр, а критически — также и Трубецкой (Трубецкой, письмо от апреля 1938 года: Трубецкой 1985, 424), долгое время сомневался насчет того, имеется ли между «первобытной ментальностью» и «цивилизованной ментальностью» непрерывный переход или прерывность.

<sup>26</sup> Морган 1877, цит. по: Бодло 1971, 11. О той важной роли, которую сыграл Морган в советской антропологии 1920-х и 1930-х годов, см.: Толстой 1952. Напомним о высокой оценке Моргана Энгельсом: «Морган был первый, кто со знанием дела попытался внести в предысторию человечества определенную систему...» (Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства в связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана (1884) // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 21. С. 28).

об «истории развития человеческого мышления»<sup>27</sup>, об «общем ходе процесса развития речи вообще»<sup>28</sup>.

А потому нельзя считать какие-то группы людей «изолированными» или рассматривать языки вне связи с другими языками:

...культур изолированных, расовых, так же нет, как нет и расовых по происхождению языков. Нет этнических по генезису культур, нет племенных культур отдельных по происхождению, а есть культура человечества определенных стадий развития, ныне сохраняемых частично отдельными племенами, отставшими в культурном продвижении от других. Сама же культура едина по происхождению, и все ее разновидности представляются ходом единого процесса творчества на различных ступенях его развития. Каждая стадия развития придает свое характерное оформление культуротворчеству и свой характеризующий оттенок в отдельных культурных районах, в т. н. «гео-этнических» единицах уже развитой культурной жизни с племенными образованиями в указанном выше их понимании (Марр 1927б, цит. по: Мещанинов 1929, 86—87).

Эволюционизм был особенно внимателен к *пережиткам* как свидетельствам того, что более продвинутые общества прошли ранние стадии цивилизации. Что же касается положения таких языков, как китайский, который относится к первой стадии, но представляет более продвинутую цивилизацию, то Марр называет это *остановкой развития*: языки могут застыть на определенной стадии своей эволюции. То же относится и к яфетическим языкам (языкам кавказской группы).

Напротив, евразийцы провозглашали культурный релятивизм. Трубецкой считал, что дело не только в том, что каждый язык, каждая культура, каждый народ принципиально неповторим или должен быть неповторим (ср. принцип «самодостаточности»):

Культура должна быть для каждого народа другая (Трубецкой 1921а, 78),—

но что само понимание этого является плодом особой евразийской ментальности, во всем противоположной романо-германизму:

[По поводу русских интеллигентов, который приняли большевистский режим:] Но восставшим народом руководят вожди, интеллигенты. И вот, в сознании этих-то интеллигентов и не произошла та революция, которую я считаю необходимой. Они продолжают пребывать во власти европейских пред-рассудков, базироваться на эволюционной науке, на учении о прогрессе и на

<sup>27</sup> Мещанинов 1929, 11.

<sup>28</sup> Там же, 13.

всем порождении романо-германского эгоцентризма (Трубецкой, письмо от 7 марта 1921 года; Трубецкой 1985, 14).

А потому бессмысленно говорить о единой общечеловеческой культуре:

Но общечеловеческая культура, одинаковая для всех народов,— невозможна. При пестром многообразии национальных характеров и психических типов такая «общечеловеческая культура» свелась бы либо к удовлетворению чисто материальных потребностей при полном игнорировании потребностей духовных, либо навязала бы всем народам формы жизни, вытекающие из национального характера какой-нибудь одной этнографической особи (Трубецкой 1921а, 78—79)<sup>99</sup>.

Трубецкой и евразийцы проповедуют теорию *самопознания* и поиска собственной аутентичности. В 1921 году Трубецкой писал Якобсону:

Я говорю в своей книге, что всякая оценка основана на эгоцентризме, и что потому *из науки* всякая оценка должна быть изгнана. Но в культурном творчестве, в искусстве, в политике, вообще во всяком роде *деятельности* (а не *теории*, каковую является наука) без оценки обойтись невозможно. Следовательно, известный эгоцентризм все-таки необходим. Но это должен быть эгоцентризм облагороженный, не бессознательный, а сознательный, связанный с релятивизмом, а не с абсолютизмом. Я нахожу его в сократовском принципе «познай самого себя» или — что то же — «будь самим собой». Всякое стремление быть не тем, чем я есмь на самом деле, всякое «желание быть испанцем», как говорит Козьма Прутков,— ложно и пагубно. «Познай самого себя» есть принцип универсальный, абсолютный и вместе с тем относительный. Этим принципом и надо руководиться при оценке, безразлично, идет ли дело об отдельном человеке или о народе. Все, что дает человеку или народу возможность быть самим собой,— хорошо, все, что мешает этому,— дурно. Отсюда вытекает требование самобытной национальной культуры (Трубецкой, письмо от 7 марта 1921 года; Трубецкой 1985, 13—14).

А в одном из текстов, написанных в том же году, утверждал:

«быть самим собой» в применении к народу значит «иметь самобытную национальную культуру» (...) Истинное счастье заключается не в комфорте, не в

---

<sup>99</sup> Сепир (1884—1939), современник Трубецкого, тоже показывает тщету поисков однолинейных схем социальной эволюции, утверждая, что первобытный человек не является предком цивилизованного человека. Мы находим все эти утверждения (почти слово в слово) в книге Трубецкого «Европа и человечество» (1920). Однако в своих письмах Трубецкой упоминает Сепира только в связи с его филологическими (и никогда не антропологическими) идеями.

удовлетворении тех или иных частных потребностей, а в равновесии, в гармонии элементов душевной жизни между собой (Трубецкой 1921а, 78).

Основа структурализма Трубецкого — гармония и замкнутость систем. Согласно этому принципу, все составляющие элементы системы органически входят в единое и неотчуждаемое целое; даже если некоторые части данной системы кажутся сходными с частями других систем, это сходство иллюзорно, потому что за внешними сходствами стоят другие, системные связи. Следовательно, всякая отдельная система непонятна с точки зрения другой системы<sup>30</sup>.

Однако в самом средоточии этой, казалось бы, непримиримой противоположности никакой четкости нет. Идя разными путями, евразийцы и марристы сталкиваются с общим противником и принимают защищать угнетенных от западного мира. С одной стороны, марристы используют тот же сократовский принцип, что и Трубецкой:

Для того, чтобы уразуметь то или иное языковое явление, необходимо знать, как развивался и развивается язык, каковы его исторические этапы и каковы закономерности его движения. «Познай самого себя», говорили древние греки, «познай самого себя», говорил Н. Я. Марр в одном из своих многочисленных произведений, обращаясь к национальностям, строящим свой язык. «Познай самого себя», познай свой язык, свою историю, свою жизнь. Октябрьская социалистическая революция, давшая всем национальностям, живущим в СССР, национальное равенство и свободу, тем самым дала им возможность познать самих себя во всей многогранности, и нет той национальности, которая не изучала бы своей истории и своего языка. Но при изучении своего конкретного национального языка нельзя отвлекаться от общего процесса глоттогонии (языкотворчества) (Врубель 1936, 69).

С другой стороны, сама идея стадийного развития вовсе не чужда евразийцам: в этой связи они успевают погрузиться и в вопрос об отношениях между диалектами и нормативным языком:

Народные говоры в звуковом и грамматическом отношении развиваются обычно скорее, чем языки литературные, развитие которых в этом отношении искусственно задерживается школой и авторитетом «классиков». Поэтому наступают моменты, когда литературный язык и народные говоры представляют настолько различные стадии развития, что оба они несовместимы в одном и том же народно-языковом сознании. В эти моменты между обеими стихиями, — архаично-литературной и новаторски-говорной, — завязывается борьба,

<sup>30</sup> См. об этом: Гаспаров 1987, 57 и Томан 1981.

которая кончается либо победой литературного языка, либо победой народного говора, на основе которого в этом случае создается новый литературный язык, либо, наконец,— компромиссом (Трубецкой 1927б, 58).

Этого, разумеется, недостаточно, чтобы поставить знак равенства между евразийцами и марристами: для Трубецкого речь идет о двух подвидах внутри одного и того же языка, находящихся на различных ступенях развития, тогда как для Марра речь идет о двух различных языках, классовых языках разного происхождения под общим обличьем национального языка. Однако терминология скользит, сбивается с пути. Дух времени и дух места образуют доксу, которая формирует сходные мыслительные привычки.

*Проблема законов.*— Евразийцы и марристы одинаково относятся к эпистеме XIX века и с одинаковым усердием ищут законы истории языков. Будучи наследниками прошлого века, гегельянства и немецкого романтизма, они верят в философию истории. И для тех и для других эволюция языков не является чем-то бессвязным и случайным — напротив, это предопределенное развитие.

Разграничение между идеалистической и историко-материалистической позицией вряд ли нам чем-нибудь здесь поможет. Верно, что у евразийцев существуют «имманентные законы» эволюции, однако в то же время эволюция языков сильно зависит от географических детерминаций. Верно, что у марристов эволюция языков подчиняется общественно-экономическим закономерностям, однако сама последовательность стадий оказывается столь жесткой, что кажется, будто процесс идет сам собой — а в этом и заключается суть органицистского мышления.

Вскоре после образования Пражского лингвистического кружка (в октябре 1926 года) Якобсон послал Трубецкому письмо, в котором, «потрясенный, [он] объяснял Трубецкому (...) что изменения языка имеют системный и целестремительный характер, что эволюция языка и развитие других социокультурных систем идут рука об руку, устремляясь к более глубокому сродству и к общей цели»<sup>31</sup>. Ответ Трубецкого стал подлинным манифестом в защиту закономерной эволюции<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Якобсон 1980, 66—67.

<sup>32</sup> Слово «закономерность», о котором уже шла речь, повторяется как лейтмотив и у евразийцев, и у марристов.

и параллелизма между различными рядами явлений, планомерной атакой против «западных» идей прогресса, причинности и случайности:

В истории языка многое кажется случайным, но успокаиваться на этом историк не имеет права: общие линии истории языка при сколько-нибудь внимательном и логическом размышлении всегда оказываются неслучайными,—а следовательно, неслучайны должны быть и отдельные мелочи; все дело только в том, чтобы уловить смысл. Осмысленность эволюции языка прямо вытекает из того, что «язык есть система». Я в своих лекциях всегда стараюсь показать логику эволюции (...) Ведь единственный смысл, который допускается в истории, это — пресловутый «прогресс», т. е. понятие мнимое, внутренне противоречивое и, следовательно, сводящее «смысл» к «бессмыслице». С точки зрения общих историков можно для эволюции языка устанавливать только такие «законы» как: «прогресс цивилизации разрушает двойственное число» (Meillet) — т. е., строго говоря, законы, во-первых, весьма подозрительные, а во-вторых, не чисто лингвистические. Между тем, внимательное изучение языков с установкой на внутреннюю логику их эволюции учит нас тому, что таковая логика есть, и что можно установить целый ряд законов чисто лингвистических, не зависящих от внелингвистических факторов «цивилизации» и проч. Но, разумеется, эти законы не будут говорить о «прогрессе» или «регрессе» (...) Другие стороны культуры и народной жизни тоже эволюционируют со своей особой внутренней логикой и по своим особым законам, тоже ничего не имеющим общего с «прогрессом» (...) Время синтеза еще не наступило. Но, вместе с тем, не подлежит сомнению, что какой-то параллелизм в эволюции разных сторон культуры существует,—а следовательно, существует и какая-то закономерность, этот параллелизм обуславливающая (...) Нужна какая-то особая наука (...) занимающаяся исключительно синтетическим изучением параллелизма эволюции отдельных сторон жизни. Все это применимо и к языку (...) Т. о., в конце концов вполне правомерен вопрос не только почему данный язык, выбрав такой-то путь, эволюционировал так, а не иначе,—но и почему данный язык, принадлежащий данному народу, выбрал именно такой-то путь эволюции, а не другой (напр., чешский — сохранение количества, а польский — сохранение смягчения). Но только это вопрос должна решать уже не лингвистика, а какая-то другая наука, скажем, «этнософия»... (Грубецкой, письмо от 22 декабря 1926 года; Грубецкой 1985, 96—98).

Конечно же, Марр тоже мог быть мишенью этого манифеста, потому что он был глубоко привержен идее прогресса. Однако у него о случайности даже не упоминается, так как прогрессивная смена стадий подчиняется строгому детерминизму. Что же касается причинности, то это вопрос непростой, причем в силу того же самого детерминизма. Вот его главные мысли о *законах* эволюции:

— язык не является самостоятельной сущностью, независимой от общества: это необходимый продукт общественно-исторического процесса, развертывающийся на основе потребностей в практической деятельности и коммуникации между людьми;

— история языков не является хаотическим потоком случайных и разнонаправленных изменений, но закономерным процессом возвышения низших форм в сторону высших форм, процесс, обусловленный постепенным ходом общественно-исторического развития;

— закономерности образования грамматических структур тождественны для всех языков.

Хотя Марр и не говорит о «внутренней логике», у него есть представление о необходимой стадийной эволюции, которая, как правило, не согласуется с общественно-экономической причинностью. Он использует классическую морфологическую типологию, унаследованную от Шлейхера (языки проходят в своем развитии изолирующую, агглютинирующую и флективную стадии). Так как кавказские (или «яфетические») языки занимали большое место в его воображении<sup>33</sup>, он дополнил эту картину эволюции четвертой стадией, чтобы дать кавказским языкам отдельное особое место. Эти четыре стадии напоминают геологические эпохи, а их наличное сосуществование объясняется теорией пережитков. В 1929 году разработка его эволюционной схемы была уже почти завершена:

1) «языки системы первичного периода»: моносиллабические и полисемантические (китайский и языки средне- и дальнеафриканские живые);

2) «языки системы вторичного периода»: угро-финские, турецкие, монгольские;

3) «языки системы третичного периода»: это пережившие яфетические языки, хамитические языки (ближне- или дальнеафриканские);

4) «языки системы четвертичного периода»: семитские языки, протоеидские языки или т. н. индоевропейские языки<sup>34</sup>.

Эта замороженность законами и закономерностями, характерная как для евразийцев, так и для марристов, показывает, что натурализм во все не был для них решенной проблемой, несмотря на все заявления об обратном. Об *отказе* от натурализма у тех и других говорится столь

<sup>33</sup> Грузинский — родной язык Н. Я. Марра по материнской линии.

<sup>34</sup> Марр 1929, 14—15.



часто, что невольно возникает мысль: быть может, это возврат вытесненного? Вот, например, утверждение Якобсона из некролога Трубецкому:

Идеи Трубецкого, твердо направленные против всякого натурализма (биологического или эволюционистского) в духовном мире и против всякого сознательного эгоцентризма, безусловно коренятся в русской идеологической традиции, однако включают и неповторимые личные моменты... (Якобсон 1939 [Себеок 1966, 531]).

Эти отказы трудно принять на слово — особенно потому, что евразийская теория языковых союзов или даже просто языка как системы строилась целиком на идее «органической связи», «органической целостности» как некоего тела, из которого нельзя изъять отдельный орган, этой самой целостности не нарушив<sup>35</sup>. Этот тип мысли имеет глубокие корни в органицистской традиции XIX века в России<sup>36</sup>. Однако, продолжая наше чтение текстов, мы обнаружим те же самые органицистские метафоры и у марристов, хотя они особенно яростно нападали на естественнонаучную модель в лингвистике:

Ближайшим к аморфно-синтетическому строю речи стоит агглютинативный, не имеющий еще органически выраженных окончаний имен существительных и прилагательных (Мещанинов 1929, 163—164).

Эта живучесть органицистской модели видна и в стойкой метафоре языка как живого существа. В своей критике органицизма Шухардт отвергает и саму эту метафору:

Вплоть до недавнего времени язык рассматривался обычно как независимый организм, как субъект, тогда как по сути он является лишь продуктом человеческой деятельности (Шухардт 1922, 128).

Метафора субъекта — это одна из наиболее частых тем в диахронических исследованиях Трубецкого:

...с этого момента данный язык можно считать уже распавшимся, т. е. утратившим свое единство как «субъекта эволюции», и единственными «субъектами эволюции» оказываются уже отдельные диалекты (Трубецкой 1927б, 56).

---

<sup>35</sup> Точно так же нельзя изъять из Евразии (СССР) одну отдельную область, народ, язык, не разрушив этот «живой организм».

<sup>36</sup> Вспомним Н. Данилевского, который в работе «Россия и Европа» (1869) представил натуралистическую картину человечества, поделенного на «культурно-исторические типы», абсолютно различные и непроницаемые друг для друга, назвав ее «исторической морфологией». Эта книга сильно повлияла на Трубецкого.

Этот общерусский праязык распался — т. е. перестал быть единым субъектом эволюции — между половиной XII и половиной XIII века (...) эти наречия [великорусское, белорусское, малорусское] нельзя рассматривать как целостные субъекты эволюции (Там же, 57).

...во время деятельности славянских первоучителей отдельные отпрыски праславянского языка еще не утратили способности к совместным изменениям и праславянский язык в своем целом еще не перестал быть субъектом эволюции (Там же, 60).

Эта же тема проводится и в некрологе Якобсона Трубецкому:

Как убедительно показывает Трубецкой, праславянский существовал как «субъект эволюции» до начала нашего тысячелетия, покуда не стало распространяться последнее общefonетическое изменение — падение редуцированных гласных (Якобсон 1939 [1973, 305]).

По сути, русское языкознание 1920-х годов (в СССР или в эмиграции) было глубоко укоренено в идеологии *жизни*, которая продолжила резкую романтическую критику *механистических* объяснений.

Все прошлые и нынешние попытки извлечь из изучения языковой системы вопросы времени и пространства обедняют и даже устраняют *жизненный принцип* самой системы, в котором действительно заключена обширная проблематика времени и пространства (Якобсон 1980, 88: речь идет о 20-х и 30-х годах).

...Ни один лингвист и ни один историк культуры не станут отрицать жизненного процесса в каждой культурной форме (Мещанинов 1929, 110).

### Загадка сходств

Если оказывалось, что *сродственности* не обусловлены общим происхождением (генетическая теория), были возможны два решения:

— эволюционистское решение: независимое появление сродственностей в различных местах в результате параллельной и независимой эволюции (причем географическая среда или «пространственный фактор» не играют здесь никакой роли). Таким образом, сродственности возникают между различными системами в рамках одного и того же типа. Таков тезис Марра, который идет вразрез с моделью изменения через скрещение;

— диффузионистское решение: сродственности появляются в результате пространственного контакта и диффузии. Такова евразийская теория с тем уточнением, что диффузия посредством контакта происходит в некоторых случаях естественного симбиоза языков и культур на

естественно ограниченной территории, которую сейчас принято называть *экологической нишей*. Правда, роль *среды* (физического и культурного окружения) при этом считается определяющей, что противоречит столь близкой Трубецкому идее «внутренней логики эволюции».

Общим для обоих направлений мысли был пересмотр классической генетической модели индоевропейской лингвистики<sup>37</sup>: в обоих случаях на первый план выдвигались факты, которые не соответствовали этой модели. Однако в обоих случаях (хотя и в разной степени) имело также место взаимопроникновение эволюционистской и диффузионистской модели.

До окончательного разрыва со сравнительной грамматикой в середине 1920-х годов Марр объяснял скрещения языков переселениями народов. «Яфетиды» — так Марр называл автохтонное население всего средиземноморского бассейна; впоследствии оно контактировало и скрещивалось с индоевропейцами, семитами и другими мигрировавшими народами. Модель скрещения (но не смешения!) остается вполне органицистской<sup>38</sup>: у языка есть не только мать, но и отец, и два языка способны породить третий.

После 1924 года Марр искал более строгую эволюционистскую модель, которая могла бы объяснить появление сходных явлений в различных точках земного шара и в различные моменты. Теория миграций и контакта через диффузию ему уже не была нужна, и он решил, что этнические образования (этноты) имеют *автохтонный* характер. Так, русские из Восточной Европы и русские и Тьмутаракани выработали свой язык *независимо* друг от друга, путем стадильных скачков,

---

<sup>37</sup> Ее и Марр, и Трубецкой хорошо знали: первый провел летний семестр в Страсбурге в 1894 году, а второй — год в Лейпциге в 1913.

<sup>38</sup> Сам Мейе обратил внимание на опасность органицистской метафоры: «Как и все образные выражения в языкознании, образ *родства* обманчив: родство языков — это не обычное родство: дочерний язык — это преобразование материнского языка, а не его отросток. Слово „родство“ стало настолько привычным, что от него трудно отказаться: впрочем, если строго определить его значение, вполне можно избежать заблуждений» (Мейе 1921 [1926а, 102]). Марр выражает ту же идею почти теми же словами: «Термин „родство“ внесен в лингвистическую науку, когда о происхождении языка или не было никакого представления, или оно мыслилось в порядке физического, т. е. кровного родства. Естественно, при таком взгляде на природу речи был безоговорочно усвоен биологический термин (...) Термин может быть усвоен, но его надо освободить от обычно придаваемого ему значения как слова из биологической терминологии» (Марр 1929, 2).

не покидая своей территории<sup>39</sup>. Таким образом, языки изменяются сами по себе, резкими скачками, свидетельствующими о переходе с одной стадии на другую.

Однако Марр никогда не отвергал модель гибридизации. Само наличие двух различных объяснений изменения — через стадийное развитие или через гибридизацию — оставалось, несмотря на все попытки примирить эволюцию и диффузию, неразрешенным противоречием.

Трубецкой утверждал, что языки и культуры Евразии если и не сливаются, то по крайней мере развиваются параллельно и гармонично. У Марра не было теории пространства, и потому он ограничился предсказанием всеобщего слияния всех языков во вселенском масштабе. Разумеется, теория соответствий между определенным типом языка и определенным типом общества находит свое выражение и у марристов. Однако несмотря на идею скрещения, предполагающую контакт, марровский мир имеет мало общего с миром географов.

Как это ни парадоксально, евразийцы оказались гораздо ближе к сталинской теории слияния народов и культур в СССР, чем марристы.

Стремясь к пониманию разнообразия языков и опираясь на противоположные модели, евразийцы и марристы столкнулись с проблемой границ между языками и попытались разрешить один и тот же вопрос, возвестивший о начале современной эпохи: *как примирить замкнутость системы с открытостью границ?* И те и другие ставили под вопрос понятие индоевропейского праязыка и стремились построить типологию негенетическую — не унаследованную, а приобретенную. И те и другие чувствовали дух времени, отвергая идею генетического родства языков и тщательно исследуя проблему *границы* — внутри которой, несмотря на все различия, мы все еще находимся в пределах *того же самого*, а вне которой, несмотря на все видимые сходства, мы уже находимся в области Другого. Мейе стремился сохранить границы: заражение и размывание языков возможно, но лишь в пределах одной генетической языковой семьи. Напротив, Трубецкой отверг все генетические барьеры, но лишь для того, чтобы надежнее восстановить другие, *естественные* барьеры, еще более жесткие и непроницаемые. Марр был полон сомнений. Повсеместная гибридизация, кото-

---

<sup>39</sup> Марр 1935: ИР—5, 184—185.

рую он положил в основу эволюции, должна была привести к всеобщему *слиянию* языков, хотя при этом различные языковые стадии оставались взаимонепроницаемыми, и переход от одной к другой мог произойти лишь скачком, оставляющим следы в виде пережитков.

Оба эти направления, возвестившие о свержении органицистской модели, фактически (каждое по-своему) ее сохранили. И то и другое в 1920-е годы были частями эпистемы завершающегося XIX века; ни то, ни другое не смогли (или не захотели) сделать языковедение самостоятельной наукой, определяемой своим собственным научным предметом. По ту сторону двух систем метафор — маррской геологической метафорике с ее осадочными слоями, эрами (первичной, вторичной...), ископаемыми (пережитками), примесями биологистского мышления (скрещение) и органицистской метафорике евразийских языковедов (недарвиновская эволюционистская модель телеологической конвергенции) — маячила общая *антропологическая* проблематика, которая определяла размышления об отдельных языках и о языке как таковом в обоих этих направлениях.

Противопоставление этих подходов размывается на фоне их своеобразного прочтения Гегеля. Они заимствовали у Гегеля философию истории, веру в возможность отыскать *законы*, абсолютную уверенность в детерминизме и, наконец, мысль о том, что индивид есть лишь представитель более высокого, общественного начала (у евразийцев речь идет о многоуровневом национальном сообществе, а у Марра — об этническом или же классовом сообществе). В этом смысле оба направления являются «антигуманистическими».

Не столь уж важно, что у Марра существует единый человеческий язык, а все конкретные языки — живые или мертвые — оказываются его пространственно-временными воплощениями, а у Трубецкого языки изначально выступают как *необходимо* различные и к тому же способные образовывать особые группы внутри замкнутых культурно-исторических совокупностей. В конечном счете в обоих направлениях мысли системы предстают как замкнутые и оторванные друг от друга. У Марра сама мысль о зависимости языковых «систем» от той или иной стадии общественно-экономического развития предполагает, что на Земле сменяются и сосуществуют общественные формации, отрезанные друг от друга, не имеющие между собою никаких контактов, наделенные особой, отличной от других, «идеологией» или «типом мышления». У Тру-

бецкого, который развивает идеи Данилевского, или у Якобсона, который подхватывает идеи Ж. де Местра, различные сообщества оказываются не только отдельными, но и непроницаемыми друг для друга.

Антропологическая рефлексия русских ученых в 1920-е и 1930-е годы безусловно опиралась на новый, неизвестный западным ученым материал. Однако она также свидетельствовала об экзистенциальной незащищенности русских ученых — в эмиграции или внутри страны торжествующего сталинизма — перед лицом Запада.

В итоге, несмотря на все заявления и манифесты, марристы и евразийцы не создали ничего такого, что с эпистемологической точки зрения можно было бы назвать *новой наукой*. И те и другие больше следовали духу времени, чем духу места. Правда, и европейский дух времени был бы непонятен без учета русского участия в интеллектуальной жизни Европы. Евразийцы участвовали в рождении европейского структурализма, марристы (главным образом, школа Мещанинова) — в рождении современной типологической проблематики.

По сути «русская мысль» не является абсолютно самобытной, потому что за оппозицией марристов и евразийцев прорисовывается хорошо известная оппозиция между эволюционистским универсализмом как наследником философии Просвещения и релятивизмом замкнутых пространств как наследником романтического контрпросвещения, вдохновлявшегося немецкой антропологией эпохи Бисмарка, но безусловно восходившего к Дж. Вико и даже к софистам<sup>40</sup>. Начало этой оппозиции положили философско-идеологические движения конца XVIII века и переориентация естественных, а также социальных и гуманитарных наук, вызванная поражением Французской революции и эволюцией ее восприятия в романо-германском и славянском мире. Неудивительно, что марризм и евразийство, противопоставленные как некогда Просвещение и контрпросвещение, объединились в общем неприятии Запада, в давнем страдании по поводу своей идентичности — страдании, которое не отпускает душу после болезненных реформ Петра Великого.

Это отступление в марризм было нам здесь нужно для того, чтобы лучше понять острые вопросы спора между эволюционизмом и диффузионизмом; оно позволяет нам теперь обратиться к теме языковых союзов уже под новым углом зрения — через понятие *сродства*.

---

<sup>40</sup> Ср. Берлин 1976.

**Часть третья**

***Природа***





## Глава VI

### Сродственности

Используя понятие *языкового союза*, Якобсон и Трубецкой (каждый по-своему) провозгласили переворот во взгляде на классическую проблему отношений между языками. Отвергая генетическую модель, царившую с момента возникновения сравнительной грамматики, издаваясь, наряду с другими критиками, над расхожим догматизированным образом генеалогического древа, введенным в оборот А. Шлегелем, они присоединились к общему потоку пересмотра компаративистского наследия и особенно младограмматической догматики. В этом они принадлежали своему времени. Однако на фоне остального языковедческого сообщества они выделялись своими новыми мыслями об отношениях между языками; эти мысли основывались на тонком истолковании понятия *сродства*, причем в них не только присутствовала сама констатация *сходства* языков, но и чувствовалось изумление перед открытием их *взаимопитяжения*.

В Пражском лингвистическом кружке сложную проблему тождества, различия и сходства языков интенсивно изучали не только Якобсон и Трубецкой, но и чешские члены кружка — Гавранек, Скаличка. Однако у истоков этого переворота стояли Трубецкой, который первым (в 1923 г.) предложил понятие *языкового союза*, и Якобсон<sup>1</sup>, который ввел в языкознание понятие *конвергенций*.

А теперь рассмотрим исторические этапы образования понятия сродства в языкознании, начав с его эволюции в других областях знания. Критически сопоставляя различные подходы, мы постараемся обнаружить если и не исходный общий пункт, то хотя бы те возможности концептуального выбора, которые лежали в основе различных переосмыслений отношения между двумя понятиями — «родство» и «сродство».

---

<sup>1</sup> Якобсон 1931а, Якобсон 1931б.

В разные периоды и в разных областях понятие сродства толковалось двояким образом: статически, в связи со *сходством*, и динамически, в связи с *притяжением*. Эти два понятия антитетичны, но постоянно опираются друг на друга, хотя подчас и непонятно, как именно это происходит. В самом деле, что же побуждает к объединению — похожесть или, напротив, различие? Тут возможны два типа рассуждения, две метафоры (с постоянным скольжением смыслов или же с резкими переосмыслениями): их эпистемологические следствия мы и стремимся здесь проследить.

Как уже говорилось, бесполезно изучать работы того или иного лингвиста сами по себе. Любое научное производство осуществляется на фоне других наук, других текстов, оно строится на основе *доксы* — общепринятых представлений и определенной «настроенности мнений». Якобсон, как и любой другой ученый, не был гением-одиночкой. Он участвовал во всех лингвистических конгрессах межвоенного периода. Он много читал, иногда цитировал свои источники и все умел привлечь на пользу своего дела<sup>2</sup>. Восстановить его интеллектуальный мир в связном виде нелегко. Однако понятие сродства — надежный к этому путь. В его интеллектуальном мире мы постараемся вычленилть слои знаний, метафор, открытий и переноса терминов. В научном рассуждении ничто не теряется навсегда: подчас мы даже не осознаем, что знаем нечто, не понимаем, откуда взялось то, что мы знаем, иногда мы что-то вспоминаем, не давая себе отчета в том, что это — воспоминание. И ничего загадочного тут нет: мы читаем книги людей, которые читали другие книги, и т. д. Однако по ту сторону квазизабвений наслаиваются ряды переосмыслений. Внимательно изучая неоднократные ссылки Якобсона на другие области языкознания и в особенности — на антидарвиновскую биологию его времени или на роман Гёте «Избирательное сродство», мы постараемся найти ту путеводную нить, которая ведет к философскому вопросу о тождестве и различии: именно он лежит в основе понимания перехода от природы к культуре, в основе всей антропологии.

---

<sup>2</sup> В обоснование своего интереса к проблеме сродства он ссылается, например, на Ван Гиннекена, не упоминая о том, что биологизирующий подход Гиннекена весьма отличен от его собственного. Однако даже если их решения различны или подчас несовместимы, проблематика у них сходная; ср. Ван Гиннекен 1935.

## Два пути к сродству

### Проблема границ

«Сродство» — это ключевой термин, который тревожит нас своей глубинной двойственностью. В разные эпохи, в разных областях и учениях оно выступало соответственно как обычное сродство, как квазиродство, как подлинное родство, как нечто более высокое, нежели родство, и притом радикально иное.

Этимологически это слово восходит к латинскому *adfinitas affinitas*: оно производно от прилагательного *adfinis*, образованного в свою очередь от *finis*, «граница», «предел». Первоначально это был термин земельного права, обозначавший соседство земельных участков разных собственников. Так *adfinis* приобретает значение «приграничный» (*regiones adfines barbaris*: области, соседствующие с варварами)<sup>3</sup>. В субстантивированном виде это прилагательное получило смысл «свойственники», «родня по браку» (пространственный смысл соседства в данном случае распространен на отношения приобретенного родства). Существительное *adfinitas* тоже означает 1) соседство, 2) родство через брак. В расширенном смысле оно может означать «привилегированное отношение». Причины перехода от *границы* к *союзу* можно, наверное, объяснить эволюцией права собственности.

### Узаконенное сближение:

#### юридическое и антропологическое понятие союза

Французское слово *affinité(s)* появилось в правовом словаре в XII веке со значением «соседство», а в XIII веке приобрело значение «родство через брак». Во французском гражданском праве родство через брак зависит от *степеней* близости с семьей супруга (супруги) в случае заключения брака. В этом смысле сродство, или свойство, может повлечь за собой те же последствия, что и родство: так, оно требует предоставления средств для существования, предполагает определенные брачные запреты. Что же касается *духовного сродства*, то это — записан-

---

<sup>3</sup> Другой смысл *adfinis* («смешанный с чем-то, принимающий участие в чем-то») не сохранился во французском языке (*ejus rei auctores adfinesque*: «подстрекатели и соучастники этого преступления»); однако постараемся запомнить это значение «участия».

ные отношения между крестным отцом и крестной матерью ребенка, а также их обоих с отцом и матерью ребенка (в данном случае употребляют термин «кумовство»). Внутри общей области «родства» каноническое право последовательно разграничивает родственников по брачным связям (союзников, свойственников) и кровных родственников, или родственников независимо от брачных связей.

В XIV веке скользящее значение термина привело к появлению нового смысла: это соответствие, сходство между двумя вещами, далее это гармония вкусов, чувств и проч. между двумя людьми, могущая привести к согласию, симпатии, притяжению, склонности (ср.: «сходство характеров и вкусов побудило их связать свои судьбы»). В данном случае *сходство* порождает *притяжение*.

Однако в области антропологии отношения между «сродством» и «родством» заслуживают особого внимания. Когда речь идет о том, что ныне называют «системами родства», слово «родство», по словарю Литтре, может иметь два различных значения: с одной стороны, кровное родство, с другой стороны, «собирательная совокупность всех родственников и свойственников данного человека». В первом случае *affinité* означает союз свойственников и противопоставляется *родству* на том же самом уровне иерархии, а во втором случае *родство* выступает как общий термин, значение которого подрасчленяется на генетическое родство (кровное родство, или собственно родство) и родство через союз (или сродство). В первом случае *родство* обозначает целое, во втором — часть в «системе» отношений, однако в любом случае считается, что в силу запрета кровосмешения сходство (как следствие кровного родства) не должно порождать притяжения.

*Внутренняя связность и внешнее притяжение:  
от алхимии к химии*

Использование слова «сродство» в химии для нас здесь, пожалуй, важнее, потому что оно ведет нас — через Гёте<sup>4</sup> — к Якобсону. Это понятие, трактуемое как *симпатия, склонность к объединению*, причина соединения атомов, мы находим уже у греческих атомистов. Само это

---

<sup>4</sup> Опираясь на Гете, Якобсон переводил *Wahlverwandschaft* на французский как «convergence de développement» (конвергенция в развитии) (Якобсон 1938 (1985) [SW-I, 236]).

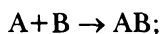
слово, обозначающее соединение двух субстанций, впервые встречается у средневековых алхимиков (например, у Альберта Великого, 1193—1280) в их размышлениях о превращениях металлов. В то время считалось, что химические соединения возникают лишь тогда, когда составляющие их тела обладают сходными *качествами*: соединяться может только сходное. Еще и в XVIII веке слово «сродство» (*affinité*) обозначало *свойство* двух тел, способных соединиться посредством сходных частиц (Жофруа Старший, «Таблица сродственностей», 1718). Несколько позже это слово стало обозначать прежде всего *тенденцию* двух или более субстанций к химическому соединению: сродство уже не выступает как условие притяжения. Тогда стали говорить, например, о *сродстве данного элемента с кислородом*.

«Большой энциклопедический словарь XIX века» Пьера Ларусса вносит важное уточнение, отделяя химическую проблематику от «расхожего» значения сродства:

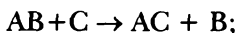
В химии слово «сродство» имеет другой смысл, нежели в обыденном языке. Говорят, что два тела сродственны друг другу, если при непосредственном контакте они имеют тенденцию к соединению. Однако наше понимание этого выражения было бы неправильным, если бы мы решили, что эти тела находятся в отношениях родства и обладают подобными свойствами; напротив, *чем менее они сходны, тем более они склонны к соединению*<sup>5</sup> (статья «Affinités»).

Имя шведского химика Торберна Бергмана (1735—1784) тесно связано с *теорией сродственностей*. В своей «Таблице сродственностей» (1775) он различает виды сродственностей между телами, вводя новую терминологию на основе алгебраической записи:

— когда оба тела свободны, имеет место *простое сродство*:



— когда простое тело разрушает составное тело, чтобы завладеть одним из его компонентов, имеет место *избирательное сродство*:




---

<sup>5</sup> Курсив наш.— П. С. Однако это смысловое отличие относится не столько к расхожему значению слова, сколько к алхимической причинности: в самом деле, разве обыденное сознание видит в сродстве условие притяжения?

— наконец, когда два тела входят в состав двух различных составных тел, имеет место *сложное сродство*:



Лишь наличие *избирательного сродства* позволяет измерить степень *простого сродства*.

Гёте интересовался химией<sup>6</sup>. В 1785 году появился немецкий перевод работы Бергмана<sup>7</sup> под заглавием «Wahlverwandtschaften» (калька с латинского научного термина *attractio electiva*). Творчество Гёте можно рассматривать как некую параллель *философии природы*: в обоих случаях цель заключается в том, чтобы не допустить потери единства и целостности человеческого познания, его расщепления на отдельные дисциплины и особенно — разделения на точные науки и гуманитарные науки (или «науки о духе» — *Geisteswissenschaften*). В своем романе Гёте подхватывает заглавие работы Бергмана и кладет в основу мысль о том, что в природе все подчиняется одним и тем же законам: так, существуют неизбежные *соответствия* между притяжением химических тел и притяжением влюбленных сердец, что, собственно, и составляет канву романа. Наука и жизнь, химия и литература нераздельны: если сила, притягивающая В к С, мощнее силы, которая связывает В с А, то А и В разделятся... Избирательное сродство Бергмана именно таково:  $AB + C \rightarrow AC + B$ . Гёте вовсе не стремился доказать, что жизнь управляется химическими законами: речь идет, скорее, о сопотраженности разных уровней реальности. Гёте был явным противником Ньютона во многих областях (в частности, в теории цвета), однако обоих мыслителей объединяла надежда на построение общей теории притяжения, которая могла бы связать единым законом физику небесных тел с химией земных. Особенностью взглядов Гёте было убеждение в том, что область человеческих отношений тоже должна соответствовать

<sup>6</sup> О научных идеях Гете и вообще об *эпистеме* романтизма ср. Гусдорф 1993, 2, 197 сл.; о научных основах романа «Избирательное сродство» ср. Адлер 1990, которому мы обязаны рядом мыслей.

<sup>7</sup> «Disquisitio de attractionibus electivis» [Рассуждение об избирательных сродственностях], 1755. Дело в том, что немецкий термин *Verwandtschaft* как перевод *attractio* очень неудачен, потому что он одновременно означает «родство». И это лишь одно из недоразумений вокруг слова *affinité*, которых было так много с момента его появления в языке.

этому высшему Закону, в котором находит свое обоснование даже эстетика. Гёте толкует человеческий мир в терминах всеобщего, хотя и до сих пор не объясненного (ибо недостаточно изученного) порядка, который охватывает все уровни — от молекул до звезд. Для этого он воссоединяет элементы традиции, начала которой восходят к неоплатоникам, а оттуда — к Возрождению с его учением о всеобщей *симпатии*, связывающей между собою все части космоса. В творчестве флорентийца Марсилио Фичино (1433—1499), крупного пропагандиста платонических идей, *симпатия* представляла как «окультурное качество», лежащее в начале явлений, иначе необъяснимых, — от человеческой любви до движения планет. Два века спустя декартовская критика «окультурных качеств» в «Началах философии» (1644) подорвала основу этих теорий, и *симпатия*, отныне понимаемая как «притяжение», была преобразована Ньютоном в физическое понятие. Хотя мысль Гёте свободно скользила с одного уровня на другой, ее общие параметры были, по сути, современны этим тенденциям и парадоксальным образом родственны Ньютону.

В «Избирательном сродстве» Эдуард и его друг капитан пытаются объяснить Шарлотте, что все живые существа испытывают «интимное притяжение», силу взаимосвязи. Шарлотта как прилежная и заинтересованная ученица хватается этот урок на лету, чтобы применить его к внешнему притяжению между людьми, переходя от силы внутренней связи (гарантия самотождественности) к силе *сродства* (обоснование притяжения):

— Позвольте мне опередить вас, — сказала Шарлотта, — и может быть, я угадаю ход вашей мысли. Подобно тому как всякий предмет стоит в интимном отношении к самому себе, так он должен иметь отношение и к другим.

— А отношение это может быть разным, — живо откликнулся Эдуард, — потому что все вещества разные. Иной раз они будут встречаться как друзья и старые знакомые, быстро сближаясь и соединяясь и ничего друг в друге не меняя, как вино при смешивании с водой. Иные, напротив, будут друг другу чужды и не соединятся даже путем механического смешивания или трения; вода и масло, сболтанные вместе, все равно отделяются друг от друга (Гёте 1809)

Понятие интимного притяжения вскоре приводит к определению сродственностей и поиску их причин:

— Только не спешите с объяснениями, — произнесла Шарлотта. — Мне хочется доказать, что я понимаю вас. Но не добрались ли мы уже и до сродства?

— Совершенно верно, — ответил капитан, — и мы сейчас вас познакомим с ним во всей полноте. Натуры, которые при встрече быстро понимают и опреде-

ляют друг друга, мы называем родственными. В щелочах и кислотах, которые, несмотря на противоположность друг другу, а может быть, именно благодаря этой взаимопротивоположности, всегда решительнее ищут друг друга и объединяются, претерпевая при этом изменения, и вместе образуя новое вещество, это сродство бросается в глаза. Вспомним известь, которая обнаруживает сильное влечение ко всякого рода кислотам, явное стремление соединиться с ними (...)

— Признаться,— сказала Шарлотта,— когда вы называете сродством отношение между этими странными веществами, мне представляется, будто их соединяет не столько кровное, сколько духовное и душевное сродство. Именно так между людьми возникает истинно глубокая дружба, ведь противоположность качеств делает возможным более тесное соединение.

Через понятия *склонности*, *явного стремления к объединению*, мы приходим к центральному понятию *предопределенности*, которое предполагает необходимый, а не случайный или условный союз:

— Вернемся,— сказал капитан,— опять к тому, о чем мы уже упоминали. Например, то, что мы называли известью, есть более или менее известковая земля, вошедшая в тесное соединение со слабой кислотой, которая известна нам в газообразном виде. Если положить кусок известняка в разведенную серную кислоту, то кислота, соединяясь с известью, образует гипс, а слабая газообразная кислота улетучивается. Тут произошло разъединение и новое соединение, и мы считаем себя вправе назвать это явление «избирательным сродством», ибо и в самом деле похоже на то, что одному сочетанию отдано предпочтение перед другим, что одно сознательно выбрано вместо другого.

— Извините меня,— сказала Шарлотта,— как я извиняю естествоиспытателя,— но я бы никогда не усмотрела в этом выборе, скорее уж — неизбежный закон природы.

Роман Гёте заканчивается трагически — смертью обоих героев, потому что закон сродства очевидным образом противоречит человеческому счастью. Однако он дает прочную основу для понимания эпистемологического и культурного фундамента того мира Якобсона и Трубецкого, в котором царит порядок — одновременно и более гармоничный, и более непреклонный.

*Невозможная таксономия:  
биологическое понятие<sup>8</sup>*

Если сродство в юриспруденции — это случайный (установленный) союз, а в химии — необходимый союз (основанный на естественной или, ина-

<sup>8</sup> В этой части моей работы я опираюсь главным образом на: Майр 1989.



че — *врожденной* склонности), то биология, которая уже со времен натур-философии сталкивалась с гораздо более сложными таксономическими вопросами, унаследовала от обеих этих линий мысли неподъемно-огромную массу метафорического материала. В XVIII и XIX веках в преддарвиновскую эпоху термин *сродство* в биологии имел два смысла — противоположных, но взаимопроникающих: речь шла о *сходстве*, которое называлось *естественным сродством*, но извлекалось из тех конкретных сходств между живыми существами, на которых основывались классификации. Так, естественное сродство порождало следствия на уровне групп (внутривидовое взаимопритяжение особей) и межполовое влечение, а возрастание интереса к гибридизации побуждало называть сродством взаимопритяжение особей *разных* видов и классифицировать различные степени сродства в зависимости от возможностей и результатов гибридизации.

В XIX веке термин *сродство* обозначал в биологии *сходство* между индивидами и видами как основу классификаций. Он обозначал способность различных видов к оплодотворению и порождению жизнеспособных гибридов. В этом смысле говорилось о сексуальном или физиологическом сродстве.

Линней сопоставил сродство растений с изображениями на географической карте: «все растения обнаруживают сродство такого рода, как области на географической карте» («*Philosophia botanica*», § 77). Если у Линнея географическая карта образно представляет сродство, то у Якобсона пространственное распределение языков его *объясняет*.

Гибриды в биологии — не то же самое, что составное вещество в химии. Мы увидим, что смешанные языки в лингвистике порождают и другие проблемы. Однако цепь метафор вездесуща.

В доэволюционистские времена слово «сродство» означало «сходство». Сходства отображали общий порядок вселенной, великий план Творца, согласно которому все живые существа классифицировались на единой и единственной шкале совершенства или лестнице природы (*scala naturae*). В начале XIX века, в эпоху философии природы, стали замечать, что встречаются *два рода сходств*: подлинные (сущностные) сродственности и иные сходства, которые Шеллинг, Оукен и их последователи называли *аналогией*<sup>9</sup>. Так, пингвины родственны уткам

---

<sup>9</sup> Любопытно, что работа Дарвина «Происхождение видов» (1859), где выдвигается мысль о сходствах как доказательстве происхождения от общего предка, вышла *позднее* соответствующих работ лингвистов (Шлейхер).

по истинному сродству и одновременно водоплавающим млекопитающим (например, китам) по аналогии. Соколы родственны попугаям и голубям, но «аналогичны плотоядным» среди млекопитающих. Понятие *функции* тут тоже оказывается близким по смыслу. Именно на функциональной основе английский анатом Ричард Оуэн (1804—1892) разграничил *гомологию* и *аналогию*, и это различие стало преобладать в сравнительной анатомии — в особенности после ее эволюционистского переосмысления.

В 1843 году Оуэн систематизировал натурфилософскую оппозицию между *сродством* и *анalogией*. В итоге слово «сродство» практически исчезло, уступив место «гомологии», а *аналогия* стала обозначением функциональной тождественности органов или частей тела у разных животных независимо от их происхождения (ср. крылья у птиц и у насекомых); напротив, отношение *гомологии* связывает такие органы различных животных, которые, независимо от их формы и функции, имеют общее происхождение (например, крылья у птиц и передние плавники у китов).

Для русских пражан эта оппозиция между унаследованными и благоприобретенными сходствами приобрела особое значение под влиянием географа и биолога Л. С. Берга (1876—1950)<sup>10</sup>. 26 февраля 1929 года Яacobсон пишет Шкловскому: «прочел с увлечением книгу Берга о „Номогенезе“»<sup>11</sup>. Эту книгу он неоднократно рекомендовал Н. Хомскому<sup>12</sup>.

В своей книге «Номогенез, или Эволюция на основе закономерностей», появившейся в 1922 году, Берг четко формулирует отказ от дарвиновского учения. На первый план, вслед за Р. Оуэном, он выдвигает понятие *конвергенции* или независимого приобретения сходных при-

---

<sup>10</sup> По образованию Л. С. Берг был зоологом, однако широта интересов привела его от биогеографии к общей географии как «науке о ландшафте». Это была удивительная личность; его жизнь и творчество заслуживали бы обстоятельного изучения. В 1-м и 2-м изд. «Большой советской энциклопедии» его теория *номогенеза* характеризовалась как «идеалистическая», что, впрочем, не помешало в самый разгар сталинского периода ни его избранию в академики (1946), ни его назначению на пост председателя Советского географического общества, который он занимал с 1940 по 1950 гг. О Берге и о К. Бэре как источнике его концепции ср. Косса 1997. Книга Берга «Номогенез» имела отклик и за рубежом: она была переведена на английский язык через четыре года после ее выхода в свет (Берг 1926).

<sup>11</sup> Ср. Томан 1994, 61.

<sup>12</sup> Там же, 123.

знаков генетически неродственными организмами<sup>13</sup>. Однако Оуэн стремился понять гомологии, а Берг опрокинул эту шкалу ценностей, положив в основу *аналогии*: вопреки Дарвину, он стремился показать, что эволюция идет не путем дивергенции от общего предка, но, напротив, путем конвергенции в сходной среде от генетически неродственных организмов.

У Дарвина и у Шлейхера виды животных (или же языки), отделяющиеся от общего ствола, не могут иметь иных сходств, кроме унаследованных: стать сходными, не будучи ими, невозможно. У Берга мы видим нечто прямо противоположное: киты похожи на рыб, не будучи с ними в родстве, лишь потому, что они *приобрели* эти сходства в результате проживания в одинаковой среде. Однако в учении Берга не следует видеть новое воплощение идеи детерминизма или теории климатов: Берг подчеркивает само наличие *предрасположения к предопределенной эволюции*:

Признаки, которыми отличаются высокоорганизованные группы, появляются задолго до того в виде зачатков у низших (...). Эволюция в значительной степени предопределена, она есть в значительной степени развертывание или проявление уже существующих зачатков (Берг 1922, 278).

Яacobсон использовал эту теорию миметизма между живыми организмами в общей среде, чтобы с помощью Савицкого разработать понятие конвергенции языков как основу учения о *языковом союзе*. Чтению и пониманию Яacobсона мешает его толкование «сродства» как биологической *аналогии*, переворачивающее термины изначальной оппозиции философии природы. Если взять за путеводную нить пару понятий *унаследованные сходства — приобретенные сходства*, мы сможем проследить ту терминологическую и концептуальную эволюцию, которая переводит понятие *сродства* в другую область:

	Унаследованные сходства	Приобретенные сходства
Философия природы	<i>сродство</i>	<i>аналогия</i>
Оуэн	<i>гомология</i>	<i>аналогия</i>
Берг	<i>дивергенция</i> → <i>гомология</i>	<i>конвергенция</i> → <i>аналогия</i>
Яacobсон	<i>дивергенция</i> → <i>родство</i>	<i>конвергенция</i> → <i>сродство</i>

<sup>13</sup> Берг 1922, 105.

В итоге современный французский язык позволяет вычлени́ть три основоположных и взаимопроникающих смысла: от родства через союз и от простого сходства через подобие или аналогию мы переходим, минуя мир химических взаимодействий, к романтической эпохе, к идее предрасположенности, склонности к соединению, взаимному влечению, спонтанному тяготению между различными, генетически не родственными вещами и существами.

Тем самым в эволюции термина *родство* выявляются две линии: они кажутся дивергентными, но на деле причудливо извиваются, сближаются и иногда пересекаются. Одна линия идет из юриспруденции, где сродство есть союз в силу *договора*, другая — из алхимии (а затем — химии), где сродство есть *сила* притяжения или же влечения тел, *предрасположенных* к этому.

### **Неудобная двусмысленность: приобретенные или врожденные языковые сходства**

Трудная и одновременно привлекательная сторона работы лингвистов связана со сложностью согласования смысла употребляемых слов. И тут тем более легко попасть в ловушку, что речь не идет о специализированных терминах: даже такое, казалось бы, простое и привычное слово, как сродство, вполне может использоваться в прямо противоположных смыслах — без какой-либо попытки упорядочить его содержание или хотя бы обозначить различия в его понимании.

#### *От эволюционистской к диффузионистской модели*

Термин «сродство» был впервые применен в лингвистике, по-видимому, Уильямом Джоунзом (1746—1794) в его знаменитой речи перед Королевским Азиатским обществом в Калькутте (1786). Он говорил о «сродственностях» (*affinities*) санскрита с греческим и латинским в смысле наличия между ними «сходств»:

Санскрит, при всей своей древности, имеет удивительную структуру: более совершенную, чем греческий, более богатую, чем латинский; в силу своей изысканной утонченности санскрит берет верх над обоими этими языками, между тем как корни слов и грамматические формы санскрита имеют с ними *сродство*<sup>14</sup> —

<sup>14</sup> Курсив наш. — П. С.

слишком явное, чтобы быть результатом случайности, настолько явное, что филолог, изучая эти языки, не мог не проникнуться убеждением, что они по сути выходят из общего источника, которого, быть может, больше не существует. Существует сходная, хотя и не столь веская причина предполагать, что готский и кельтский, смешавшись потом с другими наречиями, безусловно возникают из того же источника, что и санскрит; к этому семейству можно было бы добавить и древнеперсидский.

Эпоха У. Джоунза — это только начало попыток объяснить сходства общностью происхождения, то есть генетическим родством. Никакое другое объяснение не представлялось возможным: чтобы являть столько сходств, языки должны иметь *общую субстанцию*. Двумя годами ранее в своем «Очерке о богах Греции, Италии и Индии» У. Джоунз трактовал сходство как признак, указывающий на общее происхождение:

Так как в различных политеистических системах можно наблюдать сходства, слишком явные, чтобы быть случайными, трудно удержаться от мысли, что между народами, к ним приверженными, в незапамятные времена существовало какое-то взаимоотношение,

а потому

мы, возможно, согласимся, что индусы, греки и итальянцы произошли некогда из некоего срединного места, и каждый народ вынес отсюда свою религию и свои знания (цит. по Encyclopedia Universalis, статья «Indo-européen»).

Для Макса Мюллера понятие родства — это шаг вперед по сравнению с понятием сродства, в котором он видел лишь простое подобие:

Первая услуга, которую открытие санскрита оказало делу классификации языков, заключалась в том, что после этого ученые уже не могли удовлетворяться некоторым смутным и общим *сродством*<sup>15</sup> и должны были уточнять различные степени родства между различными членами одного и того же класса. На месте классов языков впервые появились определенные языковые семейства (Мюллер 1862, 210, цит. по: Норман 1976, 73).

В этой системе ценностей генеалогия возобладала над таксономией: мы интересуемся сходствами лишь потому что они позволяют нам доказать генетическое родство — единственный предмет, достойный внимания лингвистов.

В «Курсе общей лингвистики» Соссюра «сродство» (*affinité*) — это всегда сходство в силу генетического родства; сродство устойчиво оз-

<sup>15</sup> Курсив наш. — П. С.

начает здесь «отношения, которые объединяют» — санскрит с германским, греческим, латинским и проч.<sup>16</sup>

Этому первому значению «сходства» языков другие лингвисты противопоставляют другое значение. Тут мы переходим от сродства в юридическом смысле к химическому смыслу *предрасположенности к притяжению*. Вряд ли существует особая заранее заданная причина для того, чтобы *сходство* было как-то связано с *притяжением* или, тем более, чтобы оно было его следствием или даже причиной. Однако именно эту линию мысли стал развивать Якобсон с конца 1920-х годов.

Трудно указать, в какой именно момент *сродство* в языковедении перестало означать сходство через генетическое родство и начало означать сходство через родство, приобретенное в результате брачного союза или, иначе, свойств; это был переход от врожденного к приобретенному, от корнепроизводного к заимствованному, от порождения к подражанию, короче говоря, — от эволюции к диффузии.

В «Grand dictionnaire universel du XIX<sup>e</sup> siècle» Пьера Ларусса<sup>17</sup> сродство в лингвистике еще трактуется как синонимичное родству, хотя этот последний термин и не присутствует — настолько очевидным казалось, что сходство может свидетельствовать лишь о генетическом родстве, об общем происхождении:

Сродство языков: отношение между различными языками, принадлежащими к одному и тому же языковому семейству:

- арабский и сирийский имеют многочисленные черты сродства;
- сродство французского, немецкого и русского для ученого очевидно (Ренан);
- из тождества определенного числа корней нельзя сделать вывод об изначальном сродстве языков (Ренан).

Однако в «Grand Larousse encyclopédique» (Paris, 1960) сродство уже противопоставляется родству:

<sup>16</sup> В примечании к этому месту из Соссюра Т. де Мауро ссылается на рукописные источники «Курса» (Энглер 1967, В18—25), в которых ключевые слова — не *сродство*, а *аналогия*, *родственная связь*, *сходство* (между санскритом, с одной стороны, греческим, латинским и германским — с другой). Примеч. де Мауро см. в: Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999, 302.

<sup>17</sup> См. републикацию: Genève; Paris: Slatkine, 1982, без указания года 1-го изд.

Лингвистика: Сродственности в языке: общие явления в языках, принадлежащих к различным группам (например, односложность слов является общей чертой китайского, вьетнамского и тайского).

Подобно этому в девятитомном «Словаре» Робера (1985) читаем:

Лингвистика: выявление структурных аналогий независимо от генетического родства.

Ни в одном словаре или энциклопедии не отмечен сам момент перехода от одного употребления к другому и не назван источник этого терминологического переворота. У Дюбуа и др. (1973) «речь идет о ...», у Дюкро и Шеффера (1995) «было отмечено, что»... Мунен (1974) вообще ни слова не говорит о сродстве. Марузо (1969) дает некое лапидарное определение, которое потом повторялось во всех словарях и энциклопедиях, вышедших после Второй мировой войны<sup>18</sup>:

Сродство—это качество двух языков, между которыми обнаруживаются структурные аналогии независимо от их родства.

Отметим явно *отрицательный* характер этого определения: речь идет о *неунаследованных* сходствах, или, иначе, о таких явлениях, которые не соответствуют общепринятой модели отношений между языками. Здесь мы видим как *типологическая* проблематика рождается из чисто генеалогического подхода, хотя вопрос о географическом *контакте* пока не стоит. Например:

Речь идет о *сродстве* между двумя или многими языками, не имеющими генетического родства, когда они обнаруживают определенные типологические сходства в построении фразы, общие черты словаря, склонения и проч. Например, сходства между латинским и русским склонением объясняются генетическим родством, так как сравнительная грамматика приписывает этим языкам общее происхождение из индоевропейского языка; напротив, сходства между такельма и индоевропейским обусловлены сродством (Дюбуа и др. 1973, 16—17).

По-видимому, первым, кто четко и внятно противопоставил *сродство* (Affinität) *генетическому родству* (Sprachkonsanguinität), был А. Потт

---

<sup>18</sup> Любопытно, что мы не можем здесь даже говорить о четко фиксируемом разрыве, так как еще в последнем издании большого «Oxford English Dictionary» (1989) сродство определяется через генетическое родство: «Сродство: структуральное сходство между языками, возникающее вследствие того, что они исходят из общего источника, и доказывающее такое происхождение».

(1859)<sup>19</sup>. Он предложил провести разграничение между врожденными сходствами и языковым сродством, которое характеризуется присвоением чуждых элементов (*заимствования*) и приводит к образованию *смешанных* языков. При этом особое внимание обращается на гибридизацию и смешение языков, которые впервые пробивают брешь в строго органицистской модели языка, но не приводят к переосмыслению великой биологической метафоры. Именно размышления о гибридизации привели Г. Шухардта к отказу от какой-либо оппозиции между сродством и родством (*elementar Sprachverwandschaft* и *Urverwandschaft*)<sup>20</sup>, так как для него все языки являются продуктами смешения. Вот она — тема расширенной гибридизации, которая вновь возникнет у Бодуэна де Куртенэ (1901) и у Щербы (1925). Она приведет к стиранию границ между языками: например, у итальянского неолингвиста Бартоли<sup>21</sup> все что угодно может быть заимствовано<sup>22</sup>.

Мартине относился к понятию сродства с большим недоверием (1959). Он считал *сродство* разновидностью родового термина *родство*:

Современные языковеды все более склонны допустить существование сродства как типа языкового родства, объединяющего языки, которые в итоге не восходят к общему образцу. Но это мнение не общепризнано. Всегда были лингвисты, которые попросту отвергали любое предположение о структуральном сходстве между генетически неродственными языками как фантазию или же видели в этих сходствах результат случайности, следствие общечеловеческой общности психобиологического субстрата, или, по Гуго Шухардту, *Elementarverwandschaft* (Мартине 1959 [1975, 25]).

<sup>19</sup> Потт 1859, р. XIV. См об этом: Макаев 1972, 292.

<sup>20</sup> Ср. Шухардт 1917; Шухардт 1922, 194—199. «Простейшие сродственности» — те, что присущи человеческому языку как таковому, присущи всем человеческим языкам независимо от отношений генетического родства. Это понятие связано с понятием *Elementargedanken* в антропологии у А. Бастиана (1868).

<sup>21</sup> Речь идет о «предложении 20», на которое ссылаются реже, чем на «предложение 22», хотя оно не менее важное: «Все языковые изобретения — лексические или нелексические, стилистические и нестилистические, латинские или иные — могут стать предметами подражания, то есть заимствованиями» (Бартоли 1928, 32).

<sup>22</sup> Именно на этой основе Д. Баджони (1986) противопоставлял лингвистике отдельных языков (*linguistique de la langue*), основанной на идее замкнутости систем, лингвистику языка как такового (*linguistique du langage*), полностью отвергающую идею системы: в ней все может проникать во все (Шлейхер, итальянские неолингвисты).



*Фонологическое сродство у Jakobsona*

За вопросом о сходстве или различии двух предметов стоит более чем двухтысячелетняя история философии. Размышление Jakobsona на эту тему не приносит нам философских откровений; однако заслуга его в том, что хотя оно и ведется с позиций лингвиста, это не мешает проблеме сродства через общие свойства или общее происхождение включаться в более общий спор о врожденном и приобретенном.

Jakobson и Трубецкой стремятся понять, почему и каким образом языки, генетически не связанные, могут иметь общие признаки, которые *важнее* генетических, ибо *свидетельствуют* о явлениях более высокого порядка. Тем самым они участвуют в перевороте системы ценностей, причины которого остаются невыявленными: почему *приобретенные* сродства становятся *важнее унаследованных*?

И здесь нам нужно выяснить, к какой более или менее скрытой системе метафор прибегает Jakobson при *построении* своего предмета, который он называет «языковые сродственности» и особенно — «фонологические сродственности», подчеркивая при этом, что речь идет именно об открытии, о совершенно новом предмете, фактически о том, что вслед за Башляром называют эпистемологическим разрывом.

Именно на этом фоне проблематики гибридации и чистоты языков становится понятен, по контрасту, смысл термина «сродство» у Jakobsona в 20-е и 30-е годы, вместе с теми следствиями, до сих пор неизученными, которые вытекают из его использования. По сути, Jakobson явно противопоставляет «сродство» и «родство». Проблема перевода этих терминов запутана тем, что в русском языке они нередко употребляются взаимозаменяемо, в отличие от *свойствá* как показателя *сродства* в одном единственном значении — *родства через брак*. Таким образом не всякое сродство обязательно возникает вследствие генетического родства<sup>23</sup>. Именно на рубеже 20-х и 30-х годов Jakobson создает свое учение о «фонологическом союзе евразийских языков», или, иначе — языков, на которых говорят в СССР: напомним, что для него все они объединены общим положительным признаком (фонологическая мягкостная корреляция) и общим отрицательным признаком (отсутствие политонии) (Jakobson 1931).

---

<sup>23</sup> Здесь Jakobson, не говоря об этом прямо, противостоит Мейе, который в «Конвергенции языковых изменений» (Мейе 1918) утверждал, что сродства, или *согласованности*, возможны лишь внутри одного и того же языкового семейства.

Для Якобсона сродственности—это сходства, которые не зависят от генетического родства и вообще не относятся к области типологии<sup>24</sup>. Они не унаследованы, а приобретены—через пространственный контакт, через конвергенцию.

Сродство, или, другими словами, структурное сходство, охватывающее смежные языки, соединяет их в *союз*. Союз языков является более широким понятием, нежели понятие семьи; последняя является всего лишь частным случаем союза. Мейе заметил, что «там, где развитие было заметно одинаковым, результат оказывается таким, как если бы речь шла об изначальном единстве». *Конвергенция развитий* (*Wahlverwandschaft*, как говорил Гёте) обнаруживается как в изменениях системы, так и в консервативных тенденциях, и особенно в отборе конструктивных принципов, предназначенных остаться незатронутыми. «Изначальное тождество», которое вскрывает сравнительная грамматика, является не более чем состоянием, возникшим в результате конвергирующего развития, и никоим образом не исключает одновременных или последующих расхождений (Якобсон 1938 (1985), 94).

В статье 1958 года («Типологические исследования...») Якобсон еще четко отделял проблематику сродства от типологической проблематики: он разделял все сближения между языками на три типа: по объекту, методу и специфике использования пространственно-временных координат<sup>25</sup>. Можно показать это на следующей схеме:

Метод	Объект	Фактор
Генетический	Родства	Время
Ареальный	Сродственности	Пространство
Типологический	Изоморфизмы	(Время и пространство отсутствуют)

Эти три метода ни в коей мере не исключают друг друга, их предметы сосуществуют, но они различны.

<sup>24</sup> Отметим здесь, что в тексте 1958 года (см. ниже) Якобсон трактует изучение языковых ареалов как нечто совершенно отличное от типологического исследования: у них разные методы и разные объекты. Что касается Трубецкого, то он в 1933 году на III Лингвистическом конгрессе в Риме употребляет слово *типология* как противоположность *родству* (Трубецкой 1935, 327). В 1930-е годы терминология еще неустойчива, и это показывает, что концепция еще только складывается.

<sup>25</sup> Якобсон 1958 [SW-I, 524].

Мы уже отмечали эту манеру Якобсона все употреблять на пользу своего дела: он ссылается на других лингвистов для подкрепления своих утверждений, не отмечая при этом глубинных различий. Важно здесь то, что сродство—это не состояние, а продукт динамического процесса. Эта динамика основана на преформистском принципе: языки конвергируют не вследствие адаптации, а на основе развертывания уже имеющихся у них задатков. Если у Трубецкого языки следуют определенной «логике эволюции», то у Якобсона [190] их сходство обуславливается *предрасположенностью*:

Язык воспринимает элементы чуждой структуры лишь в том случае, если они соответствуют тенденциям его развития (Якобсон 1938 [1985], 99).

Некоторые Ваши данные позволяют как бы заглянуть в «тайны мироздания». Судьбы языков—как и судьбы форм живого мира—«не predeterminedены ли заранее?» (выражение биолога Хитрово<sup>26</sup>) (Савицкий, письмо Якобсону от 9 августа 1930, Архив Якобсона в MIT, опубликовано в: Томан 1994, 134).

Это понятие преформации, которое иногда соотносится с понятием *предопределенности* в философии истории, имеет биологическую природу, то есть является *натуралистическим*. А потому полезно сопоставить его по контрасту с понятием *предрасположенности* у современника Якобсона, лингвиста Ж. Вандриеса, у которого оно означает «сходство в практическом применении», улучшение «сочетаемости» или содействие гибридации, а вовсе не «тенденцию» к объединению или схожести:

Основой языку «пиджин-инглиш» служит китайский язык, отличающийся отсутствием морфологии. Это, в сущности, китайский язык с английским словарем. Пользуясь словарем английского языка, кстати, к этому очень приспособленным, строят фразы, в которых строго соблюдается порядок слов, соответствующий законам китайской грамматики. Такое соединение, давая порой замечательные комбинации, доказывает уже отмеченное *сродство* между английским и китайским языками. Здесь таким образом налицо язык, лежащий в основе смешения; но сам характер этого языка, почти лишенного морфологии, как бы специально *предназначал* его к роли, которая ему выпала на долю<sup>27</sup> (Вандриес 1920 [1937, 269]).

До сих пор не обращалось достаточного внимания на тот факт, что тема сродства как предрасположенности к установлению связей, к на-

<sup>26</sup> Владимир Николаевич Хитрово (1878—1947), биолог (примеч. Й. Томана).

<sup>27</sup> Курсив наш.—П. С.

хождению пары (биохимическая метафора) стала линией водораздела между Якобсоном и подавляющим большинством лингвистов той эпохи, изучавших языковые контакты. У Якобсона полностью отсутствуют понятия субстрата (Санфельд, Пизани), «артикуляторной базы» (Ван Гиннекен). Даже понятие пространства, вполне случайное для Шухардта и Бодуэна де Куртенэ (ср. понятие «приграничного двуязычия»), у Якобсона опирается на геометрическое понятие порядка и гармонии, одновременно и платоническое, и пифагорейское<sup>28</sup>. Мы теперь лучше видим всю пропасть, отделявшую Якобсона от Мейе<sup>29</sup>, несмотря на внешние знаки почтения по разным поводам. У Мейе изменение имеет одновременно и «социальную», и внутреннюю природу (оно ограничено рамками одного языкового семейства), а у Якобсона эволюция носит телеологический характер: это конвергенции через сродство между языками, лишенными генетического родства.

Как мы видели, понятие сродства в истории расщепилось на *сходство* и *притяжение*. Своеобразие позиции Якобсона, основанной на его интересе к антидарвиновской биологии Берга,— в том, что сходство тут объясняется притяжением:



<sup>28</sup> Ср. гл. VIII.

<sup>29</sup> Рецензия Мейе (Мейе 1931a) на работу Якобсона о «евразийском языковом союзе» (Якобсон 1931a)— это образец явного недоразумения.

---

Итак, наше изучение терминов показывает, что проблема сродства выходит далеко за пределы метафоры или переноса терминов из одной дисциплины в другую. По сути, главное здесь — вопрос о предмете познания, о его границах, а также старая философская проблема тождества и различия. Самое удивительное заключается в том, что подход Якобсона, несмотря на все его возражения, близок натурализму XIX века.

Именно об отношении к натурализму и пойдет речь в следующей главе.

## Глава VII

### Биологическая модель

*Просто так ничего не бывает.*

Русская поговорка

Вопрос о сродственностях побуждает нас теперь исследовать новую полку в идеальной библиотеке рождающегося структурализма. Это книги по биологии в ее отношениях с тем, что сейчас называют *глобальной экологией*. По сути, большая часть занятий и подходов пражских русских четко вписывалась в контекст споров того времени, связанных с эволюционной биологией, — наукой, которая долго оспаривала у лингвистики роль творца моделей.

Если читать многообразные труды Jakobsona поверхностно, может показаться, что его нередкие филиппики против шлейхеровского натурализма говорят о нем как об одном из главных представителей социологической тенденции в лингвистике, весьма распространенной в эпоху Мейе:

Напоминать сейчас о том, что языкознание является социальной, а не естественноисторической наукой, — это значит высказывать банальную истину (...) Уже давно отвергнута доктрина А. Шлейхера, завязатого натуралиста в области языкознания, а пережитки ее живучи и по сей день (...) Однако эта тенденция находится в вопиющем противоречии с социологической направленностью современной лингвистики (Jakobson 1938 [1985], 92—93).

Однако мы утверждаем, что два главных русских представителя Пражского лингвистического кружка были бесконечно далеки от социологической модели — той, что Мейе заимствовал у Дюркгейма, что они опирались, как и Шлейхер, на *биологическую метафору* с той разницей, что сама эта биологическая модель была совершенно антидарвиновской — в духе *русского* восприятия дарвинизма<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Наше прочтение не является редукционистским, так как мы, конечно же, не сводим взгляды Jakobsona и Трубецкого к антидарвиновской реакции. Это просто

### Телеология или причинность?

Книга Дарвина «Происхождение видов», опубликованная в Англии в 1859 году, была переведена в России в 1864 году. Она появилась в важный момент русской истории — в период интеллектуального и идеологического брожения умов после поражения в Крымской войне (1855) и начала великих реформ Александра II (1861: отмена крепостного права). Учение Дарвина как целостное видение мира с восторгом воспринималось «радикальной» русской интеллигенцией, которая находила в нем опору для своих антиидеалистических и антиромантических взглядов. Дарвин, по сути, отвергал всякую телеологическую установку ради объяснения эволюции в терминах причинности (борьба за жизнь, естественный отбор, выживание наиболее приспособленных).

Как и в других европейских странах, среди богословов, философов, ученых вскоре возникла антидарвиновская реакция. Среди ученых наиболее важная фигура для нашего обсуждения — это естествоиспытатель К. Бэр, уроженец Прибалтики (1792—1876). Он выдвигал понятие всеобщего развития природы в духе натурфилософии Шеллинга, который видел в эволюции постепенное расширение господства духа над материей, выдвигал на первый план аристотелевскую телеологию в ущерб ньютоновскому учению о причинах и поддерживал отнюдь не механистическое объяснение эволюции — по крайней мере, в истолковании органического мира<sup>2</sup>. Однако своеобразие русской ситуации, по-видимому, заключалось в своего рода симбиозе между естественными науками и славянофильским консерватизмом. Данилевский, о котором здесь уже говорилось как о писателе и философе истории славянофильского и панславистского толка, тоже был естествоиспытателем (ихтиологом и учеником Бэра). В своей книге «Дарвинизм» (1885) он отверг внешнюю причинность и провозгласил телеологию единственным объяснительным принципом эволюции («внутренние факторы» являются единственным подлинным источником направленных органических изменений и всеобщей гармонии в живой природе). Отметим, однако, что его доводы основаны на восприятии дар-

---

*другое* прочтение, уделяющее внимание малоизученному аспекту, без которого наше восприятие структурализма было бы неполным и потому искаженным.

<sup>2</sup> См.: Вусинич 1988b, 252.

винизма как продукта «западного материализма». Подобно своему другу К. Леонтьеву, он видел в победах западной науки фундаментальную угрозу тем духовным ценностям, которые сохраняют нетронутой русскую душу, придавая ей культурную и историческую самобытность<sup>3</sup>.

Якобсон неоднократно ссылаясь на Данилевского (например, в работе «Миф о Франции в России»)<sup>4</sup>, однако чаще всего он ссылаясь именно на Бэра: это происходило всякий раз, когда ему нужно было обосновать критику той лингвистической парадигмы, которую в 1920-е—1930-е годы многие считали новой и строго научной: речь идет о *причинном* подходе к объяснению языковых изменений у младограмматиков<sup>5</sup>. Однако большинство отсылок к биологии были связаны для пражского Якобсона с Л. С. Бергом, о котором у нас уже шла речь в связи с проблемой *сродственностей*. В 1922 году в своей книге «Номогенез», сильно повлиявшей на Якобсона, он представил явно антидарвиновскую концепцию эволюции, уделяя главное внимание целесообразности как свойству живого. Именно ссылки на Л. Берга позволили Якобсону — в борьбе с младограмматическим пониманием причинности — изложить принципы своего собственного антидарвинизма:

По Дарвину, эволюция — это сумма дивергенций, которые возникают в результате случайного варьирования в особях и вызывают медленные, непрерывные и едва заметные изменения; существует великое множество наследуемых вариаций, устремляющихся во всех направлениях. Этому учению современная биология, в особенности русская, все более противопоставляет номогенез: эволюция во многом конвергентна — она следует внутренним законам, охватывающим огромные массы особей на обширной территории, и проявляет себя прыжками, конвульсиями, быстрыми переменами; число наследуемых вариаций ограничено, и они устремляются лишь в определенных направлениях (Якобсон 1929a [SW-I, 110]).

В этом отрывке мы находим самую суть взглядов Якобсона на эволюцию языков — то, что позволяет ему отвергать Соссюра, уподобляе-

---

<sup>3</sup> См.: Вусинич 1988a, гл. IV.

<sup>4</sup> Якобсон 1931d [1986, 161].

<sup>5</sup> Отметим, что в 1929 году Волошинов отверг причинные объяснения на тех же основаниях, что и Якобсон. Для него «механическая причинность» типична для «представителей позитивизма в мышлении естественных наук», это «мертвая категория» (Волошинов 1929, 20—21).



мого младограмматикам, с эпистемологической точки зрения: утверждая, что современная наука (и прежде всего — *русская*) характеризуется заменой *почему* (why?) на *с какой целью* (why?)<sup>6</sup>, он предлагает заменить «механистические взгляды телеологическим подходом»<sup>7</sup>.

Заметим, что, не проводя здесь аналогии по предмету (в отличие от Шлейхера, для которого языки *суть* живые организмы), Якобсон проводит аналогию по методу: можно изучать эволюцию языков *подобно тому, как мы изучаем эволюцию живых существ*:

Русскому духовному воззрению свойственно преобладание вопроса «для чего?» над «почему?». Виноградов был прав, когда подчеркивал телеологическую окраску во взглядах крупнейших представителей русской мысли. Красной нитью проходит через историю русской натурфилософии антидарвинистская тенденция; достаточно сослаться на аргументацию Данилевского, Страхова, Вавилова, Берга, которая сегодня оформилась в гармоническое, в совершенстве развившее идею целесообразности, универсальное учение о номогенезе (Якобсон 1929б (1999), 24).

### Номогенез или случайность?

Идеи Савицкого и прежде всего представление о том, что *местофазитие* организмов (будь то живые существа, культуры или языки) важнее их *происхождения*, относятся к течению мысли, развившемуся в России в начале XX века: для него характерна трактовка «номогенетической» теории Л. С. Берга как явной альтернативы дарвинизму — «номогенез» — это теория *законосообразной* эволюции, не связанной со случайностью и естественным отбором дивергирующих индивидов.

Этот отказ от случайности и генетической причинности, эта завороченность пространной конвергенцией признаков, приобретенных вслед-

---

<sup>6</sup> В этот период различные высказывания Якобсона представляют собою многочисленные вариации на главную тему: «В нынешней иерархии ценностей вопрос *куда* котируется выше вопроса *откуда*. Взамен генетических показателей самоопределение становится признаком народности, идею касты сменила идея класса; и в общественной жизни, и в научных построениях общность происхождения отступает на задний план по сравнению с общностью функций, ступшевывается перед единством целеустремленности. *Цель*, эта золушка идеологии недавнего прошлого, постепенно и повсеместно реабилитируется» (Якобсон 1931а [SW-I, 144]).

<sup>7</sup> Якобсон 1928 [SW-I, 2].

ствии контакта, выражаются в настойчивой попытке разоблачить ложные целостности (у Савицкого это «европейский континент» от Атлантики до Урала, а у лингвиста Н. Трубецкого — само существование «индоевропейских языков»)<sup>8</sup>, с тем чтобы выявить истинные ценности (Евразия как гео-этно-экономико-культурная целостность; евразийские языки). В отличие от Есперсена<sup>9</sup>, целесообразность у Трубецкого никак не связана с прогрессом.

Одна из особенностей русской критики дарвинизма, по сути, состоит в заострении конфликта между случайной эволюцией и закономерной эволюцией. Речь, безусловно, идет о тенденциозном прочтении Дарвина, который неустанно подчеркивал *законосообразный* характер эволюции. Однако такая причинность не удовлетворяла русских критиков Дарвина: законом может быть лишь то, что предполагает детерминизм и дает возможность предсказаний.

Данилевский упрекал Дарвина в том, что он утверждал случайность эволюции, пренебрегая ее телеологическим, предопределенным смыслом. Вслед за немецким эволюционистом Теодором Аймером<sup>10</sup> Данилевский называл этот аспект эволюции, которым пренебрег Дарвин, *ортогенезом*.

Берг, ссылавшийся на Данилевского<sup>11</sup>, заменил дарвиновскую случайность идеей *номогенеза*, или эволюции, основанной на *законах*<sup>12</sup>. Одна из его главных идей — аналогия, или параллелизм, между индивидуальным развитием (*онтогенез*) и развитием вида (*филогенез*)<sup>13</sup>, согласно геккелевскому учению о повторении одного в другом. Для Геккеля филогенез повторяет онтогенез, а признаки высших организмов «предвосхищаются» в низших организмах. Номогенез — это явная альтернатива дарвинизму. Речь идет о теории *аутогенетической* эволюции,

---

<sup>8</sup> Трубецкой 1939а.

<sup>9</sup> Есперсен 1894.

<sup>10</sup> Вусинич 1988а, 125.

<sup>11</sup> Берг 1922, III.

<sup>12</sup> От *nomos* «закон». Берг тоже говорил об ортогенезе, определяя его как «однонаправленную эволюцию» («эволюцию, которая идет в одном направлении, а не во всех направлениях сразу» (Берг 1922, 75)), и тем самым явно противопоставлял себя Дарвину.

<sup>13</sup> Берг 1922, 102.

согласно которой эволюция есть скорее развитие предсуществующих задатков или возможностей (по модели эмбриологии, созданной Бэром), нежели реакции видов, приспособляющихся к окружению и случайным образом вырабатывающих новые признаки (по Дарвину). Якобсон постоянно опирался на положения Берга и, в особенности, на понятие *преформизма*:

Это единство заимствования и конвергенции очень напоминает биологический миметизм в современном понимании: «Факторы сходства имелись с самого начала как у подражателя, так и у модели, и лишь нужен известный импульс для обнаружения их» (Берг 1922, 224). Убедительная теория биологов, согласно которой миметизм—это лишь один из частных случаев конвергенции, которому нет оснований приписывать особое происхождение или значение (Там же, 229), находит соответствие и в языкознании (Якобсон 1929а [SW-I, 107]).

К этому внутреннему детерминизму следует добавить внешний: он обусловлен «географическим ландшафтом», который оказывает свое принудительное воздействие, «заставляя все особи варьировать в *определённом направлении*» (Берг 1922, 180).

Помимо ссылок на Ж. де Местра<sup>14</sup>, Якобсон неоднократно заявлял о своем полном отказе от идеи случайности в эволюции. Так, в «Тезисах 1929 г.», подписанных им совместно с Трубецким и Карцевским, говорилось: «Было бы нелогично предположить, что языковые изменения возникают в силу случайных разрушительных воздействий и остаются чуждыми системе», а в «Предложении 22» на Конгрессе в Гааге (1928) подтверждалось: история языка уже более не является «последовательностью слепых нарушений и разрушений под воздействием факторов, чуждых фонологической точке зрения». Выступая против «слепого случая», Якобсон проповедовал «целенаправленную эволюцию»<sup>15</sup>. О «логике эволюции»<sup>16</sup>, напомним, говорил и Трубецкой.

Лишь тщательно изучив критические доводы Якобсона против Сосюра, можно выявить четкую оппозицию между этими двумя научны-

---

<sup>14</sup> «Навсегда запретим себе говорить о случайности или о произвольных знаках» (Де Местр 1821 [1980, 103]). Эта цитата из «Петербургских вечеров» нередко встречается в работах Якобсона 1930-х годов и вновь упоминается в конце его жизни в «Беседах», 1980, 87.

<sup>15</sup> Якобсон 1929а, 110.

<sup>16</sup> Трубецкой 1985, 97 (письмо от 22 декабря 1926 года).

ми подходами. Соссюр, в трактовке Jakobson, считает, что «изменения происходят непреднамеренно, они случайны и непроизвольны (...) язык ничего не предусматривает, его части смещаются случайным образом (...) эти неупорядоченные действия похожи на бесцельные взломы»<sup>17</sup>, «диахрония есть лишь аггломерат случайных изменений»<sup>18</sup>.

У Шлейхера он тоже находит «идею бессмысленности и слепой случайности языковой эволюции»<sup>19</sup>, а у младограмматиков — утверждение о том, что «изменениям подвергается случайный аггломерат»<sup>20</sup>.

Последовательно переворачивая значения этих терминов, можно восстановить номогенетическую модель эволюции, предложенную Jakobsonом. При этом отдельного рассмотрения здесь заслуживает акцент на случайности эволюции, приписываемой дарвинизму.

Сам термин «номогенез» Jakobson взял у Берга. Согласно номогенетической модели, языки могут эволюционировать лишь в определенном направлении и в системной законосообразной последовательности. Jakobson четко указывает, что это требует подлинного *разрыва*<sup>21</sup> с учениями предшественников. Эти учения сводятся к двум типам: во-первых, это Шлейхер с его натурализмом, во-вторых — младограмматики с их жестким позитивизмом. Поразительно, что и Шлейхер, и младограмматики постоянно подчеркивали *законосообразный* характер эволюции. У Шлейхера эволюция языков *с необходимостью* проходит три этапа: изолирующий — агглютинирующий — флективный (здесь Шлейхер видит аналогию с иерархией минерального, растительного, животного миров), а младограмматики утверждали не знающую исключений законосообразность фонетических изменений (*Ausnahmslosig-*

<sup>17</sup> Jakobson 1929a, 17.

<sup>18</sup> Там же, 110.

<sup>19</sup> Там же, 17.

<sup>20</sup> Там же, 109.

<sup>21</sup> Jakobson не пользуется словом «разрыв»: он работает с парами контрастных понятий *старого* и *нового*: «В существующей иерархии ценностей // в наши дни» (1931a, [SW-I, 144]); «Прежнему атомизму противопоставляется...», «Если традиционный эволюционизм учил, что (...) то современные исследования, напротив, показывают...» (1938 (1985) [SW-I, 235]); «господствующая европейская идеология второй половины XIX века // современная идеология» (1929a, [SW-I, 110]); «традиционная историческая фонетика // современная психология» (1931c, [SW-I, 202—203]); «традиционные догмы // новый подход к языку» (1963 [SW-II, 522—523]).

keit)<sup>22</sup>. Однако речь идет не только о *разрыве* во времени. У Якобсона научные парадигмы имеют также пространственное и культурное измерение: он противопоставляет «европейскую идеологию» «современной идеологии», в которой «русская наука» играет совершенно особую роль:

Механическая груда фактов как результат случайности и действия разнородных факторов — таков излюбленный образ господствующей европейской идеологии второй половины XIX века. Современная идеология в ее разнообразных, генетически не связанных проявлениях все больше выводит на первый план не механическое суммирование, а функциональную систему, не бюрократические отсылки к соседнему пункту, а имманентные структуральные законы, не слепую случайность, а целенаправленную эволюцию (Якобсон 1929a [SW-I, 110]).

Представляется, что критику предшественников (в хронологическом порядке: Шлейхер, младограмматики, Соссюр) у Якобсона и Трубецкого следовало бы понимать в свете спора между номогенезом и случайной эволюцией в биологии. У Якобсона языки эволюционируют определенным образом — как *живые организмы*. Правда, у него есть немало мест, в которых говорится нечто прямо противоположное, а именно что языки как раз не являются живыми организмами<sup>23</sup>. Однако нам важны здесь не декларации, а способ порождения знаний. В области диахронии Якобсон и Трубецкой, по сути, реализуют *метафору*, взятую из *антидарвиновской биологии*.

---

<sup>22</sup> Младограмматики стремились построить связанное учение о фонетических изменениях. Они считали, что если языкознание хочет стать наукой, оно должно обнаружить естественные законы. Закон, не знающий исключений, — вот их *определение* фонетических изменений. Это строгое определение несовместимо с идеей случайности. Ср. Лескин 1876: «Допустить случайные отклонения, которые невозможно упорядочить, значило бы признать, что предмет нашей науки — язык — непознаваем» (цит. по: Хэррис, Тейлор 1991, 171).

<sup>23</sup> «Бодуэну де Куртенэ пришлось отвергнуть учение о генеалогическом древе Шлейхера и теорию волн Й. Шмидта: оба эти учения, по сути, недооценивали социальную системность и направленность языка, равно как и роль скрещения в отношениях между языками. Оба эти учения, несмотря на их взаимную противоположность, подпитывались общим мифом о языке как организме: „просто у Шлейхера язык был сделан из дерева, а у Шмидта — из воды“» (Якобсон 1960 [1973, 209]).

Отметим, что спор о роли случая в эволюции, который бушевал в течение двух последних десятилетий XIX века<sup>24</sup>, постепенно утих повсюду в Европе, кроме СССР, где Лысенко объявил, что «наука не знает случайностей», и отверг само понятие случайной мутации как основы эволюционного процесса<sup>25</sup>. Усиление лысенковщины в советской биологии совпало по времени с развитием антидарвиновских идей у Якобсона в Праге.

Якобсон равно обвинял Шлейхера, младограмматиков и Соссюра<sup>26</sup> в том, что они видели в эволюции языков лишь 1) случайность и 2) идею прогресса. Впрочем, эти взаимнопротиворечивые понятия никак нельзя одинаковым образом применить ко всем трем школам, но это уже другой вопрос.

Якобсон рисует такую отрицательную картину:

Для Соссюра изменения происходят непреднамеренно, они случайны и произвольны (...). Блестящее соссюрское сравнение между функционированием языка и партией в шахматы теряет свою силу, если согласиться с Соссюром в том, что в языке нет ничего преднамеренного и что его элементы перемещаются случайным и неожиданным образом (...). У Шлейхера признание внутреннего функционального смысла языковой системы, данной нам в непосредственном опыте, соединялось с идеей бессмысленности и слепой случайности языковой эволюции, причем этот внутренний функциональный смысл трактовался как остаток былого совершенства языковой системы. С этой точки зрения эволюция сводится к раздроблению, к разрушению (Якобсон 1929a [SW-I, 17]).

Именно на этой основе Якобсон, по контрасту, будет строить нечто противоположное понятию случайности — как в эволюции языков, так и в синхронии. Вот как он говорит о внешне разнородной совокупности языков СССР-Евразии:

---

<sup>24</sup> Страхов, Чичерин, Розанов вслед за Данилевским яростно нападали на дарвинизм, приписывая Дарвину концепцию случайной и многонаправленной эволюции. Чичерин, в частности, предвосхитил Бергсона своими рассуждениями о внутренней целенаправленной *жизненной силе* в эволюции организмов. Напротив, Берг последовательно защищался от всех обвинений в витализме. Для него *целенаправленность* есть «свойство живого», а не какая-то таинственная сила (Берг 1922, 5—6).

<sup>25</sup> Ср. Клайн 1955, 318.

<sup>26</sup> У нас есть основания предполагать, что соссюрское утверждение «язык есть форма, а не субстанция», направлено против младограмматиков. Якобсон, напротив, объединял Соссюра с младограмматиками из-за его антифинализма.

Есть ли единство в этом смущающем европейца многоязычии? что это — случайное сборище, хаотический сброд или закономерное сочетание, гармонический союз? (Якобсон 1931 [SW-I, 148]).

Как известно, Якобсон и Трубецкой считали, что языки эволюционируют *закономерно*, а потому диахрония тоже представляет собой систему. Менее известно, что для них систему в синхронии образует не только язык, но и нечто более широкое: язык со всем тем, что его объемлет и включает в себя как составную часть. Если язык — это «система систем», то он также, в свою очередь, является частью более общей и обширной целостности.

Вот несколько завуалированных намеков:

Нужно перепроверить наш исходный материал. Некоторые конвергенции настолько разительны, что не могут быть лишь случайными совпадениями (Якобсон 1929a [SW-I, 109]),

а вот эмоциональный рассказ полвека спустя:

вскоре после организации Пражского лингвистического кружка в октябре 1926 году (...) я послал Трубецкому длинное письмо, в котором, волнуясь, объяснял ему идею, которая долго у меня зрела, а именно, что языковые изменения системны и целесообразны, что эволюция языка и развитие других социокультурных систем подразумевают глубинное сродство и общую цель (...) Трубецкой ответил мне 2 декабря одним из самых знаменитых его посланий: «С Вашими общими соображениями совершенно согласен (...) Если де Соссюр не решился сделать логического вывода из своего же тезиса о том, что „язык есть система“, то это в значительной мере потому, что этот вывод противоречил бы не только общепринятому представлению об истории языка, но и общепринятым понятиям об истории вообще (...)». Трубецкой признавал, что «другие стороны культуры и народной жизни тоже эволюционируют со своей особой внутренней логикой и по своим особым законам, тоже ничего не имеющим общего с „прогрессом“. И именно поэтому этнография (и антропология) этих законов изучать не хочет» (Якобсон 1980, 66—68).

Мало-помалу вырабатывается внутренняя рациональная реконструкция понятий территории и соседства. Якобсон обнаружил ряд явлений пространственной симметрии: так, евразийский фонологический союз (языки с мягкостной корреляцией) — это «центральное» явление, окруженное как с запада, так и с востока политоническими языками («периферийные» явления). Эти факты подкрепляют, по мысли Якобсона, тезис о том, что пространственное распределение системных явлений законосообразно и *необходимо*.

Эти отрывки приоткрывают перед нами интеллектуальный мир, весьма далекий от сосюровского: в этом мире языкознание, будучи «общественной наукой», имеет законы, близкие к *необходимым*, а общество напоминает *природную* систему.

### Конвергенции или дивергенции?

#### *Рыбы и киты*

Во время учредительного собрания Пражского лингвистического кружка (6 октября 1926 года) в кабинете Матезиуса в Карловом университете в Праге собрались Якобсон, Матезиус и четверо коллег, чтобы обсудить только что прослушанный доклад Хенрика Беккера, профессора Лейпцигского университета<sup>27</sup>, на тему «Европейский дух языка». Речь шла о том, что чешский и венгерский языки, не родственные по происхождению, обнаруживают сильные взаимовлияния вследствие их постоянных культурных и территориальных контактов — т. е. не «природных», а «культурных» связей. Этот вопрос шел вразрез с общей теорией «генеалогического древа», изобретенной компаративистами XIX века и принятой за рабочую гипотезу младограмматиками в их поиске общих законов эволюции языка<sup>28</sup>. Однако этот вопрос зазвучит по-новому в контексте споров в современной биологии.

Именно в биологии Берг пришел к своей *теории конвергенций*, пересмотрев роль случайности в процессе эволюции. По сути, для него вероятность случайного появления одного и того же признака в двух различных видах в одно и то же время равна нулю<sup>29</sup>. Вместе с тем его наблюдения над рыбами внутренних морей и озер России свидетельствовали, напротив, о том, что у генетически неродственных организмов могут развиться общие признаки. И он приводил простой пример: киты — это млекопитающие, у которых развились признаки, близкие рыбам: они стали похожи на рыб, обитая в той же среде<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Хенрик Беккер — автор книги «Языковой союз» (Sprachbund, 1948), в которой подводится итог его двадцатилетним исследованиям контактирующих языков.

<sup>28</sup> Ср. Матейка 1978: Предисловие, IX.

<sup>29</sup> Берг 1922, 105.

<sup>30</sup> Там же, 103.



Все эти вопросы приводят к такой *теории происхождения* видов, которая противоположна дарвиновской: если для Дарвина все организмы развиваются путем дивергенции из ограниченного количества первоначальных видов, то для Берга, напротив, они развиваются в основном путем конвергенции из десятков тысяч изначальных форм. Именно у Берга Якобсон и Трубецкой взяли термин «конвергенция», применив его к эволюции языков. Мейе тоже пользовался словом «конвергенция»<sup>31</sup>, но, вопреки видимости, он ставил вопрос совершенно иначе. По Мейе, конвергенции возможны (и даже объяснимы) только между родственными языками. Так как в этой связи возникает и вопрос о гибридизации, близкий Шухардту и Бодуэну де Куртенэ, стоит напомнить, что Якобсон признает и такие сходства, которые не имеют к гибридизации никакого отношения: и Якобсон и Трубецкой пользуются понятием миметизма, заимствовав его опять-таки из работ Берга.

#### *Цепочки и кирпичи*

Вслед за Трубецким<sup>32</sup>, Якобсон<sup>33</sup> предложил «перепроверить исходный материал». Он обосновывал программу этой перепроверки тем, что «некоторые конвергенции столь разительны, что не могут быть случайными совпадениями» (то есть, опять же, случайности не существует...). В 1938 году, изучая вопрос о фонологических сродственностях между языками, он пришел к идее *необходимости*, понимая ее близко к экологической трактовке взаимосвязей в растительном мире: «ареал политонии, например, соприкасается обычно с ареалом произношения гласного с гортанным усилением» (Якобсон 1938 [1985], 103).

Понятие *гибридизации* часто встречалось в биологии конца прошлого века. Оно казалось самоподразумеваемым и в языкознании — вместе с понятием *смешения языков* (Sprachmischung), которым пользовались как Шухардт, так и Бодуэн де Куртенэ. Н. Марр тоже положил его в основу своего учения, назвав «скрещением». Это понятие, соответствовавшее духу времени, было в утонченной сложной форме опровергнуто Трубецким в его докладе «Мысли об индоевропейской про-

---

<sup>31</sup> Ср. Мейе 1918.

<sup>32</sup> Ср. Трубецкой 1923, Трубецкой 1928.

<sup>33</sup> Якобсон 1929a [SW-I, 109].

блеме»<sup>34</sup> на заседании Пражского лингвистического кружка в Праге 14 декабря 1936 года.

Напомнив о том, что само понятие «индоевропейский» — это понятие лингвистическое «в такой же мере, как понятия синтаксиса, родительного падежа или ударения»<sup>35</sup>, и что «индоевропейский пра-народ», по всей вероятности, «никогда и не существовал»<sup>36</sup>, Трубецкой стремится доказать *изначальное* многообразие индоевропейских языков: «В настоящее время существует много индоевропейских языков и народов. Оглядываясь назад, в историческое прошлое, мы замечаем, что так было и раньше (...) Кроме предков современных индоевропейских языков, в древности существовал еще целый ряд других индоевропейских языков, которые вымерли, не оставив потомства»<sup>37</sup>; «...насколько мы можем проникнуть в глубь веков, мы всегда находим в древности множество индоевропейских языков»<sup>38</sup>.

А раз так, он может далее развивать свою гипотезу о формировании индоевропейского «семейства» посредством *конвергенции*. Отметим, однако, что в тексте 1936 года он ни разу не пользовался термином «языковой союз» (Sprachbund): он уже не противопоставляет, как это было на Конгрессе 1928 года в Гааге, языковой союз языковому семейству, но исследует взаимодействия между конвергенцией и дивергенцией.

Нет, собственно, никакого основания, *заставляющего* предполагать единый индоевропейский праязык, из которого якобы развились все индоевропейские

<sup>34</sup> Письменный вариант этого доклада, подготовленный на русском языке, должен был появиться в журнале «Евразийская хроника», 13, 1939, в Праге, однако журнал был запрещен нацистами. Краткое резюме на чешском языке было опубликовано в 1937 году в журнале Пражского лингвистического кружка (*Slovo a slovesnost*, 3, 191—192). Сокращенный примерно на четверть немецкий вариант (без примечаний) был опубликован под заглавием «Gedanken über das Indogermanenproblem» (*Acta linguistica*. Vol. 1, fasc. 2. Копенгаген, 1939, 81—89). Оригинальный русский текст, сохраненный П. Н. Савицким, был опубликован в СССР в 1959 году (*Вопросы языкознания*. № 1, 65—77) под заглавием «Мысли об индоевропейской проблеме» (без примечания с критическим отзывом о Марре), а затем вновь — в сборнике: Трубецкой 1987, 44—59.

<sup>35</sup> Трубецкой 1939а (1987), 44.

<sup>36</sup> Там же, 48.

<sup>37</sup> Там же, 44.

<sup>38</sup> Там же, 45.

языки. С таким же основанием можно предполагать и обратную картину развития, то есть предполагать, что предки индоевропейских ветвей первоначально были непохожи друг на друга и только с течением времени благодаря постоянному контакту, взаимным влияниям и заимствованиям значительно сблизилась, однако без того, чтобы вполне совпасть друг с другом (Трубецкой 1939а [1987], 46).

Таким образом, Трубецкой считал, что языки различного происхождения *стали* индоевропейскими. Совершенно иной вид имеет — в той же самой статье — картина эволюции славянских языков. Трубецкой, по сути, предлагает для этих языков образ цепочки (или скорее кольчуги):

Здесь почти каждый [славянский] язык является как бы связующим звеном между двумя другими, и связь между соседними языками осуществляется переходными говорами, причем нити связи тянутся и поверх границ, между группами (...) Однако при сопоставлении славянских языков с прочими индоевропейскими это цепевидное членение прекращается. Не подлежит сомнению, что из всех других индоевропейских языков ближе всего к славянским стоят языки балтийские (литовский, латышский и древнепрусский). Но нельзя сказать, какой именно балтийский язык ближе всего к славянским и какой именно славянский ближе всего к балтийским. Вместо цепевидного членения здесь имеется иной тип членения, который можно было бы назвать *кирпичевидным*. И, возможно, что эти разные типы членения групп «родственных» языков связаны с разными типами возникновения этих групп, то есть, что цепевидное членение развивается при преобладании дивергенции, а кирпичевидное — при преобладании конвергенции (Там же, 47—48).

Роль конвергенции у Трубецкого была плохо понята исследователями, что стало источником неразумений. Так, В. Пизани в своей панораме индоевропейской лингвистики между 1926 и 1936 годами<sup>39</sup> трактует мысль Трубецкого *в эволюционистском духе* (индоевропейские языки переходят от типа, близкого к северокавказским языкам, к типу, близкому к угро-финским и алтайским языкам) и не обращает внимания на важную мысль об ареальной конвергенции между неродственными языками.

По сути, двойная цель Трубецкого в этой статье — в том, чтобы подвергнуть суровой критике, с одной стороны, идею последовательной генетической дивергенции языков (учение Шлейхера о генеалогиче-

---

<sup>39</sup> Пизани 1953.

ском древе), а с другой стороны, учения, стремящиеся связать изучение доисторических языков с археологическим изучением культур (в частности, нацистские теории, согласно которым предки германцев изначально жили (*Urheimat*) на территории нынешней Германии, а их язык был предком (*Ursprache*) языка нынешних немцев).

В письме Якобсону от 7 января 1937 года Трубецкой радуется тому, что в Вене возник кружок молодых востоковедов, этнографов и языковедов: они осторожно выступали против направлений «индогерманистики», царствовавших тогда в немецкой науке, и издавали журнал «Klotho» (Исторические исследования феодального и дофеодального мира — *Historische Studien zur feudalen und vorfeudalen Welt*). При этом иронически упоминался расистский археолог Менгин (по его доносу в доме Трубецкого весной 1938 года гестапо провело обыск). В том же письме Трубецкой ссылался на «Венскую школу» В. Шмидта<sup>40</sup>, который тоже сдержанно выступал против официального «индогерманизма». За отчетом о докладе Трубецкого в Пражском лингвистическом кружке, появившемся на немецком языке в «*Prager presse*», последовали — со стороны различных кружков — многочисленные просьбы предоставить текст для публикации целиком.

Фактически понятие конвергенции лежит в основе концепции «языкового союза» у Трубецкого: его смысл полностью раскрывается на фоне двух других публикаций Трубецкого — «Вавилонская башня и смешение языков» (1923), в которой он впервые предлагает термин «языковой союз», и «Верхи и низы русской культуры» (1921), в которой он представляет географическую, ареальную концепцию истории языков и культур.

Этот текст 1936 года следует понимать как полемику против нацистских теорий генетического, этнического происхождения «индоевропейского народа». Но его необходимо также читать на фоне старого спора об эволюции языков, охватывавшего более широкий круг тем. В частности, теоретики чисто генетической эволюции, зашоренные натуралистической метафорикой, по сути, так и не определили, можно ли уподобить языки *видам*, преобразующимся друг в друга (ср. мамонт

---

<sup>40</sup> Н. И. Мещанинов отмечает, что школа Шмидта, объединившаяся вокруг журнала «*Anthropos*», весьма интересовалась яфетидологией Н. Я. Марра, и ссылается в этой связи на работы Р. Блайхштайнера (R. Bleichschteiner) (Мещанинов 1929, 7).

как «предок» слона), или же *особям одного и того же вида*, генетически наследующим признаки одного родителя (от матери к дочери — по схеме партеногенеза или рождения без отца)<sup>41</sup>. Модель конвергентной эволюции была замкнута в рамках биологической метафоры, но позволяла понять многочисленные явления заимствования и заражения, которые невозможно было объяснить строго генетическим образом.

Тем самым мы видим, насколько сильно повлияла эпистемологическая проблематика естествознания последней трети XIX века, метафорически введенная в языкознание, на структурализм «русских пражан», хотя он к этому и не сводится.

Мы могли бы назвать и другие темы споров в биологии, запечатленные в книгах той идеальной библиотеки «русских пражан», которую мы здесь изучаем: это «холистское» опровержение дарвинизма в Чехословакии 1920-х и 30-х годов<sup>42</sup>, это оппозиция катастрофизма и унитаризма (по Дарвину, «природа не делает скачков», тогда как для Берга и Якобсона, но также и для Марра существуют «скачки», «конвульсии»), или «левый» протест против дарвинизма в России, — с отказом от борьбы за существование во имя «принципа сотрудничества» (анархист Кропоткин, а позднее — Лысенко).

### Органическая метафора

В культурологических текстах Трубецкого о языке почти не говорится, и слово «структура» почти *никогда* не используется. Напротив, тут богато представлен словарь «органических целостностей» (по выражению Ж. Шлангер).

У Трубецкого не говорится о гражданах, но лишь о «представителях народа». Некое сообщество или «культурно-исторический тип», «социокультурная целостность» («Вавилонская башня»), даже если она и расчленена социально на «верхи» и «низы» («Верхи...») представляет собой монаду, однородную и самозамкнутую сущность, поскольку это — органическое тело.

---

<sup>41</sup> Напротив, Ван Гиннекен проповедовал неметафорическую трактовку биологической модели в языкознании: «Производство потомства всегда требует двух родителей, и облик потомка есть результат сочетания обликов обоих родителей» (Ван Гиннекен 1935, 32).

<sup>42</sup> Ср. Стайнер 1978.

Именно этим можно объяснить и низкую оценку демократии как атомизации индивида и высокую оценку идеократии и демотического принципа как жертвования индивидом в пользу группы или «социальной целостности». Отметим, что эту оппозицию индивидуализма коллективизму и холизму Л. Дюмон, например, видит прежде всего во времени (ср. «современный» и «несовременный» типы культуры<sup>43</sup>), а Трубецкой — в *пространстве* («Запад» и «Евразия»). Дело здесь не столько в переосмыслении оппозиции между диахронией и синхронией, эволюционизмом и неизменчивостью, сколько в ином способе построения оппозиции: это оппозиция между линейной концепцией времени и тем крайне релятивистским подходом, для которого синхронно сосуществуют только различные и несоизмеримые времена. Для Трубецкого характерен настоящий «культурный солипсизм», при котором ценности чуждой культуры могут успешно заимствоваться лишь при условии *органической ассимиляции*, а не *механического пересаживания* с одной почвы на другую. Именно из органических метафор, не признавая их метафорами, Трубецкой берет ключевые слова и главные доводы своих *доказательств*. Впрочем, у него встречается и другая, архитектурная метафора: «народная масса составляет природный фундамент всего здания России» («Мы и другие»). Однако он тут же добавляет: «Подмости оказались живыми».

Эта органицистская мысль с виталистскими коннотациями имеет свою историю: она красной нитью проходит через русское шеллингианство (Одоевский и Любомудры)<sup>44</sup> или, шире, через русское «контр-просвещение» (по выражению И. Берлина).

Таким образом, если в структурализме смысл терминов обусловлен их взаимоотношениями, то мир Трубецкого, напротив, строится из множества полновесных сущностей, живых целостностей, «подлинную природу» которых требуется обнаружить. В евразийской культуре все взаимосвязано: музыка, орнамент, душевный склад, язык. Вряд ли можно найти у Соссюра мысль о том, что орнамент связан с языком... Ключ к пониманию в данном случае — это оппозиция между *гибридизацией* (механической) и *конвергенцией* (органической), позволяющая противопоставить искусственность того, что приходит с Запада, есте-

<sup>43</sup> Дюмон 1985: гл. *La valeur chez les modernes et chez les autres*, 254—299.

<sup>44</sup> Ср. В. Ф. Одоевский. Русские ночи. 1844.

ственности того, что приходит с русского Востока. Важно углубить и прояснить эти системы очевидностей, которые явно давят на рассуждение как некие предельные предметы отсылок.

А вот и еще одна деталь, странная для структуралиста: в «Верхах» Трубецкой стремился восстановить «культурную физиономию» древних славян, изучая корни их языка и тем самым превращаясь в последователя Адольфа Пикте с его лингвистической палеонтологией (впрочем, Н. Марр вел эту работу всю свою жизнь).

Тем самым для Якобсона и Трубецкого главная метафора — это уже не рост кристалла, растения или животного, но более сложный симбиоз живого организма с его окружением. Однако при этом мы не выходим за рамки естествознания, и даже сама культура мыслится как природа.

## Глава VIII

### Теория соответствий

Ярким примером новой русской науки была для Якобсона и Трубецкого теория соответствий, руководствуясь которой, они, вместе с географом П. Н. Савицким<sup>1</sup>, искали *совпадений* между изоглоссами, изотермами и другими культурными и природными изолиниями<sup>2</sup>.

Мир Якобсона и Трубецкого — это мир порядка и гармонии, это полнота, лишённая желаний и нехваток, случайности и хаоса. И хотя Якобсон трактует лингвистику как «общественную науку» в противоположность шлейхеровскому определению языкознания как «естественной науки», тем не менее эволюция языков подчиняется «внутренней логике», их пространственное распределение следует законам геометрии. Однако оказывается, что «пространственный фактор» и «человеческий фактор» исключают друг друга: там, где у русских пражан речь идет о «пространственном факторе», их мир лишается людей.

#### Месторазвитие: недетерминистский объект?

До сих пор мы показывали евразийскую теорию и ее языковедческие ответвления через альтернативу эволюционизма и диффузионизма, полагая, что она ближе к диффузионизму<sup>3</sup>. Однако эта классифика-

---

<sup>1</sup> Практически в каждой статье Савицкого речь идет о теории соответствий. Самая интересная его работа, в которой изучались отношения между распределением языков и распределением природных областей, — статья «Проблемы географии языка с точки зрения географа», опубликованная по-французски в первом сборнике Трудов Пражского лингвистического кружка в 1929 году. Эта статья, имеющая основоположное значение для истории структурализма, к сожалению, мало известна во франкоязычном мире.

<sup>2</sup> Ср. Якобсон 1931а, б, г, д; Трубецкой 1925в.

<sup>3</sup> Положения евразийцев были высказаны во времена великого спора о диффузионизме в антропологии. Ср., например: Смит и др. 1927.



ция во многом неудовлетворительна, и теперь ее нужно уточнить с помощью теории *месторазвития*. При этом перед нами вновь встанет *вопрос о границах и пределах*.

Современники нередко обвиняли евразийцев в защите *географического детерминизма*, или, иначе — «географического мистицизма»<sup>4</sup>. Однако их позиция отличалась как от детерминизма Ратцеля (антропогеография)<sup>5</sup>, так и от «поссибилизма» Видаль Делаблаша (человеческая география) — в том, что их теория *связи* людей с территориями основана на *взаимодействии*, а не на *детерминации*. Конечно, и у тех и у других мы находим мысль о том, что науки о земле и науки о человеке не нужно разрывать, что страны и люди должны рассматриваться как нечто Целное. Однако позиция евразийцев с их акцентом на *связи* между *социоисторической средой* и *географической обстановкой* своеобразна: они не учитывают причинные отношения и выводят на первый план понятие *симбиоза, органической целостности*. Их научная задача — выявить связи, чтобы определить границы между целостностями. По достижении этой цели научный потенциал исследователей как бы оскудевает, или, быть может, у евразийской науки просто не было времени расширить рамки исследования.

Яacobсон многократно ссыался на работы Савицкого вообще и на его понятие *месторазвития* в частности, и это дает нам ключ к пониманию *структуры и целостности* у «пражских русских».

С каждым годом все нагляднее обнаруживается (ибо в эту сторону направлено ныне острие научных изысканий) соотносительность, тесная закономерная связь между явлениями различных сфер. Связанность явлений не следует мыслить в форме буквального совпадения их границ, обычно межевые линии сопряженных признаков группируются в пучки. Явления могут быть сопряжены хронологически либо территориально. Как в том, так и в другом случае факт соотносительности нескольких сфер не ограничивает самозаконности<sup>6</sup> каж-

---

<sup>4</sup> Кизеветтер 1928, 427.

<sup>5</sup> Ратцель считал, что тождественные среды порождают тождественные культурные типы; для него отношение между территорией и культурой строго причинно и однонаправленно: «дух народа» есть *продукт* географического местоположения, рельефа, климата, природных ресурсов. Его ученик Боас считал эту детерминистскую гипотезу ошибочной. О Ратцеле см.: Мюллер 1996.

<sup>6</sup> Понятие «самозаконности», «закономерности самодвижения» — это, по всей очевидности, калька с гегельянского по духу выражения *Gesetzmässigkeiten der*

дой из них. Напротив, этой соотнесенности не найти без предварительного имманентного рассмотрения отдельной сферы. Это необходимая предпосылка. Подлежит изучению каждая сфера в структуральном многообразии ее конкретных проявлений — историческое многообразие в свете зональной закономерности. Многообразие одной сферы не может быть механически выделено из многообразия другой, здесь нет однозначного соотношения надстроек и базы. Задача науки — уловить сопряженность разнопланых явлений, вскрыть и в этой междупланной связанности закономерный строй. Назовем этот путь исследования методом увязки, возводя в научный термин словечко нынешнего русского лексикона. Одно из проявлений этого метода — понятие месторазвития, сливающее в единое целое социально-историческую сферу и ее территорию (термин и его определение принадлежат Савицкому: Географические особенности России, Прага, 1927, 1, гл. IV) (Якобсон 1931a [SW-I, 146—147]).

Именно Савицкий придумал понятие *месторазвития*, которое сам же перевел на французский сначала как *lieu de développement* (по-немецки *Raumentwicklung*) (Савицкий 1929), а затем как *développement local* (Савицкий 1931b). Й. Томан предложил переводить это понятие как *topogenesis*<sup>7</sup> (Томан 1981), а позднее — как *genetope*<sup>8</sup> (Томан 1994). Преимущество этого последнего понятия в том, что, не отдавая предпочтения ни процессу (развитию), ни месту, оно фиксирует их взаимодействие, а кроме того, переключается с бахтинским понятием *хронотоп*. Однако его неудобство заключается в двусмысленной отсылке к *генетике*, вызывающей у читателя конца XX века мыслительные ассоциации, совершенно противоположные проекту Савицкого. Вот почему во французском переводе этого термина мы сохраняем первый вариант, предложенный Савицким (*lieu de développement*). Речь идет о месте, побуждающем к особому рода развитию (нечто вроде современного понятия «экологической ниши»), причем на таком уровне, где природные и человеческие явления систематически соотносятся.

Понятие *месторазвития* имеет много общего с понятием *пространства* (*Raum*) в немецкой антропогеографии; в обоих этих случаях подчеркивается идея единства и целостности территории и проживающего на ней народа:

---

*Selbstbewegung*. У Якобсона, как и у Трубецкого, вещи развиваются сами по себе, по своим собственным законам, не допуская никакой неопределенности, случайности или сознательного выбора.

<sup>7</sup> Томан 1981, 280.

<sup>8</sup> Томан 1994, 126.

Развитие русской географической науки, но-новому и по-своему изучившей тот субстрат, на котором непосредственно живет и хозяйствует человек, на котором и среди которого разворачивается «история» человеческих обществ: почву и ее ботанический покров — ставит вопрос о соответствующих изучениях в области обществоведенья.

В непрерывной связи всего сущего, в последовательности форм тварного мира, нити обусловленностей и подобий тянутся к человеческому из миров совсем иных форм. И в том, что выработано «биосоциально-географическими» науками, есть элементы, в соответствующем преобразовании приложимые к человеческой социально-исторической среде (...)

Установить категорию «месторазвития», определить ее содержание, применить к конкретным условиям — несомненно труднее и сложнее, чем оперировать с понятием «биоценозы», тоже, правда, понятием не простым... Социально-историческая среда и ее территория «должны слиться для нас в единое целое, в географический индивидуум или ландшафт». Не только, конечно, социально-историческая среда без территории немыслима, в чисто внешнем смысле этого слова, но действительно, не зная свойств территории, совершенно немислимо хоть сколько-нибудь понять явления того или иного состава, особенностей и «образа жизни» социально-исторической среды (Савицкий 1927а, 29—30).

Говоря о социально-исторических мирах, Савицкий стремился устанавливать связи «между растительным, животным и минеральным царствами, с одной стороны, и человеком, его бытом и даже духовным миром — с другой»<sup>9</sup>. При этом он так пояснял свой отказ от рассмотрения каких-либо *причинных* отношений между территорией и образом жизни:

В «общезитии» этом элементы его «взаимно приспособлены друг к другу и (...) находятся под влиянием внешней среды, под властью земли и неба; и в свою очередь влияют на внешнюю среду» (...) «Такое широкое общезитие живых существ, взаимно приспособленных друг к другу и к окружающей среде» и ее к себе приспособивших, понимается нами под выдвигаемой в этих строках категорией «месторазвития» (Савицкий 1927а, 29).

Понятие месторазвития устанавливает «связи явлений», и вопрос о направлении и природе причинных зависимостей с этой точки зрения не является существенным. Понятие «месторазвития» останется в силе, будем ли мы считать, что географическая обстановка односторонне влияет на социально-историческую среду, или, наоборот, что эта последняя односторонне создает внеш-

---

<sup>9</sup> Савицкий 1927а, 29. Евразийский подход близок к учению Ратцеля, который говорит не о людях, а о «народе» (Volk).

ную обстановку; или же будем признавать наличие процессов обоих родов. Мы считаем, что научной является только эта последняя концепция. По нашему мнению, процесс, связывающий социально-историческую среду с географической обстановкой, есть процесс двусторонний<sup>10</sup> (...). Однако, в принципе, основное содержание понятия «месторазвитие» не должно зависеть и не зависит от этого убеждения. Активное отношение социально-исторической среды к внешней обстановке выражают в форме утверждения, что среда «выбирает» для себя обстановку; философы истории и этнологи нередко говорят о «выборе» определенным народом среды местожительства. Так, напр., Марр («Племенной состав населения Кавказа», Петроград, 1920) упоминает «о выборе на Кавказе местожительства в приморской области одной группой иммигрировавших сюда яфетических народов». Также и эта концепция уместается в рамках и согласуема с концепцией «месторазвития». Если социально-историческая среда и «выбирает» для себя внешнюю обстановку, вступив в нее, вместе с ней она составляет «географический индивидуум», или ландшафт (Савицкий 1927б, 31—32).

Однако если народ сам «выбирает себе» среду, чтобы слиться с нею в некоем симбиозе, и не является механическим продуктом среды, то языки по меньшей мере претерпевают влияние месторазвития: они могут терять существенные признаки и переходить, вследствие переселения говорящих на них людей, в другое месторазвитие:

Материал, собранный Р. О. Якобсоном, блестяще подтверждает тезис, согласно которому и в области фонологии «принцип месторазвития преобладает над принципом родства»; некоторые языки, в силу определенных закономерностей, склонны отделяться от родственных им языков и сближаться с другими, совершенно не родственными им языками. В нескольких строчках, посвященных этому вопросу, Якобсон дает целый ряд примеров. Языки тех славянских народов (сербохорваты, словены, словаки, чехи, лужицкие сорбы), которые выбрали для обитания европейские области, оказались, с интересующей нас здесь точки зрения, во власти «европеизации». В этих языках исчезла «тембровая дифференциация согласных». Венгерский язык тоже развивался под знаком «европеизации». Несколько лет назад, разрабатывая общую теорию месторазвития, мы выдвинули тезис о его «европеизации»; венгерская равнина, хотим мы того или нет,— это островок степи, подчиненный законам европейского месторазвития. В этот период мы даже не подозревали, что существует столь четкое доказательство такой европеизации. Именно она привела венгерский язык к отказу — с фонологической точки зрения — от своего евразийского родства. В более ограниченных рамках тот же самый процесс европеизации

---

<sup>10</sup> Этот «двусторонний процесс» наводит на мысль о «взаимном воздействии» (Wechselwirkung) у Гегеля: причина одновременно выступает и как следствие.

шел и в двух других финно-угорских языках, а именно в суоми (финский язык Финляндии) и в эстонском (Савицкий 1931б, 368—369).

Мы видим, что у Савицкого язык, обладая тем или иным признаком, может его лишиться при перемене месторазвития. Если языковые признаки относятся к территории распространения данных языков, то это уже не диффузионистская проблематика, но вопрос о собственно *внутренней связи* между языком и территорией.

Эта проблема непричинной связи приводит даже к *энергетической* концепции *месторазвития* в тексте, подписанном одним из многочисленных псевдонимов Савицкого:

Само название «народов СССР» не дает объединяющего научного принципа для трактовки их исторического прошлого. В евразийстве же такой принцип есть: это — понятие месторазвития, единого лона, в котором живут и движутся эти народы, от которого они получают импульсы и на которое воздействуют, с которым сливаются в особое историческое и естественно-историческое целое (...) Русские всех ветвей спаяны с другими народами Евразии (...) Спаяны они с ними и единством исторической судьбы. Каждый район в отдельности и все они вместе насыщены энергетическими токами, идущими из глубины прошлого (Логовиков 1931а, 54—55).

Этот отказ от упрощенной причинности вписывает теорию *месторазвития* в долгую мыслительную традицию, в *теорию климатов*, в конечном счете восходящую, через Жана Бодена (1530—1596) и Монтескье (1689—1755), к Аристотелю и Платону. Однако Савицкий ввел в эту мыслительную традицию новый элемент. Подчеркивая значение миграций, он ввел в отношения людей к своему окружению историческое измерение. У Жана Бодена (*La République*, 1576) мы находим нечто вроде теории *вызова* Тойнби: речь идет о том, каким образом народ, сознающий преимущества и, особенно, трудности своей ситуации, отвечает на вызов, брошенный ему природой. Ж. Боден ставил вопрос о том, как создать институты, наиболее подходящие к географическим условиям жизни народа. Напротив, у Савицкого дело идет не о выборе институтов в зависимости от окружающей среды, но о выборе народом той или иной среды обитания в зависимости от своей природы, своей *сущности*, взаимодействующей с окружением. В евразийском образе мысли еще больше платонизма, чем у Жана Бодена: каждый человек призван занять свое место и воплотить в человеческом граде ту гармоническую пропорцию, которая свидетельствует о присутствии

Бога во вселенной, однако народ в целом должен не столько *приспособиться* к окружающим условиям, сколько *признать* свое подлинное место на Земле — не пытаясь, к примеру, выйти из состава великой Империи, чья территория соответствует *естественным* границам.

И тут вновь сопоставление близких теорий лишь подчеркивает их своеобразие. Так, все те исследователи, которые в конце XIX века противостояли младограмматикам, изучая контактирующие языки, искали при этом *причины* заимствований, заражений или смешений. Доза, например, писал, что «на перекрестке дорог мы находим гораздо больше диалектных изменений, нежели в соседних коммунах»<sup>11</sup>; что «можно выявить пути вторжения, великие потоки обменов, по которым язык следует за цивилизацией и торговлей»<sup>12</sup>.

Конечно, у Доза мы находим и метафоры, взятые из наук о природе, главным образом из геологии:

Главное в том, что лингвистическая география — и в этом она выступает как подлинная геология языка — восстанавливает слои слов, подобно скрытым слоям почвы. Слова сменяли друг друга, однако лишь в редких случаях исходное слово полностью вытеснялось со своих позиций, не сохранившись в каком-то дальнем уголке территории, не оставив следа в производных словах или в своих собственных воздействиях на другие слова. Вся сложность в том, чтобы определить возраст того или иного предмета или идеи, зафиксировать смену явлений в том, что ныне предстает как одновременное и соположенное, — подобно тому как геолог, изучая скалы и карьеры, восстанавливает моря юрского и мелового периода (Доза 1922, 30),

или даже ту же самую врачевальную метафору, что и у Трубецкого:

Анализ языковых нарушений, особенно порожденных омонимией, показывает значимость новых идей, противоположных учению младограмматиков, но более близких древней грамматике. Под двойным воздействием фонетических законов и аналогии язык начинает вырождаться. Реакция самозащиты, свойственная всем живым организмам, заставляет его искать внутри самого себя средства оздоровления слова и вырождающихся функций, но это ему не всегда удастся, и у него нередко возникает потребность в опоре на более высокий способ выражения, на литературный язык. Таким в конечном счете был и подход классических грамматистов, однако геолингвистика совершенно обновила

---

<sup>11</sup> Доза 1922, 13.

<sup>12</sup> Там же, 53.

этот подход, укрепив его научные основы и выявив новый порядок фактов, ранее неизвестных: это патология и терапия слов и форм (Доза 1922, 55).

Однако если и Доза и Савицкий оба показывают неслучайное *отношение* между говором и его физической средой, то при этом Доза более склонен к поиску причинного объяснения, не ограничиваясь одной лишь изумленной констатацией *связи* между двумя рядами явлений.

У Доза языковые явления тоже выходят за свои границы. Однако у него бесполезно искать «внутренние тенденции развития» или же связи с почвой и растительностью; как и у Санфельда, причина этих изменений — в *престиже* языка, который становится источником заимствований:

Лингвистические ареалы способны выходить за пределы одного языка или же ряда близко родственных языков (например, романские говоры). В Римской империи окраинные народы, такие как зарейнские германцы, британские кельты или васконы, заимствовали из латинского языка многие слова, обозначающие предметы или товары, пришедшие с юга, новые вещи или идеи как образы более высокой цивилизации (Доза 1922, 36).

В главе IV мы видели, что геолингвистика с ее отказом от замкнутой модели младограмматиков ориентировалась на поиск внеязыковых причин языковых изменений: у Доза, как и у Жильерона, пути общения (дороги и реки) способствуют изменению, горы и политические границы мешают изменению; у Фрингса административные границы создают и границы между диалектами, у неолингвистов городские центры способствуют распространению нововведений и проч.

У Якобсона и Савицкого все обстоит совершенно иначе: месторазвитие и совокупность языков образуют целостность, внутри которой сходства языков объясняются не их взаимонаправленными контактами (как при билингвизме), но их совместным пребыванием в некоем «особом мире».

### Метод «увязки»

Во всем, что касается отношений между языками, их территориального распределения и других подобных явлений, ссылки Якобсона на работы Савицкого опять подводят нас к этому особому способу мысли, к «методу увязки»... Следуя этим путем, мы приходим вместе с Савицким в мир соответствий:

...изоглосса унаследованных дифтонгов с О и Е тождественна изоглоссе с падением слабых еров<sup>13</sup> — еще до потери музыкальных корреляций. Область, в которой последовательность событий подчинялась именно такому порядку, охватывает все украинские и южнобелорусские говоры. По-видимому, нарастающее падение слабых еров в течение некоторого времени удерживалось внутри этой границы. П. Н. Савицкий привлек мое внимание к тому факту, что эта изоглосса почти полностью совпадает — от западной границы распространения русского языка до Дона — с важной, особенно в сельском хозяйстве, географической изолинией, отмечающей 110 дней в году снежного покрова, то есть, иначе говоря, с одной из изолиний, изображающих постепенное похолодание русской зимы (...). Совпадение между изоглоссой распространения русского языка и зимней изотермой — это факт, который заслуживает более внимательного изучения (Якобсон 1929a [SW-I, 76]).

Мы видим, насколько в вопросе об отношениях между языком и территорией Якобсон близок к Савицкому: их мысль образует *слитное* целое, они постоянно ссылаются друг на друга. Географ обнаруживает у лингвиста новые факты, подтверждающие его теорию месторазвития, а лингвист использует теорию месторазвития для осмысления собранного им материала. В основе этой ранней формы междисциплинарного взаимодействия лежит *синтетическое* видение науки у евразийцев (см. об этом следующую главу).

Необходимо создать учение о месторазвитии языков и говоров. Носители наречий ищут подходящих условий для их дальнейшего развития. И не случайны соответствия между языком и месторазвитием. Переход языка в новое месторазвитие есть знак грядущих изменений, отличных от изменений, присущих прежнему месторазвитию. Переход языка в новое месторазвитие есть определенное решение и выбор (Савицкий 1929, 153).

Большой и интересной задачей являлось бы сопоставление географии говоров с данными русской ботанической и почвенной географии. Некоторые говоры по своему месторазвитию являются «степными». Так, например, распространение южномалорусских (украинских) говоров довольно близко воспроизводит очертания украинской степи. Там же, где говоры этого типа проникают в глубь лесной зоны, они дают своеобразный вариант т. н. «карпатоугорских» наречий. Олонецкая, поморская и восточная группа северновеликорусских говоров, в совокупности, точно охватывает пределы доуральской тайги. Это таежные говоры (Там же, 155).

---

<sup>13</sup> Еры — это неустойчивые, сверхкраткие гласные, падение которых примерно к XII веку вызвало значительные изменения в фонологической системе всех славянских языков.



Наряду со своими коллегами, историками и лингвистами, П. Савицкий стремился доказать существование евразийского мира как «целостности». Эти доказательства добываются путем эмпирического анализа отдельных изолированных рядов (изотермы, изоглоссы, изолинии, отделяющие друг от друга зоны растений, животных, почв и др.), а затем их сопоставления. Совпадение изолиний считается доказательством того, что целостность образует структуру. Следующий этап — синтетический: «вычленение многопризнаковой области»<sup>14</sup>. Особенность подхода П. Савицкого заключалась в поиске *соответствий* между явлениями различных естественных наук (метеорология, ботаника, почвоведение) и общественных наук (этнология и антропология, языкознание, «культурология» в широком смысле слова) для построения «нового образа мира»<sup>15</sup>. В статье, написанной по-французски в 1929 году, Савицкий предлагал сопоставить диалектные изоглоссы русского языка с изотермами российского климата. Оказалось, что результаты взаимоналожения двух типов карт полностью отвечают его ожиданиям: два ряда явлений удивительным образом *совпадают*.

Итак, для Савицкого существует общая линия, тянущаяся с северо-запада на юго-восток и разделяющая в самых различных областях две хозяйственные зоны (на юго-западе — свиноводство и возделывание зимних сортов пшеницы, на северо-востоке — овцеводство и отсутствие возделывания зимних сортов пшеницы) и две климатические зоны (на юго-западе средняя январская температура составляет выше 8 градусов мороза, и лед начинает таять до 11 апреля; на северо-востоке ситуация прямо противоположная). Доказательством онтологического существования выявляемых этногеографических единиц оказывается у Савицкого «констатация» того, что эта изолиния соответствует и границе между диалектами (звонкие фрикативные велярные на юго-западе и звонкие смычные велярные на северо-востоке). Затем эта изолиния систематически сопоставляется с многими другими границами, идущими «в том же направлении» и отмечающими постепенное похолодание зим (средние температуры января, количество дней в году со снежным покровом, даты замерзания и оттаивания рек, а также весеннего и осеннего перехода нулевой температурной границы и др.). Са-

<sup>14</sup> Савицкий 1929, 145.

<sup>15</sup> Там же, 146.

вицкий констатировал «параллелизм между картой январских изо-терм и структурными признаками распространения русских говоров»<sup>16</sup>. Эта статья Савицкого оказала огромное влияние на Jakobsona, который неоднократно на нее ссылался<sup>17</sup>.

«Метод увязки», по-видимому, не обратил на себя внимания современников, которые увидели в работах Jakobsona и пражских лингвистов лишь новый вариант старой проблемы смешения языков или более тонкую форму геолингвистики. Только А. Мартине, да и то лишь в послевоенный период, откликнулся на идеи Jakobsona (самого его не упоминая), но это была суровая и саркастичная критика:

Объяснить языковые сходства нелингвистическими обстоятельствами, например проживанием людей в одной и той же физической среде, невозможно (за исключением лексики) вне учета их необходимой зависимости от социолингвистических контактов. Во всяком случае, эту гипотезу трудно доказать и трудно опровергнуть, потому что в конечном счете два народа, которые живут в одном и том же месте земного шара, не могут не общаться. В этой области, как и в вопросе о родстве и происхождении явлений, лингвистам следовало бы прежде всего искать языковые причины, для изучения которых они лучше подготовлены и оснащены, нежели интересоваться климатом, широтами и долготами (Мартине 1959 [1975, 26]).

Намек на Jakobsona здесь совершенно очевиден. Как мы видим, ни синтез наук, ни мировая гармония совершенно не интересуют Мартине, который к тому же говорит здесь о «языковых изменениях», а не о «структурных признаках». Его довод таков: для того, чтобы языковые явления могли распространяться, необходимо наличие области, в которой существовало бы взаимопонимание или хотя бы двуязычие. Ясно, что наличие общей мягкостной корреляции не имеет никакого отношения к взаимопониманию. Правда, он допускает, что, ограничившись несколькими одновременно существующими фонетическими ареалами, можно показать, что некоторые изоглоссы *не совпадают* с генетическими границами. Однако все это — полнейшее недоразумение: во-первых, Мартине допускает возможность *несовпадения*, то есть отрицательного признака, тогда как для Jakobsona главное — это установление положительных совпадений; во-вторых, он говорит об изоглоссах,

---

<sup>16</sup> Там же, 150.

<sup>17</sup> Ср. Jakobson 1931a, 147—148; Jakobson 1939 [1973, 301]; Jakobson 1980, 88.

то есть о фонетических несистемных признаках, тогда как для Якобсона главное — это фонологические системные признаки, или изофоны<sup>18</sup>.

*Язык, культура и территория: психология народов*

Характеризуя функционализм Пражского кружка, Дж. Лепски<sup>19</sup> подчеркивал, на примере Трубецкого, его «антипсихологизм»<sup>20</sup>. Однако психология занимает в работах Трубецкого важное место: он признает «живую связь культуры с психикой ее носителей»<sup>21</sup>. Так, национальный характер украинцев (он называл их «южнорусами») отличается «риторическим пафосом», которого лишены северорусы<sup>22</sup>. «Психический склад» тюркоязычных народов Средней Азии особенно нравится Трубецкому:

Типичный тюрк не любит вдаваться в тонкости и в запутанные детали. Он предпочитает оперировать с основными, ясно воспринимаемыми образами и эти образы группировать в ясные и простые схемы (...) Тюркская фантазия не бедна и не робка, в ней есть смелый размах, но размах ее рудиментарен: сила воображения направлена не на детальную разработку, не на нагромождение разнообразных подробностей, а, так сказать, на развитие в ширину и в длину; картина, рисуемая этим воображением, не пестрит разнообразием красок и переходных тонов, а написана в основных тонах, широкими, порой даже колоссально широкими мазками (Трубецкой 1927г, 41—42).

У русских и степных народов есть и еще одна общая черта характера — *удаль*: это «добродетель чисто степная, понятная тюркам, но не понятная ни романо-германцам, ни славянам»<sup>23</sup>.

<sup>18</sup> Мартине 1959 [1975, 26].

<sup>19</sup> Лепски 1976, 69.

<sup>20</sup> Трубецкой 19396 [1960], 47: «При определении фонемы не следует прибегать к психологии».

<sup>21</sup> Трубецкой 1921a, 81. Якобсон тоже серьезно подумывал заняться вопросом «национального характера». В статье 1931 года «Миф о Франции в России» он утверждал, что изучение национального характера это трудная задача, но не подвергал сомнению ее научное значение: «Сравнительное изучение чужих мифов о Франции и представлений французов о самих себе и о других народах позволили бы очертить основания научной характерологии французов» (Якобсон 1931d [1986, 158]). Было бы интересно прочитать этот текст, пользуясь методами П. Бурдые или Р. Барта. Однако еще интереснее толковать его на фоне текстов его времени и, в частности, наиболее близких ему по мысли текстов Трубецкого.

<sup>22</sup> Трубецкой 19276, 76.

<sup>23</sup> Трубецкой 19216, 31.

Совокупность «психологических черт», свойственных тюркам, идеально согласуется, по мысли Трубецкого, с «не знающими исключений» структурами тюркских языков, которыми он так восхищался<sup>24</sup>. Трубецкой неоднократно поднимал эту тему *связи* между языком и «психическим складом», например, в письме от 26 декабря 1926 года он писал:

Для меня субъективно-интуитивно совершенно ясно, напр., что между общим акустическим впечатлением чешской речи и чешским психическим (даже психофизическим) обликом («национальным характером») существует какая-то внутренняя связь (Трубецкой 1985, 98).

<sup>24</sup> И в этом Трубецкой хорошо улавливал дух времени. А. Мейе посвятил хвалебную рецензию сборнику Трубецкого «К проблеме русского самосознания» (Трубецкой 1927г), где есть статья «О туранском элементе в русской культуре»: «Эта глава по этнической психологии производит сильное впечатление и порождает много мыслей» (Мейе 1928, 51). В следующем году, судя по отчету о заседании Парижского лингвистического общества, Мейе вновь обратился к этой идее Трубецкого в связи с главным предметом своего интереса — *индоевропейской нацией*: «Г-н А. Мейе, основываясь на наблюдении кн. Н. Трубецкого относительно соответствия между структурой тюркского языка и психическим складом тюрков, выдвинул тезис о существовании подобного соответствия между весьма своеобразной структурой индоевропейского языка и психическим складом индоевропейской нации. Индоевропейский язык состоит из отдельных слов; если в тюркском почти нет исключений, то в индоевропейском их множество; индоевропейскую завоевательскую аристократию отличает постоянный поиск области, в которой каждый вождь имел бы полную независимость и был бы действительно сам себе хозяином. Этот психический склад унаследовали греки, так что греческий язык насчитывает огромное количество исключений, и слово сохраняет в нем свой индивидуальный облик. Однако все эти независимые языковые формы соответствуют ясным, четко определенным категориям, подобно греческой литературе и искусству, которые отличаются гармонией и чистотой линий». А вот еще одно замечание Мейе: «Балтийский и славянский, в которых особенно хорошо сохранился материал индоевропейского, не развивались, однако, по пути индивидуализма» (Мейе 1929, XVII). Выступая в 1928 году на Первом конгрессе лингвистов в Гааге с докладом «Общие характеристики греческого языка» (Actes 1928, 164—165), Мейе вновь ссылаясь на Трубецкого. Нельзя не удивляться тому, что Мейе пытался опереться на Трубецкого, строя рассуждение, которое явно противоречило взглядам Трубецкого, отрицавшего само существование индоевропейского языка (ср. Трубецкой 1939а [1987]), но согласуется с взглядами Трубецкого по вопросу об «индивидуализме» «романо-германской» культуры. Мейе видел индивидуализм в греческой грамматике, а Савицкий — в раздробленной географии Европы.

Для Трубецкого, как и для Савицкого, индивидуализм романо-германцев — в противоположность системному духу туранцев — объясняется связью с раздробленной, расщепленной, расчлененной природой той «совокупности полуостровов», каковой и является Европа (в старой терминологии — «Западная Европа»). Однако и здесь еще мы не видим строгого детерминизма: романо-германцы оказываются индивидуалистами вовсе не *потому, что* Европа состоит из отдельных полуостровов, разделенных узкими морями: мы знаем лишь, что между двумя рядами явлений существует *соответствие* — психический склад соответствует структуре ландшафта.

Если теперь обратить внимание на то, что Якобсон и Савицкий ссылаются на Докучаева, для которого, напомним, почва — это «естественно-историческое тело», мы лучше поймем, что понятие языкового союза у Трубецкого и Якобсона не ограничивается лишь областью ареальной лингвистики. Читая эти тексты на фоне того *течения мысли*, которое было условием их возможности, мы обнаружим в них идеи, совершенно отличные от идей европейских геолингвистов того времени и прежде всего — мысль о *естественной связи* между языком и территорией, на которой он распространен.

Устанавливая связь между типом языка и психологией говорящего на нем народа<sup>25</sup>, Якобсон и Трубецкой (Ж.-К. Мильнер говорил об этом только применительно к Якобсону) исходят из того, что «если все соответствует всему в порядке языка, то это значит, что все соответствует всему в порядке вещей»<sup>26</sup>. В данном случае Якобсон, Трубецкой и Савицкий не ограничиваются лишь связью между языком и культурой: они соотносят и то и другое с *территорией* (климатом, почвами, географией).

### *Месторазвитие и фонология*

Якобсон обнаруживает явления двойного рода: с одной стороны, в родственных языках могут встречаться общие элементы, которые не восходят к общему предку; с другой стороны, в неродственных языках

---

<sup>25</sup> И это присходит как раз тогда, когда в американской этнолингвистике возникает «гипотеза Сепира—Уорфа», а в СССР — гипотезы марристов о связи между языком и мышлением.

<sup>26</sup> Мильнер 1982, 334.

могут возникать сходные элементы. Оба случая, по Якобсону, доказывают, что эти элементы (*структурные признаки*) были совместно *приобретены* различными языками. Требуется выяснить, *как и почему* это произошло. Мы уже видели, что для многих языковедов первой трети XX века кризис жесткой младограмматической модели привел к признанию роли *заимствований* и *влияний* одного языка на другой (ср. проблема *субстрата, адстрата, суперстрата* и др.). Решительно отвергая роль влияний, Якобсон, вместе с Савицким, настаивает на роли *территории* (или, точнее, месторазвития), что в итоге приводит к противоречию между различными объяснительными моделями. Так, смягчение согласных в фонологическом союзе евразийских языков можно объяснить двумя способами. С одной стороны, это признак, которым от рождения обладают «центровые языки», *передающие* его своим соседям в процессе общения; с другой стороны, это признак, присутствующий самому «месторазвитию»: он может приобретаться языками, приходящими на данную территорию, и теряться языками, уходящими с данной территории — так что диффузия, или распространение заимствованного признака, оказывается здесь ни при чем, как показал Савицкий на примере венгерского языка.

Однако несмотря на кажимости, между Савицким и Якобсоном существует важное различие, которое, видимо, сами они не осознавали, но которое от этого ни в коей мере не теряет своей значимости для понимания этого деликатного момента в истории структурализма вообще и фонологии в частности. По сути, Савицкий никогда не говорил о смягчении согласных как о значимом признаке *системы*, но лишь как о *фонетической* особенности евразийских языков, облегчающей произношение русского языка для нерусских народов Евразии. Удивительно, что и сам Якобсон иногда допускал подобное толкование (гл. III «Субстанциализация релятивных элементов»: Якобсон 1931a).

У Савицкого, подобно Якобсону и Трубецкому<sup>27</sup>, была одна устойчивая идея: любой ценой установить *соответствия* между всеми вещами. Сам факт существования языковых союзов в масштабе целого ма-

---

<sup>27</sup> Для Трубецкого народный танец, фольклор, музыка (использующая пентатонику, то есть диапазон не шире квинты), орнамент, «психический склад» евразийских народов имеют *взаимосогласованные* особенности (ср. Трубецкой 1925b, Трубецкой 19276).

терика, а также «местных» языковых союзов — это для него *аналогия* «политико-таможенной классификации мировых единств»<sup>28</sup>. В начале 30-х годов Савицкий предложил Якобсону программу работы на десять лет вперед: это было создание карты иерархического пространственного размещения языковых союзов на всей планете.

Но здесь важно и другое: у Савицкого внутренние элементы евразийской целостности существуют материально и могут восприниматься и изучаться независимо друг от друга. Это не те реляционные элементы, которым Соссюр давал чисто отрицательные определения: их отношения не являются «чисто дифференциальными», их «наиболее точная характеристика» не сводится к тому, чтобы «быть тем, чем не являются другие»<sup>29</sup>.

Между Савицким и Якобсоном идет удивительный диалог глухих, вроде игры, в которой непонятно, кто собственно притворяется, будто не понимает того, что говорит другой. Оба они ищут глобального объяснения мира, в котором собрание фактов подкрепляло бы грандиозное здание теории. Однако если Савицкий ищет и находит границы, которые более или менее совпадают, то Якобсон преследует почти не уловимый объект — вселенское распределение различительных признаков в фонологии, пользуясь при этом сомнительными двусмысленными формулировками:

В большинстве случаев мы наблюдаем удивительный параллелизм между фонологическими явлениями и географическими явлениями (Якобсон 1931г, 374—376).

Однако оба они находят свое научное счастье в обнаружении соответствий, согласований, совпадений, совокупностей *взаимосвязанных вещей*:

Сопоставляя различные изофоны, образующие языковые союзы, с одной стороны, и распределение фактов грамматической структуры, с другой стороны, мы обнаруживаем характерные пучки изоглосс, а также любопытные совпадения между границами языковых союзов, с одной стороны, и некоторыми политическими, физико-географическими границами — с другой. Так, ареал палатализирующих монотонических языков совпадает с географическим целым, известным под названием *Eurasia sensu stricto* [Евразия в собственном смысле

---

<sup>28</sup> Савицкий, письмо Якобсону от 9 августа 1930 года, опубликованное в: То-ман 1994, 130.

<sup>29</sup> Соссюр 1977, 149.

слова], которое выделяется в европейской и азиатской области многими особенностями политического и физико-географического свойства (Якобсон 1938 [1985], 103—104).

Полвека спустя Якобсон почти слово в слово повторил эту формулировку теории соответствий:

Отметим, наконец, что широкоохватные изоглоссы обычно совпадают с другими линиями большого размаха из области антропологической географии, хотя причину этого нелегко объяснить. Эти связи, подчас неожиданные, должны стать предметом многостороннего географического анализа согласно принципам, выдвинутым Петром Савицким (1895—1968), вдохновенным проводником структуральной географии (Якобсон 1980, 88).

Что же касается Савицкого, то он находит соответствия там, где хочет их найти:

...судя по Вашему очерку, русская лингвистика должна наступать на монгольские и маньчжуро-тунгусские языки! Если бы граница различения и неразличения согласных по мягкости и твердости, в той или иной форме, совпала с границей между китайским и монгольским языком в области великой китайской стены,— мне угрожал бы разрыв сердца от радости — ибо географические и исторические данные указывают именно на это (Савицкий: письмо Якобсону от 9 августа 1930 года, в: Томан 1994, 113).

Очень интересна проблема якутского языка и затем языков бассейна Енисея. Весьма вероятно, что граница Евразии и Азии совпадет с границей между якутским и юкагирским языком. Евразийское не связано ли со степным? Ведь якуты держатся за островки степных явлений (Там же, 132).

Такое понимание становления в свою очередь вписывается в органицистское и натуралистическое мировоззрение евразийцев: отношения между языками подобны отношениям между организмами, распространение которых не определяется соотношением сил: это естественное явление, гармонически соответствующее *месторазвитию*:

Материк Евразии имеет свою многотысячную историю, и в то же время материк этот есть нечто творимое. Русский народ создает новую Евразию. Его распространение в последние века шло таким темпом, что евразияция все больше подходит к обрусению (не в насильственном, а в органическом смысле свободы и выбора). И смотрите какая картина: русский язык обнял чуть ли не всю Евразию. Он, насколько могу понять, *характернейший евразийский язык*. В то же время его западные говоры доходят до районов европеизации (западно-карпаторусские), а его дальневосточные диалекты подвергаются азиатизации. И кажется ведь: изменения «симметричны»? Как определить место русского



языка в Евразии? Такой гаммы оттенков — и притом на *плошной* территории — не имеет, по-видимому, ни один другой язык старого материка (Там же).

География Савицкого — это не столько хорография, сколько космография: описание мест приобретает свой смысл лишь в процессе истолкования целостности.

### Порядок и гармония

В отличие от Соссюра, система для Якобсона предполагает порядок и гармонию. Даже когда русские пражане говорят о *совпадении*, речь никогда не идет о чем-то случайном, о беглой встрече элементов различного происхождения, но скорее об открытии *скрытого порядка* в устройстве явлений<sup>30</sup>. Русские пражане зачарованы гигантским миропорядком, порядком целостностей, они не допускают ни беспорядка, ни нехватки, ни неполноты. На рубеже 20-х и 30-х годов они стремятся расшифровать знаки природы и культуры. Они ищут — по ту сторону видимого — невидимую структуру реального. Теория соответствий, типичная для немецкого романтизма, восходит — через Парацельса и Якоба Беме — к поискам соответствий между макрокосмом и микрокосмом в поздней античности. Однако, будучи наследниками этой «традиции» (свойственной не только России, но также и «романо-германской науке»), Якобсон и Трубецкой отказываются от великого натурфилософского Целого в пользу множественности небольших целостностей, взаимонепроницаемых и несоизмеримых «культур». Они изобретают целостности во множественном числе, воспроизводя в небольшом масштабе то, что философия природы сделала для вселенной в ее единстве и единственности. Это отказ от мысли о скрытом единстве вселенной: вселенная — лишь абстракция, реальны — лишь границы между народами как различными «симфоническими личностями»<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Опять-таки, этот евразийский тезис *не нов*. Ту же замороженность соответствиями мы видим у языковеда, которого Якобсон всегда подвергал ожесточенной критике, — у А. Шлейхера, с той лишь разницей, что Шлейхер имел дело не с территориями, а с более абстрактным уровнем типологии: для Шлейхера восходящая типология языков — изолирующие/агглютинирующие/флективные — действительно *соответствует* иерархии минерального/растительного/животного мира.

<sup>31</sup> Вслед за Карсавиным, Трубецкой (Трубецкой 1927г) нередко пользовался этим выражением. О теории симфонической личности у Карсавина см: Ошар 1996.

Отвергая общечеловеческую культуру как порождение западной цивилизации, Якобсон и Трубецкой на рубеже 1920-х и 30-х годов выдвигают на первый план понятие *зон* как смягченный вариант «замкнутых культурно-исторических типов» Данилевского, в пределах которых способы научной работы определяются культурой и образуют «структурные» целостности. Подобно романтикам, например Новалису, они стремятся расшифровать великую книгу Природы, но подобно позитивистам, они стремятся скорее выявить *законы*, чем построить великую семиологию<sup>32</sup>.

Однако русские пражане вписываются в современное им течение мысли, которое ищет тождественное в различном, единое в разнородном. Возникновение фонологии вписывается в этот сложный процесс, который историк науки призван поместить в более широкую картину истории культуры.

Понятие миропорядка у евразийцев, в особенности у Якобсона и Савицкого, основано на резком отказе от положений эволюционизма, остро поставившем проблему *времени*. Природа имеет свою собственную историю, и история каждого *месторазвития* несоизмерима с другими.

Будь лик земли хаотичен, не будь в его строении закономерности, нельзя было бы, конечно, думать, что установление категории «месторазвития» даст когда-нибудь ясные и полезные результаты. Но в действительности дело обстоит иначе — геологическое устройство, гидрологические особенности, качества почвы и характер растительности находятся во взаимной закономерной связи, а также в связи с климатом, и с морфологическими особенностями данного лика земли (...) Каждая, хотя бы небольшая, человеческая среда находится, строго говоря, в своей и неповторимой географической обстановке (Савицкий 1927а, 30—31).

Интереснее всего то, что эта структуральная наука, рождающаяся в Праге, где бок о бок работали языковед (Якобсон) и географ (Савицкий), основывалась на платоническом или пифагорейском видении мира как места порядка и гармонии: это мировидение ярко присутствовало в русской мысли начала XX века, как, впрочем, и в немецкой мысли начала XIX века<sup>33</sup>. Понятие «система» (или «структура») соот-

---

<sup>32</sup> Одно из ключевых слов у Якобсона в его текстах на немецком языке — *Gleichmässigkeit* — закономерность, симметрия, единообразие, равенство (Якобсон 1930, 384).

<sup>33</sup> О геометрическом и пифагорейском мышлении в географии немецкого романтизма (Карл Риттер) см. Никола 1974.

ветствовало для них понятию порядка как отказа от случайности. Мы уже видели отказ от случайности в биологической модели Берга и его понятии *номогенеза*.

По-видимому, существует противоречие — между идеей неизменного универсального порядка, или «космоса», вечного и бесконечного порядка Природы (включающей общество), чьи глубинные основы необходимо обнаружить, и идеей исторического изменения, которое становится у Трубецкого главным предметом лингвистического исследования. В самом деле, как объяснить саму возможность эволюции, если малейшее изменение нарушает гармонию? Якобсон и Трубецкой разрешают эту трудность, полагая, что гармония присуща самому изменению, что логика процесса позволяет сохранять систематичность и в процессе перемен.

#### *География с геометрической точки зрения*

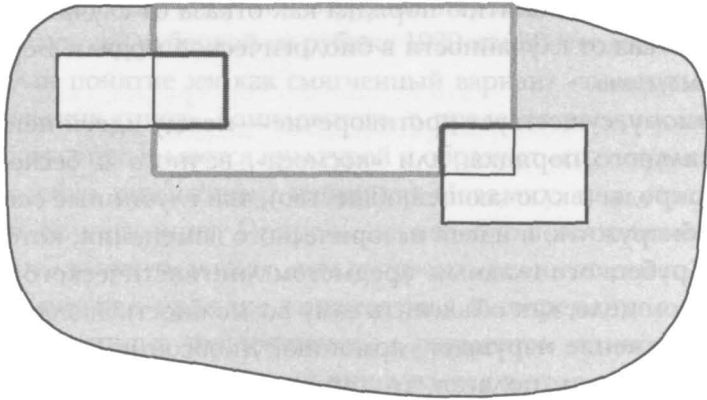
В противоположность С. Карцевскому, который основывает многие свои рассуждения на понятии *ассимметрии*, Якобсон, Трубецкой и Савицкий заморожены *симметрией*. Для них объект существует, если (или потому что) он обладает симметричной структурой. Но если для Трубецкого речь идет об абстрактной симметрии (для него, например, симметричны все системы гласных)<sup>34</sup>, то у Якобсона речь идет о симметрии в *пространстве*, на некоей реальной территории. Нижеследующая схема изображает это пространственное расположение, в котором Якобсон видит *симметрию* и оппозицию *центр/периферия*, выявляя «центровость» евразийских языков и «периферийность» языков Западной Европы, обладающих лишь отрицательными признаками (у них нет ни мягкой корреляции, ни политонии).

*Симметрия*.— В своей научной работе на рубеже 20-х и 30-х годов русские пражане стремились доказать, что распределение языков (как географических объектов) по поверхности земного шара не простая случайность: в нем запечатлен необходимый порядок. При этом приводятся доводы двоякого рода:

— *Теория соответствий* между рядами объектов различного происхождения (например, взаимоналожение изоглосс и изотерм);

---

<sup>34</sup> Ср. Трубецкой 1985, 117.



- Политонические языки
- Монотонические языки с мягкостной корреляцией
- Монотонические языки без мягкостной корреляции
- Языки с мягкостной корреляцией

— *Теория симметрии* (объект существует онтологически, потому что он имеет симметричную структуру); так, пространственные отношения между языками на древнем материке характеризуются отношением симметрии, ось которой пересекает всю Евразию.

Евразия как мыслительное построение, несомненно, эстетична: открытие симметрии, периодичности, соответствия между всеми элементами, упорядоченного соотношения частей внутри Целого<sup>35</sup> порождает эмоцию эстетического типа. Именно поэтому было бы упрощением толковать теорию языкового союза у Якобсона в духе вопроса о языковых *контактах*. Симметрия между зонами распространения политонических языков по обеим сторонам Евразии, например, несовместима с каким-либо понятием о контакте. Якобсон может лишь сказать, что «это не случайно», что в этом — благодаря своеобразной рациональной

<sup>35</sup> И все это тем более удивительно, что Якобсон очень интересовался кубистской живописью. В сборнике 1912 года «Пощечина общественному вкусу» есть статья Д. Бурлюка «Кубизм», в которой «академический канон», характеризующийся *симметрией и гармонией*, противопоставлен канону новой живописи, или канону «смещенной», «отклоненной» конструкции, характеризующейся «дисгармонией, цветовыми диссонансами, дисконструкциями» (цит. по: Сола 1990, 26).

реконструкции понятий соседства и территории, вскрывающей устойчиво необходимый порядок — проявляет себя пространственная гармония:

Фонология и геофизика свидетельствуют об удивительно симметричной природе границ Евразии. Северо-восточная и северо-западная окраины евразийского языкового пространства граничат с областями, где говорят на монотонических языках и не различают тембра согласных: с одной стороны, это чукотский, юкагирский и др. языки, а с другой — суоми и лопарский. На северо-западной окраине и по всей протяженности восточной границы евразийский союз соприкасается с аггломератами политонических языков (Прибалтика и Тихий океан). Наконец, на южной и юго-западной окраине вновь встречается политония в контакте с монотоническими языками, которые не проводят тембрового различения согласных: это главная совокупность европейских языков, турецкий язык, картвельская группа и индоевропейские языки Ближнего Востока (армянский и индоиранский) (Якобсон 1931в, 374—376).

Соседство способствует появлению и сохранению близких фонологических явлений, которые наряду с особенностями обнаруживают известные общие черты: так, политонический языковой союз входит в Европе в более обширный союз языков с двумя формами ударения. Следует заметить, что палатализирующий языковой союз как на восточной, так и на западной окраине сочетается с политоническим языковым союзом. Маловероятно, чтобы эта симметрия двух границ одного союза была бы обязана простой случайности (Якобсон 1938 [1985], 103).

Однако наиболее важный для этого поиска симметрии материал мы находим у Савицкого, который и в этом был одним из главных вдохновителей Якобсона и Трубецкого. В рецензии на книгу о растительности СССР (Алехин 1936)<sup>36</sup> Савицкий приветствует эту работу как достойный результат евразийской науки<sup>37</sup>: в ней тщательно прослеживается симметричное построение (или «структура») распределения зон растительности, образующих «систему»:

В ней остро поставлен вопрос о природе той зональной системы растительности и почв, которая разворачивается на пространстве нашей страны и образует одну из основных, если не просто основную географическую ее особенность (Савицкий 1940, 155).

Затем Савицкий напоминает, что основные положения Алехина, целиком основанные на открытии *симметричной* природы распределе-

<sup>36</sup> Алехин 1936; см. рецензию Савицкого (Савицкий 1940).

<sup>37</sup> Ему нравится ее «сжатость, ясность и научная красота» (Савицкий 1940, 155).

ния растительных зон в СССР, соответствуют принципам, раскрытым в работах евразийцев. Речь идет о симметриях между западом и востоком, «когда восточные окраинные части системы сближаются, по каким-либо признакам, с западными окраинными ее частями, отличаясь в то же время, и по этим же признакам, от средних звеньев системы», и о симметриях между севером и югом, которые «возникают там, где такое взаимное сближение („схождение крайностей“) обнаруживают крайне-южные и крайне-северные ее слагаемые». Для Алехина, как и для Савицкого, именно в центре (или *сердцевине*) Евразии распределение зон оказывается наиболее сложным, тогда как по мере удаления от центра к окраинам «зональная система» упрощается и разреживается:

В долготах между низовьями Волги, с запада, и Алтаем, с востока, на пространстве России-Евразии, разворачиваются с юга на север четыре зоны: пустыня, степь, лес и тундра. Дальше на восток (в пределы «монгольского ядра континента») проникает, в виде широтной сплошной полосы, пустыня, но не проникает степь. Распространение степных формаций приобретает в заалтайских местах «разорванный», островной характер. Но и эти формации исчезают — там же, где и пустыня — по мере приближения к Тихому океану. Там остаются только две зоны — тундровая и лесная. На западе пустыня выклинивается в долготах нижней Волги. Западнее имеются только три зоны — степная, лесная и тундровая. Но и степь, в качестве сплошной полосы, ступеньвается на подступах к Карпатам. В долготах средних Карпат, на пространстве от них до Ледовитого океана, наблюдатель находит только две зоны: опять-таки, как на Дальнем Востоке — лесную и тундровую (...) В. В. Алехин делает правомерный вывод: «в общем намечается симметричное сложение зональной системы: центр — четырехчленный, фланги — двучленные, между последним и центром — трехчленное сложение» (157).

Для Савицкого ось симметрии не есть лишь геометрическое изображение: это область, в которой сосредоточено больше всего положительных признаков. Коль скоро влажность увеличивается с юга на север, а температура — с севера на юг, значит существует такая зональная полоса «встречи средних значений одного и другого порядка», которая и представляет собой «осевую зону» или «срединную ось». Эта зона оказывается одновременно и средоточием огромного множества явлений («С ней связаны наибольшее богатство и наибольшая насыщенность органической жизни на русских равнинах», 159), и *границей* между лесной и степной зонами, которая *совпадает* с главной осью симметрии евразийской системы. По Савицкому, это как раз та об-

ласть, где сложились крупные исторические центры — Киев, Нижний Новгород, Казань и др. И опять доводы вызывают к очевидностям: «Совершенно естественно, что историческая среда тянулась к этому рубежу: он совпадает с областью наибольшего накопления производительных сил как лесной, так и степной зоны» (159). Наконец, эта теория соответствий подкрепляется последним открытием Алехина: ось зональной системы «почти совпадает» с климатической осью — речь идет о полосе повышенного давления, особенно отчетливо выраженной зимой; она служит «ветроразделом» российских пространств: к северу от нее преобладают юго-западные и западные ветры, а к югу — северные, северо-восточные и восточные.

Совпадение всех этих критериев образует основу гармоничного эстетического образа евразийского мира:

Совпадение этой полосы высокого давления с «широтной осью» значительно повышает упорядоченность и обозримость природных явлений в рамках «симметрической системы» (Там же, 159).

Для рассуждений Савицкого, безусловно, характерен структуралистский способ мысли: для него важна не материальная природа элементов, а их внутрисистемные соотношения. Что может быть более чуждо друг другу, чем жаркая пустыня Средней Азии и ледяные безлюдные пространства тундры возле полярного круга? Однако по своему значению они *тождественны*, так как расположены по сторонам единой главной оси: «К северу и к югу общий состав растений постепенно упрощается». Но и тут геометрическое видение может быть лишь руководством к пониманию физических явлений: так, характеристики какой-либо зоны могут сдвигаться по направлению к другим зонам:

Продвижение каких-либо явлений, специально свойственных «осевым» частям системы, в направлении «сторонних» ее частей должно называть, в этой связи, «осебежным» явлением. Движению в противоположном направлении (т. е. от «сторонних» частей к «оси») приличествует название «осеостремительного» явления. Именно «осевые» части системы предоставляют, по сказанному выше, наиболее благоприятные условия для человеческого хозяйства. Из этого следует, что «осебежные» явления стоят, в экономической сфере, под положительным, а «осеостремительные» — под отрицательным знаком. Иными словами, первые способствуют распространению «прогрессивных», а вторые — усилению «регрессивных» (в хозяйственном смысле) природных факторов. Понятия эти, выдвинутые в ряде евразийских работ на географические темы,

В. В. Алехин применил с большим остроумием для анализа той миграции географических зон к югу, которая наблюдается в современную геологическую эпоху (наступление тундры на лес, леса на степь и т. д.) (161).

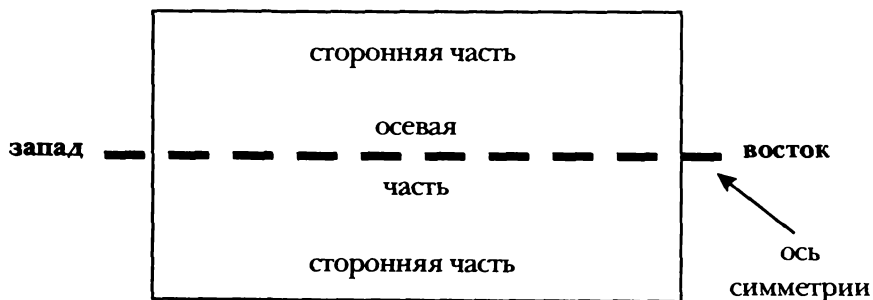
А теперь можно сделать то, чего не сделал Савицкий,— графически представить «структуру» растительных зон СССР—Украины—Евразии:



Зона, очерченная кружком,—  
это *средоточие* или центральная, осевая зона

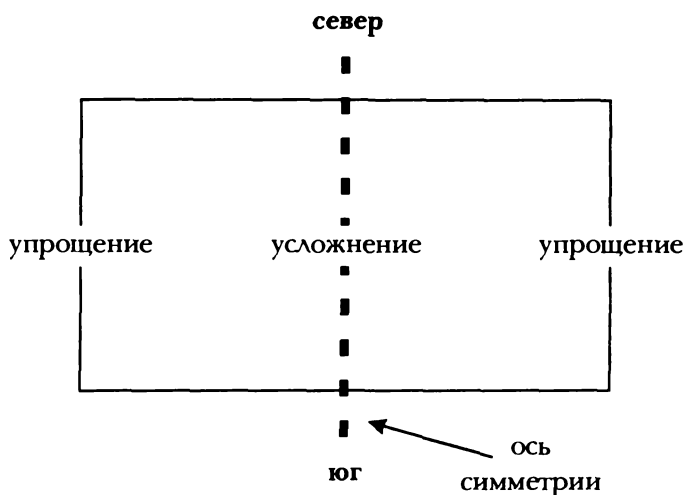
Мы видим, что плотность и разнообразие зон уменьшаются по мере удаления от центра и образуют здесь ось симметрии восток—запад. Осевая зона является в то же самое время *ядром*: это место, где сосредоточено больше всего признаков.

Симметрия у Савицкого двойственна. С одной стороны, имеется ось восток—запад, которая определяет зоны, благоприятные (центральные) и неблагоприятные (сторонние) для жизни:

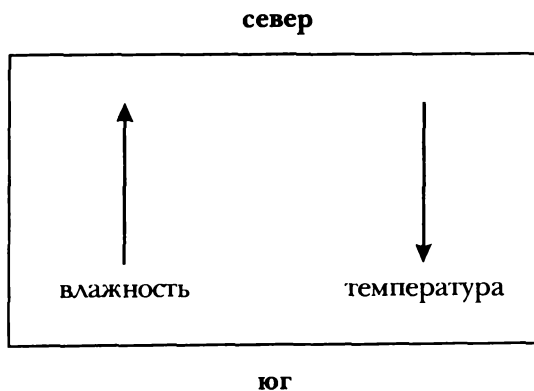




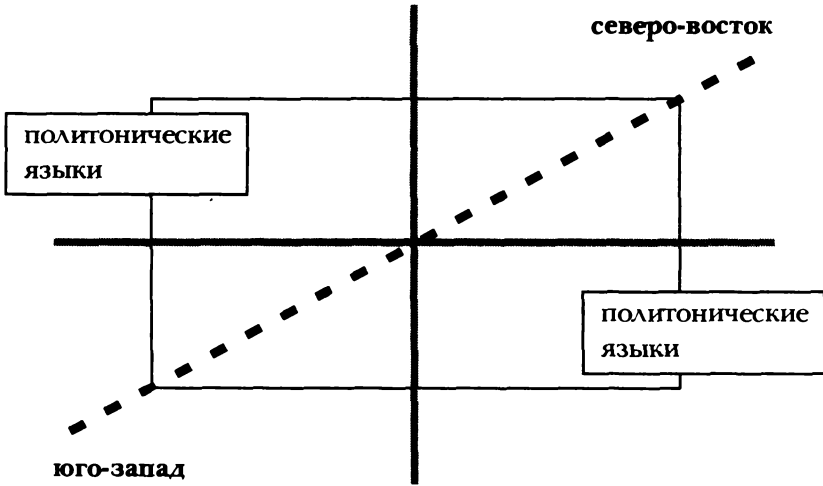
а с другой стороны — ось север—юг, которая противопоставляет зоны усложнения (центральные) и зоны упрощения (сторонние) критериев:



Даже там, где отношения не ориентированы по осям, как при увеличении температуры или повышении влажности, все равно зеркальное отношение вводит порядок, квазисимметрию:



Якобсон лишь несколько усложняет симметрическую схему Савицкого, добавив к ней ось, которой у Савицкого не было, а в остальном безусловно следуя Савицкому:



Хотя рассуждение Яковсона внешне относится к области *лингвистической географии*, на самом деле оно основано на *геометрическом* видении пространства. Для него смысл симметрии в том, что окраины, или «периферии», сходны. *Центр* образован компактной и непрерывной массой, отмеченной одним положительным (мягкостность) и одним отрицательным (отсутствие политонии) признаком. Окраины этой совокупности *симметричны*: и там, и здесь имеются только политонические языки. Наконец, со всех сторон это пространство окружает большая полоса или *зона* языков, не обладающих ни политонией, ни мягкостной корреляцией. Заметим, что эта странная симметрия (в отличие от того, что мы видим у географов — Савицкого и Алехина) слишком легко расправляется с изометрией: балтийский союз занимает гораздо меньшую площадь, чем тихоокеанский союз, так что в лучшем случае здесь наблюдается лишь приблизительная гомоморфия. Кроме того, ничего не говорится о том, что составляет саму основу любого размышления о симметрии: мы ничего не знаем ни о ее *оси*, ни даже о том, существует ли таковая... По-видимому, геометрическое представление пространства у Яковсона в 20-е и 30-е годы восходит к географу Карлу Риттеру (1779—1859), а оттуда — к платоновской метафизике (Тимей) и пифагорейским идеям порядка и мировой гармонии. Искать в симметрии принцип онтологического доказательства глубинной внутренней реальности открываемых объектов значит *придавать* смысл геометрическим отношениям между незримыми сущностями.

По сути, главный довод Якобсона заключается в том, что пространственное распределение фонологических признаков не случайно, что оно *соответствует* другим, неязыковым явлениям.

Так, геометрическое видение мира у Якобсона дает ему лишь точку опоры для некоего глобального видения: будучи чисто интуитивным, оно не может лечь в основу расчета или измерения, однако становится примером и одновременно критерием истины, якобы доказательством существования искомого объекта — евразийской целостности. Когда речь идет о пространстве, в размышлениях Якобсона оказывается подчас больше эстетства, чем собственно научного исследования.

С Трубецким дело обстоит не совсем так. Известно, что у него, в отличие от С. Карцевского, *симметрия* это критерий онтологической реальности объектов. Так, в письме к Якобсону от 19 сентября 1928 года он писал:

Работал я летом мало, а больше гулял: уж очень хороша была погода (...) Я составил фонологические системы вокализма всех языков, которые помню наизусть (всего 34) и попробовал их друг с другом сопоставить (...) Результаты получаются чрезвычайно любопытные. Напр., до сих пор я еще не встретил ни одного языка с несимметричной системой гласных. Все системы укладываются в небольшое число типов и могут быть изображены всегда симметрическими схемами (треугольников<sup>38</sup>, параллельных рядов и т. д.). Без труда устанавливаются некоторые законы «системообразования» (вроде того, напр., что если в данной системе существуют лабиализованные гласные переднего ряда, то число их никогда не может превышать числа нелабиализованных гласных переднего ряда, и т. д.) (Трубецкой 1985, 117).

Самое интересное в этом письме — уверенность в правоте самого онтологического рассуждения: если система гласных не выстраивается в симметрическую схему, то ошибку следует искать в плохом описании: ведь несимметричную систему просто нельзя помыслить. Симметрия — это внутреннее свойство систем гласных, то, что им принадлежит, а вовсе не эвристическая установка исследователя.

В связи с этим я теперь пересматриваю некоторые свои и Ваши построения, причем не все они оказываются удовлетворительными. В частности, плохо обстоит дело, по-моему, с древнейшими стадиями чешского языка. Три от-

---

<sup>38</sup> Понятие «треугольника гласных» не было изобретением Трубецкого: оно восходит к концу XVIII века и встречается у Хельвага (1781). Ср. об этом: Мунен 1966, 23.

тенка е (< \*е, \*ё и \*ъ?) никак не дают построить сколько-нибудь приличную симметрическую систему. Тут что-нибудь неверно. Но что? (Трубецкой 1985, 117—118).

Конечно, нас сейчас интересует вопрос о том, в какой мере представления о евразийской самобытности повлияли на фонологические идеи Трубецкого. В некрологе Трубецкому Чижевский<sup>39</sup> отмечает явное сродство между евразийскими положениями и фонологией Трубецкого. Таково и мнение Томана<sup>40</sup>, для которого понятие симметрии в системах гласных у Трубецкого — это «метаморфоза» евразийских представлений: вспомним, что Трубецкой особенно ценил тюркские языки, «не знающие исключений» и использующие простые и логически ясные схемы<sup>41</sup>. Но тогда тем более важно отметить возможность недоразумений, которые возникают, если евразийские ориентации Трубецкого не принимаются во внимание. Это относится, например, к Бенвенисту, который вычитывает у Трубецкого то, чего у него нет, — мысль об асимметрии.

Понятия равновесия и тяготения, которые Трубецкой добавил к понятию структуры и которые доказали свою плодотворность, сторонник Блумфильда отвергнет как запятнанные телеологией. Между тем, это единственный принцип, позволяющий понять эволюцию языковых систем. Каждое данное состояние языка — это прежде всего результат определенного равновесия между частями структуры, равновесия, которое, однако, никогда не приводит к полной симметрии, возможно потому, что асимметрия лежит в самой основе языка из-за асимметрии произносительных органов. Взаимосвязь всех элементов приводит к тому, что всякое повреждение, нанесенное в одной точке, нарушает всю систему отношений и влечет за собой рано или поздно ее перестройку в новую систему (Бенвенист 1966 [1974], 38—39, перевод с нашими уточнениями. — Н. А.).

У Трубецкого не асимметрия явлений, а «внутреннее стремление к развитию», «логика эволюции» побуждает языки к изменению.

Порой эта замороженность симметрией превращается у Трубецкого в навязчивую идею. В статье «О туранском элементе в русской культуре» говорится, что тюркские мелодии «строятся строго симметрично», что они отличаются «особенной гармонической и ритмической ясно-

<sup>39</sup> Чижевский 1939, 465.

<sup>40</sup> Томан 1987, 637.

<sup>41</sup> Трубецкой 1927г, 36.

стью и прозрачностью»<sup>42</sup>. В тюркской народной поэзии мы находим «двустипшия или *симметрично* построенные четверостишия с параллелизмом, доходящим до тавтологии», и «длинные, большей частью эпические песни: но и они строятся строфически, с подчинением каждой строфы принципу параллелизма, а нередко и с объединением нескольких строф в одну *симметрично-параллелистическую* фигуру»<sup>43</sup>. Что же касается религии этих алтайских народов, то она «проникнута идеей дуализма, и любопытно, что дуализм этот возведен в последовательную, педантически-*симметричную* фигуру»<sup>44</sup>. Наконец, психика туранского народа всецело зиждется на *симметрии*: «Не только его мышление, но и все восприятие действительности укладывается само собой в простые и *симметричные* схемы его, так сказать, „подсознательной философской системы“»<sup>45</sup>.

*Центр и периферия.*— В письме Якобсону от 9 августа 1930<sup>46</sup> Савицкий предлагает радикальное «геофологическое» переосмысление работы Якобсона на пути формирования глобального географического и исторического взгляда на мир. Евразия — это не только *место*, но прежде всего — *процесс*, то, что отвечает понятию *месторазвития*. Так, оппозиция между *центральным*, или *срединным*, *миром* (Евразия) и окраиной Старого Света (Европа и Азия) лишь удваивает оппозицию между «евразийской» и «периферизацией» языковых явлений. Савицкий устанавливает вселенскую иерархию языковых союзов: евразийский языковой союз основывается на положительном признаке (мягкостная корреляция), тогда как Европа и Азия как совокупность разрозненных *месторазвитий* включают в себя различные языковые союзы (балтийский, балканский и др.), обладающие лишь отрицательным общим признаком — у них нет мягкостной корреляции.

Вновь подчеркнем здесь различия в понимании центра и периферии у тех исследователей, которые в это время тоже пользовались этими понятиями, но осмыслили их иначе, в духе релятивности, тогда как

<sup>42</sup> Трубецкой 1925в, 39.

<sup>43</sup> Там же, 40.

<sup>44</sup> Там же, 41.

<sup>45</sup> Там же, 46.

<sup>46</sup> Опубликовано в: Томан 1994, 128.

Якобсон и Савицкий трактовали их в *абсолютном* смысле. Так, у Ван Гиннекена, позиции которого близки в этом отношении неолингвистам, центром могло считаться все что угодно, и потому никакой симметрии не существовало:

Сродство или конвергенция сходных языков проявляется в (...) лексикологии, в грамматике и в синтаксисе. И хотя отдельные волны этого процесса различны в пространстве и времени, между ними имеется множество параллелей, что позволяет выявить общие инновации и различные центры радиации, а также, в благоприятных для этого случаях, восстановить последовательную эволюцию фонологической системы, а кроме того, лексики, грамматики и синтаксиса (Ван Гиннекен 1935, 41—42).

Итальянские неолингвисты тоже видят цель геоллингвистики не просто в графической регистрации признаков различных диалектов, но в изучении распространения языковых фактов на больших территориях и в открытии *центров* распространения инноваций. Диффузия инноваций в определенном языковом ареале позволяет судить об относительном возрасте языковых явлений. Неолингвисты, занятые поиском фактов диффузии, бесконечно далеки от такого понятия, как месторазвитие. Неолингвисты ищут *центр* в любой области, где возникает языковая инновация. Однако у нас нет оснований считать, что языковые изменения всегда происходят в одном и том же месте, а потому не существует и такой области, которая всегда была бы центром распространения любых языковых признаков<sup>47</sup>.

Вот почему оппозиция между центром и периферией имеет у пражских русских совсем не тот смысл, что у итальянских неолингвистов<sup>48</sup>: речь идет не о волнах, распространяющихся из единого источника инноваций (при релятивном подходе любая точка может стать центральной), но о некоей глобальной концепции. Периферия евразийской об-

<sup>47</sup> Здесь было бы уместно вспомнить обычную для средних веков мысль, которую мы находим у Николая Кузанского, а затем у Дж. Бруно: «Повсюду — центр, а окружности нет нигде». Под этим высказыванием подписались бы и неолингвисты и Соссюр, хотя по вопросу о границах их взгляды прямо противоположны.

<sup>48</sup> Правда, Милка Ивич (Ивич 1970, 96) ставила знак равенства между неолингвистами и Трубецким, а сами неолингвисты претендовали на изобретение идеи языкового союза (по-итальянски — *lega linguistica*) раньше Пражского лингвистического кружка.

ласти — это советская граница<sup>49</sup>... Правда, Трубецкой, говоря о *радиации*, понимает под этим энергию или высшую силу, которая излучается из своего собственного центра, или *очага*:

Русский литературный язык благодаря ряду исторически сложившихся обстоятельств стал очагом литературноязыковой радиации для целой зоны литературных языков Евразии. Обычно такая литературноязыковая радиация связана и с радицией алфавита: так, греческий алфавит, возникший сам из финикийского, в древнее время породил латинский, позднее — готский и оба церковнославянские (глаголицу и кириллицу), латинский же послужил основой для графических систем всех европейских языков. То же явление наблюдается в настоящее время и с русским алфавитом. Таким образом, для культурной роли русского алфавита важно не только то, насколько он приспособлен к русскому языку, но и то, насколько на его основе можно построить алфавиты для других языков Евразии. И следует признать, что в этом отношении русский алфавит представляет громадные удобства и приспособлен для такой роли гораздо больше, чем какие-либо алфавиты Европы, Евразии и Азии (Трубецкой 1927б, 89).

У Доза тоже речь идет о явлениях *иррадиации*, однако всегда в контексте внеязыковой причинности:

Местами, из которых идет распространение слов, форм и выражений, обычно оказываются крупные города: это одновременно и источники цивилизации и, в более узком смысле, источники языковой иррадиации (Доза 1922, 58).

Видение пространства у Якобсона и Савицкого организовано оппозицией центр—периферия. Оба они пользуются одинаковыми терминами, но трактуют понятия центра и периферии по-разному. У Савицкого географические объекты структурированы относительно центра, который выступает как *ядро* с наибольшей концентрацией положительных признаков, свойственных данному объекту, как точка конвергенции; напротив, по мере продвижения от центра к периферии число этих признаков уменьшается. На периферии признаки выражены

---

<sup>49</sup> Близость сталинского послевоенного дискурса к учениям евразийцев 30-х годов просто удивительна (хотя в этот период в СССР никто не ссылался на теории евразийцев), так, в газете «Известия» от 24 мая 1950 года читаем: «Русский народ создал мощное государство, сплотив в единое целое все русские земли от Прибалтики до Тихого океана, от Черного моря до Северного Ледовитого океана. Русский народ — это мощное ядро, вокруг которого собрались и окрепли все народы нашей страны».

слабо и упрощенно, напротив, в центре они сосредоточены густо и образуют сложную картину (осевая область — это и есть «ядро»). Концепция пространства у Якобсона ближе геометрическому эмпиризму, или, точнее, геометрической онтологии: геометрически понимаемый *центр* есть то, что само не является периферией, но ограничено симметрично расположенными перифериями. Эта симметрия и «создает» объект, делает его очевидным, зримым. И даже если Якобсон иногда понимает «ядро» как «центр», он рассуждает совсем не как географ:

Зона распространения тембровой оппозиции согласных охватывает три равнины (Восточноевропейскую, Западно-Сибирскую и Туркестанскую): это и есть ядро, в котором географические особенности евразийского мира выражены наиболее четко. Юго-западная окраина этого фонологического союза охватывает пространство евразийских степей, которое простирается по всему западному побережью Черного моря — от Одессы до Балкан. Наконец, на востоке области языков с мягкостной корреляцией образуют как бы монгольское ядро: по целому ряду характеристик эти области тоже принадлежат Евразии (Якобсон 1931в, 374—375).

В диалектологии Жильберона и итальянских неолингвистов (М. Бартоли, В. Пизани) оппозиция центра и периферии занимает привилегированное место. В каждой области, где возникает та или иная языковая инновация, они ищут центр. Однако, напомним, у нас нет оснований полагать, будто все языковые изменения происходят в одном и том же месте, и, стало быть, нет оснований допускать существование такой области, которая была бы *центром* распространения всех языковых признаков. Следовательно, понятия «центра» и «периферии» должны рассматриваться лишь как относительные<sup>50</sup>.

Иная картина возникает в работах Якобсона по геоллингвистике: для него эта оппозиция *абсолютна*, т. к. он допускает существование языков, которые *сами по себе* являются центральными или же периферийными.

Один и тот же язык может одновременно принадлежать нескольким фонологическим союзам, которые не перекрывают друг друга, точно так же, как один и тот же говор может сочетать особенности, связывающие его с разными наречиями. Так, если ядро указанного языкового союза<sup>51–52</sup> имеет в своем со-

---

<sup>50</sup> Об этом споре см.: Ивич 1970, 95.

<sup>51</sup> Здесь Якобсон использует для выражения «языковой союз» французское «association de langues».

<sup>52</sup> Речь идет о союзе евразийских языков.



ставе лишь монотонические языки (лишенные политонии), то восточная (японский, дунганский диалект китайского) и западная (литовские и латышские говоры, эстонский) периферии относятся к двум обширным союзам политонических языков (то есть языков, способных различать значения слов с помощью двух противоположных интонаций) (Якобсон 1938 (1985), 101).

Языкам Евразии решительно чужда политония во всех ее видах. Евразия оказывается с двух сторон симметрически окаймлена политоническими языковыми союзами: с северо-запада — балтийским, с юго-востока — тихоокеанским. Это новый пример симметрической структуры западного и восточного краев континента, на которую обратил внимание Савицкий (Якобсон, 1931a [SW-I, 159]).

В свою очередь периферия имеет особые свойства: именно здесь признаки системы предстают в усложненном и «усугубленном» виде.

Горная область, окаймляющая с юго-востока беломорско-кавказскую равнину, занята главным образом языками группы горской или северо-кавказской. Фонологическая особенность языков Евразии здесь налицо: тембровые различия согласных играют в этих языках существенную роль. Но — типичное периферийное явление! — эти различия отчасти видоизменены, отчасти усугублены (Якобсон 1931a [SW-I, 180]).

Однако нелегко выяснить, где же собственно находится окраина, периферия: на *границе* (Кавказ), или просто *вовне* (языки Европы как типично периферийные):

Сопоставление рассмотренных выше фонологических явлений с морфологическими наблюдениями Трубецкого позволяет формулировать следующие положения: 1) в пределах основного материка Старого Света существуют, с одной стороны, специфические центровые, с другой — специфические периферийные явления; 2) всем языкам Евразии свойственны центровые явления (тембровые различия согласных, монотония, формы склонения); 3) центровые явления неизвестны никаким внеевразийским языкам, кроме промежуточной, соседящей с Евразией языковой полосы; 4) периферийные явления особенно резко характеризуют всю зону романо-германской Европы и весь юг и юго-восток Азии (Якобсон 1931a [SW-I, 196]).

Если романо-германские языки — это «периферия», то они, разумеется, должны быть организованы относительно центра — Евразии; если же периферия может находиться как внутри, так и вне целостности, то значит, и сама эта целостность не столь уж замкнута и обособлена. Евразия как «Срединный мир» *связана* с перифериями — Европой и Азией. По своей географической структуре (полуострова и глубокие заливы) обе эти периферии представляют собой мысы или выступы:

они не самостоятельны, не построены по своей собственной логике, но *соотнесены* с центром. Якобсон и Савицкий сместили центр мира к востоку, но при этом не избавились от вопроса об отношении России к Западу.

Фактически, желая доказать сразу слишком многое, русские пражане запутались в сети неразрешимых противоречий. Их абсолютные понятия постоянно скользят в сторону относительных понятий. Периферия иногда оказывается зависимой от центра, причем сама эта зависимость определяется отрицательно, как отсутствие признака (фонологического признака мягкостности) или как его упрощение (уменьшение числа растительных зон); однако иногда она выступает как укрепленная окраина (например, в кавказских языках тембровые различия либо усугублены, либо изменены) или просто как нечто совершенно чуждое (Европа и Азия).

Что же касается территории, занятой той или иной фонологической зоной, то исторически она не остается неизменной: она может расширяться или, напротив, сужаться по мере того, как центральные и периферийные языки могут меняться местами, могут приобретать (или терять) мягкостную корреляцию. С точки зрения языкового контакта *сужение* той или иной зоны остается необъяснимым. В этом подходе есть нечто глубинно органическое, а не диффузионистское:

Система тембрового различения согласных исчезла на юго-западных рубежах славянского мира (...). Это сужение фонологической зоны мягкостности согласных сопровождалось другим явлением как своеобразной реакцией на первое: западные аванпосты, равно как и восточные аванпосты языкового мира, усилили роль оппозиции систем твердых и мягких согласных, а в течение первых веков нашего тысячелетия ввели, на месте системы мягкостности слогов, систему мягкостности отдельно взятых согласных (Якобсон 1931в, 377—378).

Помимо военно-стратегической метафоры *аванпостов*<sup>53</sup>, пространственное видение Якобсона никак не связано с социальной проблематикой приграничного двуязычия; речь идет скорее о некоей геобиологии, в рамках которой языки как одушевленные субъекты<sup>54</sup> «реагируют»,

<sup>53</sup> Отметим, что понятие «языкового союза» само есть военно-дипломатическая или государственная метафора: *языковой союз* построен по той же модели, что и *Советский Союз*.

<sup>54</sup> В этой связи полезно заново перечитать тот отрывок из «Курса общей лингвистики» Соссюра, где речь идет о младограмматиках: «Новая школа, стремясь более точно отражать действительность, объявила войну терминологии компаративистов, в частности ее нелогичным метафорам. Теперь уже нельзя сказать:

«усиливают роль» оппозиции, «вводят» систему мягкости. Это — мир языков без говорящих<sup>55</sup>.

### *Периодическая система*

Последний естественный критерий «системы», выделенный Савицким (мы не находим его ни у Трубецкого, ни у Якобсона), это *периодичность* распределения признаков разных зон. Эта мысль была у Савицкого одной из самых устойчивых. Мы находим ее и в его стихах, которые, наверное, не являются бессмертным художественным достижением, но особенно ярко обнажают его мировоззрение, его систему ценностей:

#### **Число и мера<sup>56</sup>**

Чем глубже разум проникал  
В обетованные пределы,  
Тем вдохновенней постигал  
Священный дух числа и меры.

Число и мера! Тайный смысл  
В них бездны звездной мироздания,  
И устремляющая мысль.  
И волею указанье.

Ведь в ритмах стройных и простых  
Живет и движется природа.  
Растут, мужают, крепнут в них  
И государства и народы.

---

„язык делает то-то и то-то“ или говорить о „жизни языка“ и т. п., ибо язык не есть некая сущность, имеющая самостоятельное бытие, он существует лишь в говорящих» (Соссюр 1977, 42).

<sup>55</sup> У Доза, например, «морфологические потрясения» возникают вследствие браков между жителями деревень с разными диалектами (Доза 1922, 98). У Якобсона — перемещаются не говорящие люди, а сами языки.

<sup>56</sup> Савицкий б/г, цит. по: Гумилев 1993, 22. Савицкий безусловно вдохновлялся «Книгой мудрости» (XI, 20): «Ты все упорядочил числом, весом и мерой (numero, pondere et mensura)». Эта строка стала предметом бесчисленных комментариев у Отцов Церкви и в средние века. Например: „Можно сказать, что элементы были расположены Богом в удивительном порядке, потому что Бог сотворил все вещи сообразно числу, весу и мере. Число связано с арифметикой, вес — с музыкой, а мера — с геометрией“» (Николай Кузанский. Об ученом невежестве (De Docta Ignorantia), кн. II, гл. 13).

Периодический закон.  
Животворящая идея.  
Следим за бегом мерных волн,  
Пред тайною благоговяя.

Для Савицкого Евразия — это «мир периодической системы зон»<sup>57</sup>. В самом деле, *ритмическая* структура, или «периодическая система зон Евразии»<sup>58</sup>, возникает именно потому, что порядок смены зон устойчив и закономерен. Этот постоянный интерес к периодической системе, конечно, вдохновлен таблицей Менделеева, которая заворожила Трубецкого и Якобсона и подтолкнула их к поиску фонологических универсалий<sup>59</sup>.

В ней [в России-Евразии] почвенно-растительные явления увязываются с климатическими — с такой определенностью и точностью, которая пока что неизвестна в других географических мирах. Эта связь, в условиях Евразии, не только отвлеченно предполагается, но численно выражается, и притом в периодической ритмике. Явления исторические, экономические, археологические, лингвистические необходимо приобщить к названной системе и ритмике. Это — шаг к установлению периодической системы сущего. И делается он не в порядке предположений об одностороннем влиянии географии на указанные разряды явлений, но в процессе изучения сопрягающих эти явления взаимодействий и описания тех случаев активного выбора месторазвития социальной средой, которые мы встречаем в истории (в особенности показательные в этом отношении процессы колонизации) (Логовиков 1931а, 57).

Если Савицкий ищет и находит периодичность в евразийском пространстве, то евразийский историк Г. Вернадский обнаруживает ее во времени: последовательность исторических эпох ритмически законосообразна<sup>60</sup>.

Как мы увидим в следующей главе, понятие соответствия найдет свое применение в *синтетической науке*.

<sup>57</sup> Савицкий 1934, 17.

<sup>58</sup> Там же.

<sup>59</sup> Савицкий ссылается и на Менделеева — географа, исследователя зауральской России. В 1906 году Менделеев опубликовал исследование по экономической географии России.

<sup>60</sup> Это и позволяет историку и географу Льву Гумилеву (1912—1992) говорить о «ритмах Евразии». Гумилев, сын поэта Н. Гумилева и Анны Ахматовой, стремился в 1960—80-е годы развить в СССР «неоевразийство». Сам он называл себя «последним из евразийцев»; ср. его введение в сборник евразийских культурологических текстов Трубецкого (Трубецкой 1995).

## **Часть четвертая**

### ***Наука***



## Г л а в а I X

### Персонология и синтез наук

*...структура: это слово некогда вызывало скрежет зубовный — в нем видели вершину абстракции.*

Р. Барт.

Фрагменты писем влюбленного

Евразийцы предлагают, или провозглашают, новый способ постижения мира, поделенного на отдельные вселенные, его понимания «единым познавательным актом»<sup>1</sup>. Их программа предполагала построение *новой* «синтетической» науки, наивысшим выражением которой стала *персонология* Трубецкого.

#### Синтетическая наука

*Два мира — две науки*

Подобно тому, как русские биологи-географы (Л. Берг) противопоставляли дарвинизму (теории дивергенции и случайной эволюции) теорию эволюции как «развития зародышевых тенденций» и конвергенции, Трубецкой усматривал в «романо-германской науке» позитивизм и идею прогресса, которым он противопоставлял более сложный *целостный* подход, порожденный «евразийским» образом мысли<sup>2</sup> с характерными для него понятиями самобытности и особой логики отдельных систем<sup>3</sup>. Именно с этим различием эпистемологических ми-

---

<sup>1</sup> Логовиков 1931а, 53.

<sup>2</sup> Трубецкой, письмо от 22 декабря 1926 года: Трубецкой 1985, 96—97.

<sup>3</sup> В Праге в то же самое время В. Матезиус тоже говорит о «национальной науке», о «чешской науке». Однако он всегда имеет в виду «науку в Чехословакии», сожалея о том, что в Чехословакии проводится мало исследований, что по-чешски

ров Трубецкой связывает, например, «анархию французской лингвистики»<sup>4</sup>, или «известное отталкивание французов от тех форм евразийско-придунайской культуры, в которых находит свое выражение современная фонология»<sup>5</sup>. Его научная программа — это одновременно и программа борьбы:

Нужно полностью избавиться от способа мысли, характерного для романо-германской науки (Трубецкой 1920, 15).

Он описывает этот «способ мысли» как рационалистическую, аналитическую и утилитарную науку<sup>6</sup>.

Якобсон тоже нередко провозглашал самобытность «русской науки». Так, по поводу «туранской психологии» он писал:

Трубецкой понимал, что этот дух системы и целого, характерный для самых первых завоеваний русской науки, был важен и для его собственных творений (Якобсон 1939 [1973, 298]).

В «Замечаниях...» 1929 года он сопоставляет сосюрвовское учение о диахронии с «европейской идеологией, господствовавшей во второй половине XIX века», для которой характерен образ «механического накопления, обусловленного случайностью и разнородными факторами»<sup>7</sup>. В том же тексте он говорит о «русской лингвистической традиции»<sup>8</sup>, о русской биологии и географии<sup>9</sup> как областях знания, для которых характерен отказ от причинного объяснения и поиск внутренних законов развития. В том же 1929 году он также пишет о том, что «категория механистической причинности для русской науки чужеродна»<sup>10</sup>.

---

выходит мало публикаций. При этом у него совершенно отсутствует этнопсихологический подход (ср. Матезиус 1925).

<sup>4</sup> Трубецкой, письмо от 16 апреля 1929 года: Трубецкой 1985, 121 — по поводу сборника: Мейе, Коэн 1924.

<sup>5</sup> Трубецкой, письмо, датированное маем 1934 года: Трубецкой 1985, 300. Любопытно, что Ж.-К. Мильнер, признавая самобытность «русской университетской традиции», объясняет ее не «культурным миром» или «ментальностью», а исторической причинностью (Мильнер 1982, 334—335).

<sup>6</sup> Трубецкой 1923а, 114—115.

<sup>7</sup> Якобсон 1929а [SW-I, 110].

<sup>8</sup> Там же, 7.

<sup>9</sup> Там же, 110.

<sup>10</sup> Якобсон 1929б (1999), 24.



Тем более любопытно вспомнить, что некролог Трубецкому, написанный Якобсоном, был переиздан в 1966 году в сборнике Т. А. Себеока (Себеок 1966) с подзаголовком «биографические источники западной лингвистики», хотя в этой статье речь идет главным образом о евразийстве.

Однако ученый — это еще и человек. Начиная с 1930 года Трубецкой был полон сомнений не только по поводу своей политической и идеологической роли в евразийском движении, но — что для нас еще важнее — по поводу самой возможности «русской», или «евразийской», науки. Он поделился своими сомнениями с Савицким в письме, которое было опубликовано лишь в 1995 году: он много колебался по поводу своего научного выбора, уже начавшего его разочаровывать. Однако в его последующих сочинениях от этих сомнений не осталось и следа.

Мы — представители европейско-русской культуры. Культура эта в настоящее время умирает и в СССР заменяется новой, м. б. тоже русской, но во всяком случае не европейско-русской. Примкнуть к этой новой культуре мы не можем, не перестав быть самими собой. Работать на старую культуру — нецелесообразно, т. к. те масштабы, к которым стремимся мы, совершенно не соответствуют современному масштабу этой умирающей культуры. Что же делать? — Думаю, что не остается ничего другого, как выйти за пределы национально ограниченной европейско-русской культуры и (*horribile dictu!*) работать на культуру общеевропейскую, притязающую на звание общечеловеческой. Другого ничего не остается. Разумеется, нельзя при этом забывать ограниченности самой общечеловеческой культуры, нельзя заставить себя приобщаться к тем ее сторонам, которые нам, русским, органически чужды; но в области интеллектуальной культуры, в частности науки, никаких непреодолимых преград между нами и европейцами нет, и в этой области мы просто и должны влиться в ряды европейских ученых. Писать по-русски для тех русских ученых, которые съезжаются на «съезды зарубежных русских ученых» еще менее целесообразно, чем писать по-словенски или по-латышски; в Россию наши русские писания, если и проникают, являются запретными и не могут свободно цитироваться, в то время как иностранные писания тех же авторов, напечатанные в иностранных научных журналах, имеют свободное хождение в России и кроме того сразу известны во всем европеизованном мире. Я по опыту знаю, насколько такое расширение аудитории повышает качество производства и чувство культурной ответственности. Я бы никогда не позволил себе писать по-немецки или по-французски о чем-нибудь, чего не знаю или в чем не вполне уверен, — ибо сознаю, что среди тех сотен специалистов, которые меня прочтут, неизменно найдутся такие, которые меня изобличат печатно. А по-русски мне

не раз случалось писать безответственные вещи, притом по вопросам, в которых я вовсе не компетентен: говорить себе «ничего, сойдет!» Да в сущности, как посмотришь теперь на свое писательское прошлое, то пожалуй приходится пожалеть не того, что были написаны такие дилетантские произведения, а того, что наряду с ними были написаны по-русски и вещи ценные. Вот, например, моя брошюра «К проблеме русского самопознания»: книжка недурная, о ней лестно отозвался Meillet, многим иностранным лингвистам и ориенталистам, знающим русский язык, хотелось бы ее прочесть (еще недавно Теньер письменно спрашивал меня, где ее можно достать),— а между тем она «распродана», т. е. зря разбазарена, выброшена, разошлась по таким рукам, которые ее никак оценить не могут, да и если оценят, не смогут творчески использовать... Если бы она была написана по-немецки или по-французски, она бы принесла настоящую пользу... Итак, вот те соображения, которые побуждают меня сосредоточиться на своей специальности и писать не по-русски, а на иностранных языках (Трубецкой, письмо Савицкому от 10 декабря 1930 года, см.: Казнина 1995, 93).

#### *Новой идеологии — новую науку*

С точки зрения евразийцев, идеология идет впереди, а наука следует за ней: науку подталкивают вперед не открытия новых фактов, а новый взгляд на старые факты. Евразийцы верят в возможность *единого знания* в рамках единой идеологии.

Таким образом, приходится усомниться в словах Ж.-К. Парианта<sup>11</sup>, который в своем введении в сборник статей, где есть и текст Трубецкого, утверждает, что «главное убеждение, объединяющее всех трех авторов,—отрицательного свойства: это автономия науки о языке и, стало быть, несводимость ее предмета к какой-либо внешней инстанции (...) Познание языковых фактов не следует искать вне этих фактов: постепенно лишаются всякой объяснительной ценности раса, естественное звучание, а на уровне индивида—физиологические или психологические данные». Как мы видим, все эти утверждения опровергаются текстами Трубецкого и других пражских русских.

В самом деле, в эти годы для Трубецкого, как и для Якобсона, наука о языке не является (и не должна быть) независимой от других наук о человеке, будь то психология народов, география, история, культурология и проч. П. Савицкий добавлял к этому и другую часть об-

---

<sup>11</sup> Париант 1969, 13.

ществоведения (экономика), а также прикладные науки (например, климатология, почвоведение и др.).

Тем самым евразийство как научная дисциплина предполагает изучение совокупности характеристик (материальных и духовных) Евразии — такого предмета, который считается существующим до всякого исследования. Евразийцам чужда мысль о том, что «точка зрения создает объект», им чужда фальсификационистская эпистемология попперовского типа: главная предпосылка в том, что Евразия просто *существует*. Исследователю, таким образом, не нужно биться над доказательством ее существования, ему нужно лишь всеми возможными средствами подтверждать заранее заданный тезис о существовании этой гармонической и органической целостности.

Конечно, эта евразийская наука, собранная воедино, действительно определяется Евразией как своим предметом. Однако это не предмет науки, но объект дискурса, представленный как вещь в мире: его существование, которое евразийцы хотели бы доказать, заведомо считается отнологически предсуществующим любому исследованию.

Предлагая «разработать целостную систему на основе этой идеи»<sup>12</sup>, Трубецкой строит продуманную программу такого исследования в работе «Общевразийский национализм» (1927):

Для того чтобы общевразийский национализм мог успешно выполнить свою роль фактора, объединяющего евразийское государство, необходимо соответственно перевоспитать самосознание народов Евразии. Конечно, можно сказать, что таким перевоспитанием занимается уже сама жизнь. Уже один тот факт, что все евразийские народы (и кроме того — ни один другой народ в мире) вот уже столько лет совместно переживают и изживают коммунистический режим, — уже один этот факт создает между всеми этими народами тысячу новых психологических и культурно-исторических связей и заставляет их всех ясно и реально ощущать общность их исторических судеб. Но этого, конечно, мало. Необходимо, чтобы те отдельные люди, которые уже сейчас ясно и ярко сознали единство многонародной евразийской нации, проповедовали это свое убеждение, — каждый в той евразийской нации, в которой он работает. Здесь — непочатый край работы для философов, публицистов, поэтов, писателей, художников, музыкантов и для ученых самых различных специальностей. С точки зрения единства многонародной евразийской нации надо пересмотреть целый ряд наук и построить новые научные системы в замену старых, обветшавших. В частности, с этой точки зрения совершенно по-новому приходится

---

<sup>12</sup> Трубецкой 1920, VI.

строить историю народов Евразии, в том числе и русского народа... (Трубецкой 1927а, 30).

Подобно своим далеким предшественникам, разрабатывавшим философию природы, Трубецкой стремится, таким образом, построить *целостную науку* на основе «персонологии» как объединяющего принципа всякого познания. «Насущной задачей» становится эмпирическое подтверждение евразийской симфонической теории.

### *Наука аналитическая и наука синтетическая*

Евразийцы выступали за совершенно «самобытную», передовую «научную систему» — «синтетическую» науку. Они не были противниками аналитического подхода (характерного для философии Просвещения и заключавшегося в предварительном вычленении элементов и лишь затем — в их перегруппировке), однако они предлагали начать с «имманентного» изучения каждого ряда явлений и видели своеобразие своей науки в «методе увязки». Они не проповедовали интуитивизма или отказа от анализа, у них было мало общего с натурфилософским мистицизмом, однако они всячески подчеркивали роль *синтеза* как *высшего этапа* научного познания. Нижеследующий текст ясно показывает это новое научное умонастроение:

Чтобы наново жить и что-нибудь понимать в новой жизни, нужно переучиваться и прежде всего непредвзято, критически отнестись к обветшавшей традиции (...) Конечно, вздор, будто есть какая-то общая наука, которую надо заменить пролетарской, вздор не только потому, что нет ни малейших признаков появления «пролетарской», но и потому, что все выдающее себя за такую оказывается не чем иным, как плохо и наивно усвоенными элементами прежней. Но прежняя-то несомненно переживает кризис. Этот кризис науки и научного мирозерцания, прикрытый ныне действительно блестящими успехами техники, начался уже давно — вместе с упадком великих философских систем XIX века, с «убыванием души» европейской культуры. Заключается он в исчезновении органически синтетических идей, в замене органического единства внешним и механическим, что и сказывается, с одной стороны, в скептическом релятивизме и специализации, с другой — в безнадежных попытках объяснить все явления по типу механических связей и материального бытия. Весьма естественно и понятно, что в то самое время, как само научное мировоззрение начинает уже превозмогать наивный материализм (...) популярная литература с особым увлечением выдает за науку все уже обличенное в ненаучности, в частности — «материализм, дарвинизм, социализм» (Евразийство 1926, 355).

Изучая тексты и научные манифесты евразийских мыслителей, проследившая их связь с историей структурализма, мы неизбежно приходим к мысли, что *структурой* они фактически называли то, что по сути было синонимом *синтеза*:

Для ученых, принимающих участие в евразийском движении, главным предметом описательного исследования является та многонародная личность, которую в совокупности с ее физическим окружением (территорией) евразийцы называют «Евразией». Изучение этой личности должно вестись указанным выше способом, т. е. так, чтобы эта личность стояла в центре внимания каждого ученого специалиста, занятого исследованиями определенной части или стороны этой личности, и чтобы работы всех специалистов координировались друг с другом. Здесь нужна, следовательно, определенная организация совместной работы специалистов по самым разнообразным отраслям знания, причем целью этой работы является известный научный и философский синтез, который, оформляясь во время самой научной работы и благодаря этой работе, в то же время сам определяет собой не только смысл, но и направление как всей совместной работы в целом, так и каждого отдельного специального исследования (Трубецкой 1927г, 6).

Нижеследующий текст Савицкого (под псевдонимом «Логовиков») — удивительный пример этого типа мысли; уже один этот текст оправдывает то внимание, которое мы уделяем Савицкому в общей картине возникновения структуралистских идей у «русских пражан»:

Сопоставление данных общей и экономической географии с данными истории хозяйственного быта, этнографии, археологии, лингвистики еще почти не начато, — между тем оно может дать совершенно неизвестный доселе синтетический образ России-Евразии, как в отдельных ее районах, так и в ее целом. Здесь должна быть найдена установка, которая охватит разнообразнейшие явления с точки зрения одной закономерности, поможет многое свести к немногому (...) Наряду с геополитическим, можно и должно создать геоэкономическое, геоэтнографическое, геoarхеологическое, геолингвистическое учение о России-Евразии. И все их можно и должно свести в единую «картину-систему». Это — одна из сторон того историко-географического синтеза, к которому призвано наше время.

Организованное, «плановое» соединение труда представителей самых различных специальностей в работе над одним и тем же предметом становится характерной чертой научной жизни нашего времени. Такое соединение евразийцы реализуют в собственной своей научной практике. Каждое евразийское издание есть результат сотрудничества представителей различных отраслей в разрешении той или иной проблемы (...) Едва ли есть в мире другой столь благодарный объект для систематического и синтетического изучения, как географическая и историческая среда особого мира России-Евразии.

(...) Географию и историю мы взяли в качестве примера. В существе вопрос имеет более широкий объем. Каждая отрасль россиеведения может быть помещена в евразийскую плоскость. Отличие евразийского метода в подходе к России заключается в расположении русского материала по каждой отрасли в особую, самостоятельную систему. Таким путем познается *внутренняя структура* явлений и сопрягающее их единство. Но эта *самостоятельная* система не является замкнутой — в том смысле, что она, конечно, доступна воздействиям со стороны других систем, и сама на них влияет. — Здесь пролегает тот путь, которым евразийцы от россиеведения идут к мироведению. Каждый феномен, в пределах России-Евразии, должен быть включен в общую систему евразийских явлений. Но нельзя ограничиться и этим. Русская наука должна обрести всемирные горизонты. Совокупность евразийских явлений находится в таком же отношении к мировой целому, как отдельное евразийское явление — к целому Евразии (Логовиков 1931а, 56—59, курсив автора).

Лейтмотив евразийской эпистемологии таков: синтетическая целостность заложена в самих фактах, а не в методе познания, который лишь повторяет, удваивает ее:

Не евразийцы, но внутренняя логика русского развития выдвинула теорию России-Евразии как особого географического мира (...) Не мы, но логика русского научного развития ведет к тому, чтобы схвачено было единой синтетической формулой пространство русского мира, чтобы в обобщающем опыте восприняты были как бы единым познавательным актом покрытые ледниками побережья Новой Земли и нагорья Тибета, буковые леса Подолья — и хребты у Великой китайской стены (Логовиков 1931а, 53).

Другие элементы эпистемологического сопоставления двух «миров» — Европы и Евразии — мы находим во «Введении к истории древнерусской литературы» Трубецкого<sup>13</sup>, где он подчеркивает различие между культурами «аналитического» и «синтетического» типа: для одних главное — независимость различных областей культуры (это Европа), а для других — постоянное взаимодействие и взаимопроникновение этих областей (идеализированные примеры последнего — византийская цивилизация и Московская Русь).

Современная европейская цивилизация отличается независимостью различных аспектов и ветвей, взятых по отдельности. Религия, этика, право, наука, философия и искусство — все эти области тяготеют к полной взаимонезависимости. Каждая из этих частей ведет свое независимое существование и развивается вне какой-либо связи с другими частями той же цивилизации. Тем самым возникают такие образования, как чистое искусство, чистая наука, чис-

<sup>13</sup> Трубецкой 1973.

тая философия — совершенно независимые друг от друга. Право, этика и религия, тоже друг с другом не связанные, предстают как бесспорно независимые от искусства, философии и науки. Этот отрыв отдельных частей культуры от их целостного контекста глубоко укоренен в самой природе современной европейской цивилизации (...) [Однако] эта особенность отличает лишь современную европейскую цивилизацию пяти последних веков. Все другие крупные мировые цивилизации были построены совершенно иначе и оставались таковыми, если только они не попадали под влияние европейской культуры. Каждая из этих цивилизаций была единым целым, гармонической системой, в которой все ее составные части поддерживали и изменяли друг друга, в которой все они переплетались и были взаимозависимыми (...) В Византии философия и религия неразрывно взаимосвязаны (...) Естественные науки, география и астрономия были включены в общую систему философии и тщательно увязаны с религиозным духом и религиозной догматикой (...) Все области знания, науки о природе, науки о человеке рассматривались не только как средства расширения духовного горизонта, но и как моральные наставления — в духе присущих ей религии и религиозной философии. Тем самым все ветви познания и мышления образовывали однородное целое, гармоническую систему (Трубецкой 1973, 8—9).

Итак, если эта новая, географически своеобразная наука и дает нечто эпистемологически новое, как считают Якобсон и Трубецкой, оно оказывается глубоко укорененным в эпистеме немецкой натурфилософии первой трети XIX века, провозглашавшей синтез и органицизм за счет анализа и механицизма. Напомним, что Гёте, увлеченный биологией как формой мысли, видел устойчивую цель в том, чтобы

подавить всякое расчленение, не рассматривать отдельное по отдельности, но объять целостность в единстве ее происхождения и ее понятия (Гёте 1806 [1973, 80]).

Русский культурный мир, в отличие от французского, никогда не порывал своей непосредственной связи с натурфилософией — особенностью немецкой культуры, которая во Франции вскоре потеряла вес и пришла в упадок под влиянием позитивизма.

Примером здесь может быть мысль о первенстве синтетической науки перед аналитической как одна из главных тем натурфилософии — того мощного течения мысли, для которого успех научного исследования всегда заключался в показе *единства и целостности* описываемых феноменов<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Ср. греческую формулу, ставшую знаменитой благодаря Лессингу: «Единое и Целое» (ἐν καὶ πᾶν).

Русист изучал русский язык только в контексте славянских языков, но отнюдь не в контексте языков России. Оставались в тени проблемы конвергентного развития и многообразного взаимодействия языков России, т. е. именно круг вопросов, который призван ввести языковедение в круг синтетических руссиеведческих дисциплин (Якобсон 1931a [SW-I, 148]).

Натурфилософия — это такое понимание вселенной в ее целостности, которое отвергает раздробленность знания, свойственную эмпиризму Просвещенческой эпохи. Ее онтологическая ориентация не подстраивается под механистическую эволюцию, навязавшую расчленение и раздробление знания. В качестве реакции против аналитического духа XVIII века натурфилософы стремятся восстановить потерянное единство, вновь обрести целостное миропонимание (в 1920-е годы XX века говорили о «холизме»).

Отметим, наконец, что именно на основе натурфилософии сложились главные холистские темы, имеющие отношение к изучению органических целостностей. Здесь мы находим критику механико-аналитического метода, свойственного физико-химическим наукам: этот метод стал неадекватен в применении к таким целостностям, как биологические организмы. И эта критика подводит к мысли о том, что целостность есть нечто большее, чем сумма ее частей (классический пример: мелодия не сводится к сумме составляющих ее звуков).

Постараемся учесть все тонкости этого вопроса и избежать поспешных аналогий. Ни Якобсон, ни Трубецкой не были натурфилософами. Более того, нужно учесть и эволюцию их взглядов. В период кризиса евразийства в 1930 году Трубецкой — в уже упоминавшемся письме Савицкому — с удивительной прозорливостью выражает свои сомнения насчет самой возможности синтетической науки:

К целому ряду вопросов, к которым я прежде подходил с самоуверенной определенностью, я теперь подхожу с холодным скептицизмом. Один из вопросов, в котором мой «зрелый возраст» наиболее сказывается, это вопрос о специализации научных знаний. В прежнее время я брался говорить о чем угодно. Это было «принято» в евразийской среде (о чем только ни брался рассуждать любой из нас!). Теперь, пересматривая свои и наши прежние писания, я многое воспринимаю как ребяческую отсебятину. Это относится ко всем моим богословским писаниям (например, «Соблазны единения» или письмо к Булгакову), но также и к писаниям историческим и государственноведческим, как печатным, так и непечатанным. Теперь мне просто дико все это читать, ибо я научился ценить настоящую специализацию. Я вижу, что в области сво-



ей специальности я не сделал многого, что мог бы сделать (причем теперь этого уже не вернешь), и мне обидно сознавать, что я столько времени потерял на совершенно посторонние дела и чуждые мне научные темы, где не мог дать ничего действительно ценного. Молодости свойственно разбрасываться и не экономить своих сил. Зрелость непременно влечет за собой самоограничение, сопряженное с интенсивным сосредоточением. Но это относится не только к выбору тем, но и к способу разработки каждой отдельной темы. Широкие и большей частью поспешные обобщения, столь характерные для евразийства и, в частности, для моих евразийских писаний, в настоящее время мне претят. Я научился ценить «солидность», полюбил её. Или лучше сказать, научился видеть шаткость и иллюзорность широких обобщений. Прочность конструкции для меня важнее ее грандиозности. Это тоже симптом иного душевного возраста, чем тот, в котором жило и который хотело навсегда удержать и сохранить за собой евразийство (Трубецкой, письмо Савицкому от 10 декабря 1930 года, см.: Казнина 1995, 92).

Лишь один Савицкий неизменно оставался приверженцем синтетической науки. В своем письме Якобсону от 7 августа 1930 года он по-прежнему говорит о россиеведении<sup>15</sup> как о *самозаконной системе*. Для него

необходим синтез. Необходимо уметь сразу смотреть на социально-историческую среду и на занятую ею территорию (Савицкий 1927а, 29—30).

По сути, получается, что если Евразия существует и при этом является органической целостностью, значит, она может определяться и изучаться лишь *синтетическим, а не структуральным методом*. Для Якобсона и Трубецкого, в отличие от Соссюра, важна не столько дедуктивизация собственного предмета лингвистики, сколько гармонический аспект целостности. Их забота, само средоточие их интереса отличаются от соссюровских и притом непосредственно воздействуют на их способ работы с объектом: там, где Соссюр разделяет, Якобсон соединяет. В 20-е и 30-е годы существовали два различных подхода к предмету лингвистики, два типа дискурса, в которых речь ведут о разном, строят разные объекты, ищут и, стало быть, находят совершенно разные вещи. Однако при этом используют почти одни и те же слова (*система, структура, целое*), и потому велик риск всяческих недоразумений. Стало быть, понять эти неявные эпистемологические

---

<sup>15</sup> Якобсон переводит этот термин на немецкий язык как *Russlandkunde* (Якобсон 1929б).

основания евразийских рассуждений можно, только внимательно читая современные евразийцам тексты общего характера:

Н. С. Трубецкой утвердил идеократию, как особую форму отбора правящего слоя, как феномен правящего слоя. Как феномен сущего, эта форма есть отражение более широкого порядка явлений. В политической области люди, сознательным усилием, достигают того, что в качестве устойчивого порядка господствует в мире истории и природы. Периодическая система сущего восходит к системе организационных идей. И ее периодичность определяется ритмикой в сочетании организуемых элементов. Это одинаково относится к «периодической системе химических элементов», в том виде как ее раскрывает современная физическая химия, к «периодической системе зон», в ее климатической стороне, к той «периодической системе», к которой тяготеет современная биология. Рассматривая на тех же основаниях ряд социально-экономических формаций, можно построить, путем сочетания важнейших производственных элементов, своеобразную «периодическую систему» общественных укладов.— Установление организационных идей, лежащих в основе сущего, в высокой мере способствует упорядоченности и стройности нашего познания. Можно сказать даже, что путь к высшим формам познания пролегает именно и только через установление системы организационных идей, действующих в каждой отрасли явлений. Устанавливая эти системы и сопоставляя их, евразийство стремится к нахождению единой философии сущего (Логовиков 19316, 134).

Цель синтетической науки — найти такую точку зрения на другие точки зрения, откуда можно было бы увидеть одновременно и Евразию, и мир в целом, постичь Единое за Многим — не забывая, что Единое *состоит* из многого, из различных множеств.

#### *Педагогика взгляда*

В евразийской географии, как и в любом другом ответвлении евразийской науки, каждая часть выражает нечто большее, чем она сама, отсылает к объемлющей ее целостности. Работа исследователя заключается в том, чтобы постичь идеальную форму целостности через ее несовершенное воплощение в отдельных частях. Это напоминает эстетический идеал неоплатонизма — учения, которое наделяет художника даром восприятия сущностной формы через материальную оболочку и ставит перед ним задачу приблизиться к форме Идеи путем изучения геометрических отношений.

Нужно стремиться к тому, чтобы каждое географическое описание, сколь бы частичным оно ни являлось, давало возможность — как сквозь «магический

кристалл» — видеть пространство во все стороны от описываемого участка, чтобы каждое такое описание вводило конкретное и детальное в совокупность явлений. «Периодическая и в то же время симметрическая система зон России-Евразии» (...) открывает для того широчайшие возможности. Ибо каждое из этих понятий именно и определяет часть в ее отношении к целому (Логовиков 1931а, 53—54).

Научная деятельность таким образом похожа на откровение, обнаружение того, что само называет себя взгляду. При взгляде на карту пелена спадает с глаз тех, кто хочет научиться *видеть иначе*:

Ваши данные открывают глазу новую и богатую отрасль жизни. Если бы Вы могли представить, с какой четкостью каждая сообщаемая Вами черточка ложится на известный мне географический и исторический фон. Какая прелесть, с этой точки зрения, например, колымский говор! (Савицкий, письмо Якобсону от 9 мая 1930 года (Архивы МГУ) в: Томан 1994, 134).

Необходимость различать в основном массиве земель Старого Света не два, как делалось доселе, но три материка, не есть какое-либо «открытие» евразийцев; оно вытекает из взглядов, ранее высказывавшихся географами, в особенности русскими (например, проф. В. И. Ламанским в работе 1892 года). Евразийцы обострили формулировку и вновь «увиденному» материка нарекли имя, ранее прилагавшееся иногда ко всему основному массиву Старого Света, к старым «Европе и Азии», в их совокупности (Савицкий 1923а, 165; Архив ЦГАОР, Москва, в: Пономарева 1992, 165).

Но если факты существуют еще до того, как их берутся изучать, если они дожидаются, чтобы их открыли, тогда якобсоновский метод есть не что иное как *педагогика взгляда*, то, что позволяет увидеть — как некое озарение — предметы, по самой природе своей «центральные» или же «периферийные», «окраинные», а кроме того заметить, что отношения между центром и окраиной подчиняются принципу симметрии. Более того, это позволяет и за окраиной узреть своего рода небытие языков, не знающих *ни* мягкостной корреляции, *ни* политонии (это и есть строго отрицательное определение европейских языков).

Цель исследователя в том, чтобы выявить скрытую сущность, обладающую более высоким онтологическим статусом и недоступную ограниченному слепому позитивизму. Научная программа евразийцев заключается в поиске скрытого смысла вещей, чей несовершенный образ только и доступен взору, ослепленному генетистскими и механистическими предрассудками. Отсюда — вся важность *взгляда*, охватывающего целостность фактов, которые в своей единичности или беско-

нечной множественности не имели бы никакого *смысла*. Ведь это — смысл истории, которая осуществляется не только во времени, но и в пространстве. Но постараемся не запутаться: речь здесь идет не столько о географическом детерминизме («русская мысль», «ушибленная ширью» своих «огромных пространств»), сколько о платоновском наследии, в русле которого мы просто не можем не *видеть* более истинные целостности. «Счастье в симметрии», о котором говорил Мильнер (Мильнер 1982) по поводу Якобсона, — это восторг перед симметричностью структуры, просветление ума, прозревающего упорядоченность явлений. Однако эта прозрачность, этот непосредственный доступ к структуре, которую требуется *увидеть*, не обретаются путем выявления фактов. Они уже заложены в глубинах Евразии как объекта: для Савицкого, например, «русский мир обладает предельно прозрачной географической структурой»<sup>16</sup>.

Так и книга Трубецкого «Наследие Чингисхана» открывается темой, которая стала лейтмотивом всего евразийского учения: это «обращение перспективы» или «поворот взгляда». Мыслить иначе — значит уметь открыть глаза, узреть то, что остается скрытым при плохом методе<sup>17</sup>. Так, для Трубецкого

одного взгляда на историческую карту достаточно, чтобы убедиться в том, что почти вся территория современного СССР некогда составляла часть монгольской монархии, основанной великим Чингисханом (Трубецкой 1925а, 4).

У Платона чувственный образ онтологически зависит от модели его умпостижения, что предполагает не сходство, а нехватку. Наличие Формы обеспечивает умпостигаемость вещи, но одновременно предполагает опосредованность взглядом, способным видеть одно в свете другого. Так, быть географом или языковедом, изучать языковые союзы, читать карту, истолковывать ландшафт — все это значит видеть вещи таким взглядом, который выявляет за случайностью множеств

---

<sup>16</sup> См.: Пономарева 1992, 110—118.

<sup>17</sup> Для евразийцев обращение взгляда сопровождается терминологическим переворотом: новый взгляд сопровождается новыми словами. Ср. отрывок из евразийского манифеста 1926 года: «Новая эпоха предполагает и новую установку сознания, видение того, что прежде оставалось в тени, переоценку старого и в связи со всем этим новую терминологию» (Евразийство 1926 [1992, 355]). Савицкий избрал множество новых слов, таких как *месторазвитие*, *евразияция* и др.

единство их сущности. Такой взгляд действует как проявитель в фотографии: он — «проявляет истину». *Существование* Евразии должно само броситься в глаза при одном только взгляде на карту. Однако, несмотря на видимость, дело тут не в простом эмпиризме, для которого важны лишь факты как таковые. Дело в том, чтобы за всей случайностью и распыленностью эмпирических фактов *увидеть* более обширную и объемную реальность, отличную от простой констатации фактов. А для этого нужен метод *увязки*. Для Якобсона, Трубецкого и Савицкого изотермы, изоглоссы, *границы* реально *существуют*. Научное творчество начинается для них в момент установления совпадений или соответствий, *увязывания* фактов между собой. Именно наличие соответствий доказывает для них реальное существование искомого объекта. Это основоположное значение теории соответствий как основы науки о симметриях еще недостаточно изучено в истории структурализма. Теория соответствий — это *целостное и синтетическое мировидение*: кажется, будто можно исчерпать целостность всех возможных точек зрения, помыслить реальный объект, дотянуться до него путем накопления и взаимоналожения различных точек зрения.

### Персонология

Работа Пражского лингвистического кружка нередко определяется в учебниках и энциклопедиях как «первенство порядка означающего», «трактовка языка в терминах чистой комбинаторики». Ни одно из этих определений к обсуждаемым здесь текстам не приложимо.

Соссюр подчинял лингвистику объемлющей ее семиологии, а Трубецкой подчиняет всю свою систему научных дисциплин персонологии, которая призвана их «соотносить»<sup>18</sup>. Так возникает система двух соотнесенных рядов наук, в которой наряду с описательными науками существуют истолковывающие науки: история/историсофия, этнография/этнософия, география/геософия (Там же)<sup>19</sup>. Лишь истолковывающие науки позволяют *понять* изучаемые факты, обнаружить их скрытый смысл, не ограничиваясь описанием явлений. Только на основе

---

<sup>18</sup> Трубецкой 1927г: Введение, 7.

<sup>19</sup> Эти неологизмы безусловно имеют отношение к «антропософии» Рудольфа Штайнера (1861—1925).

всех наук *вместе взятых* может появиться «исчерпывающая теория личности».

Этот синтез наук достигим лишь посредством новой научной дисциплины «персонологии», единственно способной согласовать науки друг с другом. Без нее возможна лишь «энциклопедия» наук, хаотический конгломерат более или менее научных идей. Отсутствие такой «персонологии» — это самый большой недостаток западной мысли (Там же).

### *Философия личности*

Основоположный текст Трубецкого — его Введение в сборнике статей «К проблеме русского самопознания» (Трубецкой 1927г)<sup>20</sup>. Суть главного положения персонологии Трубецкого в том, что человеческое сообщество, как и индивид, должно рассматриваться прежде всего как *личность*, причем между одной и другим существуют лишь различия в степени: в обоих случаях все аспекты личности взаимосвязаны и образуют органическую (в лучшем случае даже гармоническую) целостность:

Между отдельным человеком и органической многолической личностью в этом отношении и принципиальной разницы нет, а есть только разница в степени сложности соответствующих явлений (Трубецкой 1937, 10).

Такое соотнесение индивидуального и коллективного в понятии личности полностью соответствует межвоенному европейскому духу времени и обнаруживает многие сходства (равно как и различия) с такими современными течениями, как французский персонализм Эмманюэля Мунье (1905—1950) и Габриэля Марселя (1889—1973).

Под явным влиянием Бердяева и русского идеализма идеи «коммунитаристского персонализма» проповедовались во Франции журналом «Эспри», основанным Э. Мунье в 1932 году. Осознавая духовный, философский и моральный кризис западного мира, «коммунитаристский персонализм» искал путь к радикальному пересмотру его ценностей и принципов: этот пересмотр должен основываться на критике пошлого буржуазного мира с характерными для него материализмом и одиночеством индивида.

Однако эти темы были в то время распространены по всей Европе. Так, немецкий философ Макс Шелер (1873—1928) признавал ценность

---

<sup>20</sup> Трубецкой 1927г, 3—9.

не только индивидуальных, но и коллективных личностей (*Gesamtpersonen*) — таких как нация, культурная целостность. Как же не увидеть в этом «коллективную личность», «многоличностную личность» Трубецкого?

Трубецкой убежден в том, что зло таится прежде всего в культуре, которая превратила человека в абстрактного индивида, оторванного от сообщества. Он не мыслит личность как юридическую сущность, которую нужно было бы защитить от общества. В противоположность *индивиду*, взятому изолированно, как чистая абстракция, *личность* от рождения вовлечена в сообщество. Следовательно, государство не должно быть абстрактным продуктом, арифметической суммой разрозненных, отделенных друг от друга индивидуальных волей: это союз «симфонических» групп, собранных в высшее единство общей Верой.

Французский персонализм, требуя преобразования личности, побуждает к личностной вовлеченности. Он отвергает детерминизм, но, в отличие от персонологии Трубецкого, сопротивляется растворению личности в философии истории.

«Личность» оказывается важной категорией и в культуррелятивистской американской антропологии. Абрам Кардинер (1891—1981), тоже современник Трубецкого, выдвигает на первый план понятие «базовой личности». Для него индивиды, живущие в обществе и подчиненные одной и той же совокупности институтов, имеют общий тип личности. Понятие базовой личности как раз и должно учесть это воздействие общества на психику. Однако признание детерминизма среды четко отличает Кардинера от Трубецкого: Кардинер отказывается от всякой однозначной детерминации *Я* внешним окружением. А Трубецкой определяет личность как «психофизическую целостность, связанную с физическим окружением»<sup>21</sup>; он стремится исследовать «коллективную личность в ее физическом окружении»<sup>22</sup>, что сближает его с современной ему немецкой антропогеографической школой Ф. Ратцеля, великого борца против эволюционизма.

Таким образом в концепции Трубецкого возникает напряжение между требованием полноты личности и безличностностью философии, обусловленной историко-культурным детерминизмом. Его про-

---

<sup>21</sup> Трубецкой 1927г, 5.

<sup>22</sup> Там же, 6.

грамма сохранения неразложимой самодостаточности каждого сознания подрывается понятиями «уровня» или «сцепления», а также различием индивида и сообщества: самобытность сообщества обеспечивается за счет самобытности индивида. В целом Трубецкой вписывается в характерный для его времени персонализм, однако в итоге он парадоксальным образом сдвигается к полюсу безличного.

Один из источников персонологии Трубецкого — христианские размышления о Троице (триипостасной божественной природе) и о воплощении (о личности, имеющей двоякую природу — божественную и человеческую), особенно важные для православного мира. Отметим, что эта неиндивидуалистическая, «симфоническая» концепция личности не имеет ничего общего, например, с тем основоположным утверждением свободы, которое мы находим у Кьеркегора.

После Второй мировой войны под воздействием систем структуралистского или коллективистского типа персонализм в целом быстро пошел на спад; что же касается философии Трубецкого, то в ней уже содержались зачатки структуралистской и коллективистской мысли.

Наконец, понятие *коллективной личности* прекрасно соответствовало характерной для межвоенного духа времени теме психологии народов. Завороженность идеей подлинного, настоящего народа невольно подталкивала и к проблеме гибридизации, тоже отмеченной духом времени. Трубецкой предлагает здесь сложное и парадоксальное решение: он одновременно признает и конвергенцию генетически не связанных сущностей (такова тема *сродственностей* между евразийскими народами), и полную замкнутость и непроницаемость отдельных сущностей (таковы Европа и Евразия). Все эти этнические сущности имеют свой «национальный характер», «национальную психику».

### *Индивид и коллектив*

Уже в 1927 году<sup>23</sup> Д. Мирский отметил, что антииндивидуализм евразийцев укоренен в их метафизических воззрениях. Они считают человека неразрывно связанным с группой и видят абсолютное зло в «аморфном состоянии» европейского человека как следствии либерального индивидуализма и буржуазной экономики. Если человек неразрывно связан со своей группой, то его личность должна быть *орга-*

<sup>23</sup> Мирский 1927, 316.



*нически* связана, как часть с целым, с высшей «симфонической» личностью, принадлежащей к другому порядку реальности, нежели отдельный человек. Эти коллективные симфонические личности могут быть разного масштаба: самые типичные — племя или нация, самая высокая — Церковь как часть Космоса, совершеннейше образованного божественным Логосом. Помимо Трубецкого, одним из наиболее последовательных евразийских теоретиков идеи симфонической коллективной личности был Л. П. Карсавин (1882—1952). По Карсавину, эта теория близка социализму, однако ее основания совершенно иные. Социализм, по крайней мере исторически, был порождением индивидуализма, который расчленил и иссушил мысль латинского Запада: он исходит из прав индивида как части материальной вселенной. Евразийское учение, напротив, исходит из метафизического факта сущностного единства человека и его группы, из их глубинного единства в Абсолюте, и тем самым приходит к самобытному синтезу гегельянства с неоплатонизмом.

Другой источник евразийского учения, о котором стоит здесь упомянуть, — это романтическая традиция в противоположность философии общественного договора. Романтики всегда были склонны трактовать иррациональные элементы истории — традиции, обычаи, инстинкты, мифы — как воистину положительные и творческие. Индивид погружен в бесконечно превосходящую его совокупность, будучи связан с ней общностью жизни и опыта. Эти бесчисленные связи физического и психического порядка погружают индивида и в прошлое, и в окружающую среду. Евразийцы тем самым подхватывают, прямо об этом не говоря, романтическую концепцию естественной и бессознательной эволюции, противостоящей всем тем произвольным вмешательствам, рациональным и преднамеренным (договоры, политические конституции, уловки дипломатов), которые могли бы нарушить это естественное развитие, эту самобытную историю, навязывая ей извне административный механизм или чуждую ей политическую систему. Речь идет о том, чтобы признать в каждой из этих совокупностей живую индивидуальность, которую можно понять лишь через почву, на которой она произрастала, через кровь, которая течет в ее жилах, через закономерности ее развития.

В 20-е и 30-е годы по всей Европе нарастало разочарование той крайней формой отчуждающего, аморфного индивидуализма, каким была парламентская демократия, не признававшая посредника между отдельным индивидом и абстрактным государством. Европейский ком-

мунизм и в известной мере фашизм ощупью искали более органичный и более слитный тип общества, в котором государство было бы не абстрактным математически исчислимым результатом разрозненных воль отдельных избирателей, но союзом «симфонических» групп, организованных в более высокие единства общей верой.

Интересно сопоставить эту установку на целостность со славянофильским понятием «соборности» у Киреевского и Хомякова (см. гл. II); удивительно, что французские социологи, хорошо знающие культурный мир Индии и положившие в основу своих размышлений на тему Восток—Запад оппозицию между индивидом и сообществом, совершенно не знают Трубецкого и традицию русского славянофильства<sup>24</sup>.

Оппозиция между индивидом и обществом в трактовке Трубецкого могла бы подтолкнуть к пересмотру многих общепринятых идей. Эта мысль о главенстве общества над индивидом не обязательно относится к числу «левых» идей. Французскому читателю конца XX века редко приходится сталкиваться с критикой буржуазного общества, которая велась бы не с социалистических, а с каких-то иных позиций. А если придется столкнуться, то он непременно заметит в этой мысли моменты того *контрреволюционного традиционализма*, который некогда был представлен во Франции именами Ж. де Местра или Л. де Бональда (и затем введен в России Чаадаевым). Эти мыслители, выступавшие против революции, обливали грязью индивидуалистическую антропологию Просвещения. Для них, как отмечает Койре, все ошибки философии Просвещения «проистекают из одной и той же первой и основоположной ошибки — из рассмотрения человека вне общества и до общества (...) Именно общество является первично данным, и вне его человек как таковой вообще невозможен и немыслим»<sup>25</sup>. Об этом мало известном источнике стоит вспомнить при изучении «социологизма» в советском языкознании 20-х и 30-х годов; учитывая его, легче будет объяснить его двусмысленности и его превратности.

#### *Сознание и субъект*

У Трубецкого коллективный субъект не значит бессознательный субъект: скорее это большая группа субъектов, которые мыслят сход-

---

<sup>24</sup> Ср. Дюмон 1985.

<sup>25</sup> Койре 1971, 138.

ным образом и наделены не коллективным бессознательным, а коллективным сознанием:

К концу индоевропейской эпохи, т. е. к тому моменту, когда праславянский диалект обособился в самостоятельный язык, славянам предстояло произвести выбор между направлениями связи с востоком, югом и западом (Трубецкой 1921б, 103).

И нужно, чтобы это сознание своей принадлежности именно к евразийскому братству народов стало для каждого из этих народов сильнее и ярче, чем сознание его принадлежности к какой бы то ни было другой группе народов (Трубецкой 1927а, 29).

Идеал полноты сознания, достижимой целью которого является целостное сознание, по-видимому, оставляет в стороне Фрейда, хотя Фрейд и Трубецкой были современниками и жили в одном городе. У Трубецкого совершенно отсутствует критическое осмысление понятия субъекта (индивидуального или коллективного), и это, конечно, устаревший момент его теории, связанный с эссенциалистским взглядом на «коллективные сущности»:

Если только рассматривать народ как психологическое целое, как известную коллективную личность, надо признать для него возможной и обязательной некоторую форму самопознания (Трубецкой 1921а, 75).

Только постигнув свою природу, свою сущность с совершенной ясностью и полнотой, человек способен оставаться самобытным, ни минуты не вступая в противоречие с самим собой, не обманывая ни себя, ни других. И только в этом установлении гармонии и целостности личности на основании ясного и полного знания природы этой личности и состоит высшее достижимое на земле счастье (Там же, 73).

Однако это коллективное сознание должно стать объектом интенсивной работы по перевоспитанию:

Нужно, чтобы каждый из народов Евразии, сознавая самого себя, сознавал себя именно прежде всего как члена этого братства, занимающего в этом братстве определенное место (Трубецкой, 1927а, 29). Для того, чтобы общеевразийский национализм мог успешно выполнить свою роль фактора, объединяющего евразийское государство, необходимо соответственно перевоспитать самосознание народов Евразии (30).

Для существования государства необходимо прежде всего сознание органической принадлежности граждан этого государства к одному целому, к органическому единству (Там же, 31).

*Язык и личность*

В своих культурологических и этнософских текстах Трубецкой говорит о языке лишь как об одном из элементов, отражающих душу народа как многочеловеческой личности:

Если с туранством русский народ связывается преимущественно известными чертами своего психического облика, то со славянством русский народ связан своим языком. Дело в том, что «туранство», в том смысле, как оно трактуется в третьей статье настоящего сборника, не есть ни расовое, ни строго лингвистическое единство, а единство этнопсихологическое, «славянство» же есть исключительно лингвистическое понятие. При помощи языка личность обнаруживает свой внутренний мир; язык является основным средством общения между людьми, а в процессе этого общения создаются многочеловеческие личности. Этим уже определяется важность изучения жизни языка с точки зрения персонологии. Судьбы и специфические свойства русского литературного языка чрезвычайно важны для характеристики русской национальной личности, точно так же как важно для этой характеристики и самое положение русского языка среди других (Трубецкой 1927г, 8—9).

Для Соссюра речь без языка была бы лишь рядом бессмысленных высказываний, а язык без речи был бы лишь пустой и абстрактной системой. Неоднократно отмечалось, что во введении к «Основам фонологии» Трубецкой, ссылаясь на Соссюра, использует оппозицию язык—речь для обоснования оппозиции фонология—фонетика. Однако это *единственное* место, в котором он прибегает к этой дихотомии. Больше нигде он не подвергает ее теоретическому разбору, больше нигде она не играет никакой роли: язык—это не система знаков, а «проявитель» лежащего за ним типа культуры.

## Глава X

### Холизм: что есть целое?

*Великая мощь Природы в различных ее проявлениях кажется сомнительной тому, кто воспринимает лишь ее части и не охватывает ее целиком.*

Плиний Старший. Естественная история, VII, I (эпиграф к книге А. Гумбольдта «Космос», 1845—1862)

#### По ту сторону зеркала

Теория строится в полемике и даже благодаря ей. В 1920-е и 30-е годы Якобсон и Грубецкой посвятили немало времени определению своего места среди тех течений мысли, которые они считали (обоснованно или необоснованно) враждебными себе. Изучая основные темы «якобсоновской демонологии» (выражение М. Виеля)<sup>1</sup>, можно попытаться восстановить те идеи, которые они стремились обосновать, отвергая теории своих противников.

Якобсон был уверен, что *порывает* с прошлым, провозглашая свою приверженность новому духу времени. Однако этот провозглашенный разрыв вряд ли соответствовал тому, что Г. Башляр почти в то же самое время называл «эпистемологическим разрывом». Здесь мы постараемся представить общую картину этой якобсоновской демонологии, чтобы за ней увидеть ту «современную» науку<sup>2</sup>, которая тогда только складывалась.

После войны установки Якобсона стали гораздо более интернационалистскими, ориентированными на мировое сообщество, и менее не-

---

<sup>1</sup> Виель 1984, 39.

<sup>2</sup> Якобсон 1929в [1973, 9].

примиримыми. Однако в 20-е и 30-е годы провозглашаемый им эпистемологический разрыв стал моделью не только оппозиции во времени (старая наука—новая наука), но и оппозиции в пространстве (западная наука—русская наука), а эпистемологический разрыв превратился тем самым в геокультурный. Пространственный фактор, который был лейтмотивом у Якобсона в течение всей его жизни, играет здесь роль научной парадигмы. В этой «теории двух наук» Россия (в СССР и за рубежом) противостоит Западу и превосходит его.

Имена демонов Якобсона и Трубецкого—*позитивизм* и *натурализм*. Именно в противопоставлении этим призракам строится их *холистская* теория *целостности*.

### Позитивизм и холизм

Якобсон искажает позитивистские концепции своих противников. По всей видимости, он никогда не читал Огюста Конта: он никогда на него не ссылается. Он упорно смешивает позитивизм с эмпиризмом, видя в нем «культ фактов», чистую фактографию. Это видно по его жесткой критике чешского языковеда Ж. Гебауэра, который в Праге, в начале этого века, «упорно отказывался от каких-либо дискуссий» и возражал против создания кафедры общей лингвистики. Якобсон делает из этого вывод, вполне соответствующий его «диалектической» философии истории:

Естественно, что крайний позитивизм и фанатичный культ изолированных фактов должны были вызвать радикальную реакцию. Так Прага, которая в начале века была ареной эрудитского крохоборства, теперь превратилась в центр глубокой теоретической мысли (Якобсон 1933 [SW-II, 540]).

Однако эта философия истории постоянно уравновешивалась идеей пространственного своеобразия эпистем:

Для русской теоретической мысли издавна характерны некоторые специфические тенденции. Очевидно, что нет какой бы то ни было монополярной русской научной методологии, которую можно было бы противопоставить другой, безраздельно господствующей на Западе; однако существуют лейтмотивы, характеризующие не место функционирования науки, но научную эпоху. При всей интернациональности этих лейтмотивов необходимо все же считаться с местной средой, им благоприятствующей либо противодействующей (Якобсон 19296 [1999], 23)

Российскую культурную среду, по всей вероятности, можно определить как враждебную позитивизму; достаточно напомнить, что в эпоху своего расцвета позитивизм достиг в России весьма скромных высот, в то время как противостоящие позитивизму научные направления принесли блестящие плоды именно в области русской философии (Данилевский, Достоевский, Федоров, Леонтьев, Соловьев). Противостояние позитивизму одинаково характерно для всех без изъятия течений научной мысли в России: от Достоевского до русского марксизма (Якобсон 19296 [1999], 24).

Более либо менее несовместимые принципы традиционной телеологии и структурализма в русской науке всегда были тесно переплетены друг с другом. В настоящее время указанные методологические тенденции явно усиливаются и освобождаются от эклектических примесей. Сегодня они проявляются также и в западной науке, в них нашел свое отражение дух времени. Во второй половине XIX столетия подобные устремления были едва различимыми обертонами западной науки, лишь время от времени возникавшими оппозиционными выпадами, которые тут же подавлялись господствующей доктриной. С другой стороны, тот мир идей, из которого выросла русская структуральная наука, оформился в целостное научное мировоззрение, резко враждебное прежнему (Якобсон 19296 [1999], 24—25).

Несомненно, что Якобсон и Трубецкой отвергают в позитивизме оптимистическое понятие прогресса. Однако они берут у него, явно в этом не признаваясь, глобальное видение мира, характерную для Конта и Дюркгейма мысль о том, что общество представляет собой целое, не сводимое к сумме своих частей. Фактически их противники, которые за деревьями не видят леса, тоже игнорируют О. Конта, и это опять-таки младограмматики. Враждебные философским спекуляциям, языковеды-младограмматики имеют дело лишь с *фактами*, доступными любому наблюдателю — с *наблюдаемыми данными*, каковы бы они ни были, и не доверяют абстракциям. Это позиция феноменализма, который радикально отвергает все то, что не доступно эмпирическому контролю, и держится строго в границах опыта.

Однако лингвистика не должна быть лишь описательной наукой: она должна уметь объяснять языковые изменения, находя для каждого факта *причинные связи*. Причинное объяснение — это и есть наиболее надежный критерий того, что мы имеем дело с позитивистской научной установкой. По сути, младограмматики враждебны любому объяснению с точки зрения целей. Научное исследование призвано устанавливать *фонетические законы*, которые должны быть *абсолютными*, подобно любому причинному отношению между явлениями.

Способ построения аргументации у младограмматиков свидетельствует об их враждебном отношении к любым доводам психологического и метафизического типа. Если считать их объектом язык, то можно сказать, что этот объект образован совокупностью фактов и имеет субстанцию. Младограмматики (например, Бругманн и Дельбрюк) четко противопоставляли свои позиции А. Шлейхеру как своему непосредственному предшественнику. Они ругали Шлейхера за спекулятивный подход, за отрыв от наблюдаемых фактов, за аналогию между языком и живым организмом<sup>3</sup>.

Однако, согласно младограмматикам, можно удостовериться в существовании лишь тех причин, которые связаны с деятельностью говорящих субъектов, использующих и преобразующих язык. Якобсон и Трубецкой отвергали у младограмматиков лишь несистематичность в построении знания, нецелостный подход к объекту. В начале XX века, особенно в Италии и Германии, произошла радикальная смена перспектив и приоритетов: упрек в «позитивизме» стали выдвигать против сравнительно-исторического языкознания представители «идеалистического» языкознания. Вместе с этим упреком в позитивистском бездушии и материализме на первый план выходили уже не явления культуры, а национальная идентичность, дух народа, отобразенный в народном языке<sup>4</sup>.

В этот период мы находим у немецкого языковеда Вальтера Порцига одно из редких определений позитивизма:

*Позитивизм* как научная установка берет за основу индивидуальный факт и считает задачей науки однозначное упорядочение всех индивидуальных фактов. Напротив, *идеализм* считает мир структурой означающих сущностей, рода которых определяется их функцией внутри целого. С точки зрения позитивистов, индивидуальные явления имеют ценность потому, что они существу-

---

<sup>3</sup> Тем не менее позитивизм Шлейхера нередко отождествлялся с натурализмом: так, Ш. Кампру (Кампру 1979, 26) рассуждает о роли в лингвистике «позитивистских теорий О. Конта, доказательством которых считалась дарвиновская биологическая теория эволюции. Под влиянием Дарвина немецкий ученый А. Шлейхер, который был одновременно и языковедом и ботаником, изобрел так называемую теорию древа (...) Тем самым А. Шлейхер пришел к абсолютному отрицанию лингвистики как исторической дисциплины, изучающей свободную деятельность человеческого духа».

<sup>4</sup> Ср. Кёрнер 1982а, б, в.



ют; с точки зрения идеалистов—потому, что они осмысленны (Порциг 1928, 2—3, цит. по: Кёрнер 1982а, 84—85 и Янковский 1972, 228).

Якобсон неоднократно (не только в 20-е и 30-е годы, но и позже) противопоставлял «новую науку» как позитивизму, так и натурализму, как правило, отождествляя эти два термина.

Дело осложняется тем, что критики структурализма, во всяком случае французские, отождествили его с позитивизмом, рассуждая, например, о «позитивизме структуральной лингвистики»<sup>5</sup> или помещая якобсоновскую концепцию коммуникации «под сень позитивистской науки»<sup>6</sup>.

Что понимали под позитивизмом русские прагманы?

Прежде всего Якобсон и Трубецкой критикуют «атомизм» и «механицизм» младограмматиков. Они редко используют слово «позитивизм» и никогда не говорят об О. Конте. Они не изучают позитивизм как философию, но используют его как отрицательный опознавательный знак столь ненавистного им учения младограмматиков.

Вслед за Кёрнером<sup>7</sup> можно утверждать, что в XIX веке «ни один лингвист всерьез не думал, будто язык лишен всякой организации и является лишь произвольным конгломератом разрозненных терминов». Но Кёрнер утверждает и нечто большее: «Мне не известно, чтобы кто-либо из тех, кто размышлял о природе языке за два или три последние тысячелетия западной цивилизации, решился отрицать, что язык так или иначе представляет собой систематическое единство»<sup>8</sup>.

Однако именно в отсутствии системы Якобсон упрекает младограмматиков, говоря об «атомизме» и «механицизме» предшествующих теорий.

В 1929 году в своих «Замечаниях...» Якобсон утверждает: в том, что касается диахронической лингвистики, Соссюр увяз «в колее младограмматизма»:

Для него (...) некоторые элементы изменяются независимо от их взаимосвязи с общим целым и, следовательно, могут изучаться вне системы; сдвиг системы происходит под действием событий, которые не только чужеродны системе, но и сами, оставаясь изолированными, не образуют системы (Якобсон 1929а [SW-I, 17]).

<sup>5</sup> Мальдидье и др., 1972, 117.

<sup>6</sup> Флао 1984а, 36.

<sup>7</sup> Кёрнер 1975, 724.

<sup>8</sup> Там же, 805.

От представления о фонологической системе как о случайном агglomerате необходимо отказаться (Там же, 22).

Младограмматическое учение об истории языка свидетельствует об отсутствии теории. Теория исторического процесса возможна лишь при условии, что изменяющаяся сущность рассматривается как структура, подчиненная внутренним законам, а не как случайный агglomerат (Там же, 109).

Учение Соссюра <...> постоянно трактует диахронию как агglomerат случайных изменений (Там же, 109—110).

В одной из самых знаменитых его филиппик читаем:

Механическое скопление фактов в результате случайности или действия каких-то разнородных обстоятельств—таков излюбленный образ господствующей европейской идеологии второй половины XIX века. Современная идеология в ее разнообразных проявлениях, генетически не связанных друг с другом, все резче подчеркивает не механическое накопление, а функциональную систему, не бюрократическую отсылку к соседней графе, а структуральные законы, не слепую случайность, а целенаправленную эволюцию (Там же, 110).

В этих жестких суждениях наиболее отчетливо проявляется оппозиция между атомизмом и систематизмом (или холизмом):

Традиционная историческая фонетика обычно рассматривала звуковые изменения по отдельности, не учитывая при этом систему, которая подвергается изменениям. Для мировоззрения той эпохи это казалось само собой разумеющимся: с точки зрения ползучего эмпиризма младограмматиков, система— прежде всего языковая— была механической *суммой* (Und-Verbindung), а не единством формы (Gestaltseinheit), как говорят современные психологи. Фонология противопоставляет изоляционистскому методу младограмматиков *целостный метод*; каждый фонологический факт рассматривается как частичное целое, которое сорасчленяется с другими частичными совокупностями более высоких уровней. Так что первопринцип исторической фонологии таков: *любое изменение должно рассматриваться внутри той системы, в которой оно произошло*. Звуковое изменение можно осмыслить, только прояснив его роль в языковой системе (Якобсон 19316 [SW-I, 202—203]).

### Проблема натурализма

Натурализм в языкознании, отождествляемый главным образом с именем А. Шлейхера<sup>9</sup>, видел в языке или семействах языков становя-

<sup>9</sup> Насколько мне известно, Шлейхер никогда не называл свою теорию *натуралистической*. Слово «натурализм» «задним числом» приклеилось к Шлейхеру. Было

щиеся виды, подобные животным или растительным видам. Шлейхер считал языки естественными, живыми организмами, которые, независимо от человеческой воли, рождаются, растут и развиваются по строгим законам, а потом стареют и умирают. Именно Шлейхеру мы обязаны наиболее развитой формой учения о «родословном древе» и преобразованием описательной типологии (три морфологические класса языков) в эволюционную типологию (флективные языки приходят на смену агглютинирующим, а те в свою очередь — на смену изолирующим).

Языкознание выступает здесь как естественная наука, призванная изучать законы эволюции языков столь же строгими методами, как методы химии или биологии. И это — определенное прочтение гегелевской традиции: науки о природе, относящиеся к области необходимости, противоположны наукам об обществе, относящимся к области свободы. Идеал наук о природе — поиск *объективных законов*.

Пожалуй, Якобсон резче критиковал натурализм Шлейхера, нежели позитивизм младограмматиков. Он неоднократно возвращался к этой теме, никак не уточняя свое понимание натурализма, но настойчиво разыскивая его сохраняющиеся следы:

И все же, как это часто бывает в истории науки, устаревшая теория может быть упразднена, сдана в архив, а довольно многочисленные пережитки ее, ускользающие от контроля критической мысли, тем не менее остаются (Якобсон 1938 [1985], 92; перевод с нашими уточнениями.— Н. А.)<sup>10</sup>.

По-видимому, причины неприятия Якобсоном Шлейхера с его натурализмом несколько иные, чем у его современников.

---

бы интересно узнать, кто первым его использовал. Между прочим, натурализм в лингвистике имеет лишь отдаленное отношение к натурализму в философии (где он понимается как особая форма пантеизма или материализма, отрицающая существование трансцендентной силы, которая творит или упорядочивает природу) или в эстетике (где он подразумевает воспроизводство реальности с совершенной объективностью и во всех ее аспектах).

<sup>10</sup> Но тогда становится непонятным начало весьма хвалебной статьи Якобсона о Крушевском (Якобсон 1967 [1973, 238]): «Неслучайно, что в своих тезисах 1881 года Крушевский прежде всего объявил главной задачей языкознания „не восстановление картины прошлого, а открытие законов языковых явлений“, а это предполагает, в силу избранной им методологии, сближение языкознания не с „историческими“, а с „естественными“ науками. Слово „естественный“ понимается здесь как „закономерный“».

Прежде всего в шлейхеровском натурализме есть темы, которые Якобсон, насколько нам известно, никогда не рассматривает: это, например, рождение, жизнь и смерть языков или же акцент на строгости законов.

Некоторые его критические пассажи — главным образом, об эмпиризме — не расходятся с мнением других критиков:

Однако и в синхронической лингвистике конкретные исследования полны пережитков старого натурализма. Лингвисты мыслили язык как чужой и непонятный, будто речь шла о цепи акустических восприятий, лишенных смысла (Якобсон 1933 [SW-II, 545]).

Уже давно отвергнута доктрина А. Шлейхера, завязаного натуралиста в области языкознания, а пережитки ее живучи еще и по сей день. Именно ее тезису о физиологии звуков как «основе всей грамматики» эта вспомогательная и по существу внелингвистическая дисциплина обязана тем почетным местом, которое она продолжает занимать в науке о языке (Якобсон 1938 [1985], 92).

В данном случае Якобсон явно путает натурализм с тем, что можно было бы условно назвать «физикализмом» Шлейхера, а это в свою очередь позволяет ему отождествлять натурализм с учением младограмматиков:

Фонологический анализ звуков данного языка радикально отличается от того натуралистического анализа, которым занимается фонетика. Фонология не исключает фонетику, но если первая изучает фонемы как конститутивные элементы данного языка, то вторая с натуралистической точки зрения описывает звуковой материал, которым пользуется этот язык (Якобсон 1933 [SW-II, 546]).

Натурализм для Якобсона сущностно несистемен (порой само это слово используется им в том же смысле, в каком оно понимается в эстетике):

Поставим рядом натуралистическую картину с ее прерывностью и эпизодичностью и композицию Сезанна — цельную систему отношений между объемами (Якобсон 1929а [SW-I, 110]).

Тьма тайн вокруг этого вопроса еще больше сгущается, когда мы видим, что во многих текстах и антологиях Шлейхер, напротив, трактуется как исключительно систематичный мыслитель... Так, Соссюр считает, что:

лишь он [Шлейхер] имел достаточно широкие воззрения, чтобы видеть целое. В наши дни эти взгляды нас не удовлетворяют, однако в них очевидно содер-

жалось стремление к общему и системному. Интереснее иметь систему, нежели нагромождение нечетких понятий (Энглер 67, 8),

а статья о «натуралистическом течении» в «Лингвистическом энциклопедическом словаре», изданном Академией наук СССР (М., 1990), гласит:

Значение научных идей и трудов Шлейхера велико: он способствовал разработке в историческом языкознании принципа системности и метода реконструкции праязыка<sup>11</sup>.

Другая тема Яacobсона, в которой натурализм сплавлен воедино с учением младограмматиков,— это атомизм и причинное объяснение; она позволяет Яacobсону выдвинуть на первый план свое собственное структурное и телеологическое объяснение, которое, как ему кажется, вполне соответствует важнейшим философским ориентациям культурной жизни его эпохи (особенно в СССР и в Чехословакии):

Дух книги структуралиста Фишера— в показе неудачи философской концепции натурализма, которая сводит реальность к распылению атомов<sup>12</sup> и видит повсюду лишь количественные отношения и механическую причинность. Книга Инглиша показывает, что изучение причин человеческого поведения не дает результата и что речь идет не об отношении причин к следствию, а об отношении средств к цели, причем это отношение должно истолковываться телеологическим методом (Яacobсон 1933 [SW-II, 544]).

Проблемы причинного порядка по-прежнему главенствовали, однако при этом не учитывалось, что в уме слушающего самый первый и естественный вопрос— это цель, а не причины речи (Там же, 545).

Однако именно в вопросе о генетическом объяснении критика Яacobсона начинает отклоняться от обычных для той эпохи критических замечаний в адрес натурализма:

...несомненно, что наиболее устойчивым элементом этой доктрины является стремление объяснять звуковые и грамматические сходства двух языков их происхождением от одного общего языка-предка и исследовать только такие сходства, которые поддаются подобного рода объяснению (...). Даже у тех, кто не принимает более всерьез упрощенную генеалогию языков, образ генеало-

---

<sup>11</sup> См.: Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

<sup>12</sup> Как бы ни относиться к Шлейхеру, его ни в коем случае нельзя упрекнуть в сведении реальности к «распылению атомов». Этот упрек больше подошел бы младограмматикам, выступавшим как раз против шлейхеровского натурализма...

гического древа (Stammbaum), как правильно замечает Шухардт, несмотря ни на что, все еще остается в силе; проблема общего наследия, обязанного единому предку, продолжает выдвигаться в качестве важнейшей предпосылки при сравнительном изучении языков (Якобсон 1938 [1985], 92; перевод с нашими уточнениями.— Н. А.).

«Обсуждаемое учение», с его «упрощенной генеалогией», противопоставляется «современной лингвистике с ее социологической ориентацией»<sup>13</sup>:

Рассмотрение сходства, унаследованного от некоего общего доисторического состояния, является всего лишь одной из проблем в социальных науках, использующих сравнительный метод, например, при изучении искусства, нравов и обычаев; проблема развития тенденций к новшествам берет здесь явно верх над проблемой пережитков (Там же, 93; перевод с нашими уточнениями.— Н. А.).

Якобсоновская социология основана на законе:

Конвергирующее развитие, охватывающее необъятные массы индивидов на обширной территории, следует рассматривать как господствующий закон (Там же, 93).

В подтверждение нашего тезиса о том, что Якобсон и Трубецкой находятся в точке неустойчивого равновесия между двумя парадигмами — теорией сложных систем, доступ к которым дает *нематериальное*, и теорией Единого и Целого, унаследованной от натурфилософии и византийского неоплатонизма,— мы постараемся показать, что теория конвергенций и совпадений строится у них обоих в соответствии с моделью, которая и сама оказывается *натуралистской*.

Само слово «натурализм» систематически употребляется с отрицательной оценочной нагрузкой. Так, в некрологе Трубецкому Якобсон в 1939 году писал:

Размышления Трубецкого, четко направленные против любых (биологических или эволюционистских) натуралистических представлений духовного мира и против любого сознательного эгоцентризма, безусловно укоренены в русской идеологической традиции; однако они привносят много личного и оригинального и ценны нам своей критической глубиной и остротой — как в силу богатого научного опыта автора, так и в силу его сотрудничества с крупным географом и историком цивилизаций П. Н. Савицким. Учение этих двух мыс-

<sup>13</sup> Там же, 92.

лителей о самобытности русского (евразийского) географического и исторического мира в сопоставлении с Европой и Азией было истоком т. н. евразийского идеологического течения (Якобсон 1939 [1973, 300—301]).

При этом якобсоновская модель конвергенций взята из антидарвиновской биологии и философии целостности.

Отметим, что Якобсон часто пользуется биологическими метафорами:

...необходимо выявить области, в которых прививка русской научной традиции, скрещивание с русскими культурными ценностями могли бы принести достойные плоды. Не стоит забывать о том, что было с давних пор усвоено великими народами Запада: к распространению языковой культуры за пределами страны нельзя относиться равнодушно с точки зрения интересов данной культуры, ее нормального развития (Якобсон 19296 [1999], 27).

С другой стороны, что означает этот союз «русской идеологической традиции» с «евразийским идеологическим течением»? Якобсон здесь главным образом опирается на высказывания Л. С. Берга, русского биолога-антидарвиниста:

Если ортодоксальный эволюционизм учит, что «сходство в строении органов необходимо принимать во внимание лишь в том случае, если оно указывает на то, что обладатели этих органов происходят от одного и того же предка», то в наше время исследователи придают значение сходствам вторичным — либо приобретенным вследствие конвергирующего развития организмами родственными, либо усвоенным организмами абсолютно разного происхождения. Таким образом, «сходства, которые обнаруживают две формы в своей организации, могут оказаться вторичными, приобретенными позже, а различия — первичными, унаследованными». При этих условиях различие родственных и неродственных организмов перестает быть решающим. Конвергирующее развитие, охватывающее необъятные массы индивидов на обширной территории, следует рассматривать как господствующий закон (Якобсон 1938 [1985], 93).

Наш первый вывод таков: Якобсона интересовали прежде всего явления диффузии (контакт, «пространственный фактор» в геолингвистике). В этом смысле он вполне вписывается в современную ему духовную атмосферу, в которой существовали и Шухардт, и итальянские неолингвисты. В его «Беседах» с К. Поморской (1980) интересно в этом смысле его обращение — впервые после переезда в США — к теме пространства:

[В Осло в 1939 году] ...проблемы фонологической географии, которые живо интересовали участников Пражского кружка в 30-е годы, могли, казалось,

раскрыться здесь наиболее живо и конкретно. Мы знали, что *диффузия* фонологических явлений выходит за пределы данного языка или данного языкового семейства и что фонологические системы соседних народов сходны даже при полном отсутствии генетической общности их языков (Якобсон 1980, 42).

В XX веке наука о языке впервые осознала, что факты, характерные для языковой системы, могут *диффузно* распространяться за пределы данного языка, затрагивая языки, весьма далекие по структуре и происхождению, причем иногда лишь на какой-то части их ареалов (Там же, 83—84).

Тем не менее к тексту «Бесед» с К. Поморской нужно подойти с осторожностью. Насколько нам известно, в 30-е годы Якобсон не пользовался термином «диффузионизм». И потому, спрашивается, не сталкиваемся ли мы в «Беседах» с перетолкованием вопроса полвека спустя — уже в терминах, доступных западному читателю, а потому стирающих самые заметные черты «евразийской идеологии»?

В любом случае использование здесь этого термина вводит в заблуждение. В самом деле, в теории конвергенций Якобсона и Трубецкого 30-х годов отсутствовали два главных аспекта диффузионизма — в том виде, как он был известен из антропологических работ Гребнера и Шмидта: это мысль о неизобретательности человеческой природы (изобретение не может возникнуть дважды в двух разных местах и может лишь быть *заимствовано*) и мысль об атомарности фактов диффузии. Оба эти элемента совершенно противоположны идее целостности культурных типов (Трубецкой) и общности приобретенных признаков (Якобсон).

Однако главное отличие концепции Якобсона от диффузионистских теорий заключается, конечно, в его тезисе о неслучайности пространственного географического распределения типологических фактов (независимо от их происхождения):

Поскольку изофоны, выходящие за пределы того или другого языка, представляют собой довольно частое и, как кажется, почти обычное явление в лингвистической географии и поскольку фонологическая типология языков находится в явной связи с их распределением в пространстве, для языкознания (как исторического, так и синхронического) было бы весьма важно (...) составить *атлас фонологических изолиний* для всех языков мира... (Якобсон 1938 [1985], 102).

Удивительная мысль, которая красной нитью проходит через все эти размышления о пространственных связях между языками, заключается в том, что системные факты следует изучать не только изнутри



системы. И здесь мы вновь сталкиваемся с эпистемологическим миром, весьма отличным от соссюрковского<sup>14</sup>.

Таким образом, «русские пражане» предложили в 30-е годы *транс-системную* фонологию. Они считали, что между различными типами языков существует особое неслучайное отношение. Но как объяснить «притяжение» между различными типами языков? Никакого объяснения на этот счет не дается. Возникает впечатление, будто одного откровения фонологического сродства между языками (особенно языками Евразии, СССР) достаточно для доказательства тезиса, который красной нитью проходит через всю эту работу: *Евразия это естественный объект, органическая целостность*.

Критикуя биологическую модель Шлейхера с ее непоследовательностью, Якобсон предлагает некую антитетичную модель (ее ключевые слова — «конвергенция», «телеология» и «пространственный детерминизм») с опорой на определенную концепцию биологии и географии, при этом не замечая (или просто не показывая), что мы здесь вновь имеем дело с натурализмом — с такой странной концепцией «общественных наук», предметом которой становятся общества как организмы, подчиненные естественным причинам.

Эта теория влияния *среды* и наследования приобретенных признаков представляет собой разновидность неоламаркизма, влиятельную в России 30-х годов: на ум приходит Лысенко. Однако она противостоит «механическому ламаркизму» Лысенко в том, что организмы как бы *предрасположены* к сходству, а стало быть, и к сосредоточению в одном месте (ср об этом в гл. VII).

Как бы то ни было, значимость натуралистической модели для русских пражан 30-х годов необходимо вновь подчеркнуть. Их мысль ни в коем случае не сводится к «банальному» утверждению о том, что «лингвистика — это общественная, а не естественная наука».

Между прочим, утверждение об общественной природе языка и естественнонаучном характере науки о языке не обязательно должно

---

<sup>14</sup> Ср. у Соссюра: «Что создает эти различия? Ошибочно было бы думать, что в этом виновно только пространство (...) Географические различия должны быть переведены на различия во времени» (Соссюр 1977, 234). Кажется, будто вся четвертая часть «Курса общей лингвистики» была специально написана для опровержения положений Якобсона.

быть внутренне противоречивым. К примеру, в работе П. Лафарга «Французский язык до и после Революции»<sup>15</sup> язык трактуется как зависимый от социальной *среды*, однако сама эта среда рассматривается в понятиях биологии:

Язык нельзя отрывать от его социальной среды, подобно тому как растение нельзя изымать из его метеорологической среды (Лафарг 1894, цит. по: Кальве 1977, 81).

Именно это рассуждение биологического типа позволило П. Лафаргу отвергнуть позиции тех современных ему лингвистов, которые хотели бы превратить лингвистику в независимую науку, преувеличивая роль этимологии в изучении значения слов, вместо того чтобы выявлять связи языка со средой. Однако, особенно важно здесь то, что именно это положение о языке как социальном факте (то есть историческом факте, зависящем от своей *среды*) и позволило Лафаргу использовать его в рассуждении биологического типа:

Язык, как и живой организм, рождается, растет и умирает; в своем существовании он претерпевает ряд изменений и переворотов, уподобляющих и расподобляющих слова, обыденные выражения и грамматические формы. Слова в языке, подобно клеткам растения или животного, живут своей собственной жизнью: их фонетика и их орфография непрерывно изменяются (Лафарг 1894, цит. по: Кальве 1977, 79).

Тут стоит вновь обратиться к теме *среды* у Якобсона, который вводит в свое рассуждение (или скорее — ряд утверждений) дополнительный этап, а именно — этап *согласования* фактов, относящихся к разным порядкам (ср. об этом в гл. VIII). Здесь можно, по-видимому, говорить о *натуралистской* концепции, хотя это иной, более сложный натурализм, нежели у Шлейхера.

Якобсон видит новизну — следствие подлинного *разрыва* — в утверждении о том, что соответствия нельзя объяснить внешними причинами. Спрашивается, что же тогда приводит к совпадению изолиний? Единственный возможный ответ, наверное, таков: это делает *природа* как телеологический фактор. Никакого другого объяснения нам не дается, а само утверждение о том, что лингвистика — это общественная, а не естественная наука, совершенно не помогает в этом разобраться.

---

<sup>15</sup> Лафарг 1894, цит. по: Кальве 1977, 80.

Нужно переосмыслить сам принцип «системы, в которой все взаимосвязано»: что значит «взаимосвязано»? Взаимосвязаны в данном случае «факты» — факты, которые *ждут* исследователя:

...столкнувшись с этим непривычным вопросом фонологического сродства, лингвисты незаслуженно оставляют его на периферии своих интересов. Факты тем не менее ждут обследования и объяснения (Якобсон 1938 [1885], 95).

Обратим внимание на способ доказательства, которым пользуется Якобсон: он всегда основан на доводах типа «эти явления настолько убедительны/насколько многочисленны, что не могут быть случайными»: неслучайность считается доказательством, хотя на самом деле она еще только требует доказательств.

Нужно перепроверить наш исходный материал: некоторые конвергенции настолько убедительны, что не могут быть лишь случайными совпадениями (Якобсон 1929a [SW-I, 109]).

Маловероятно, чтобы эта симметрия двух границ одного союза была бы обязана простой случайности (Якобсон, 1938 [1985], 103).

Однако никакого объяснения не предлагается: чудо открытия корреляций самодостаточно.

Осмысление (на этот раз неметафорическое) сложных объектов как организмов — это полнозвучная тема у другого лидера Пражского кружка, Трубецкого. Конечно, эта идея четче проводится в его «культурологических» произведениях, нежели в лингвистических, однако нам в любом случае важно понять, насколько далеко заходит у него превращение такого способа рассуждения в доказательство: все неорганическое не образует системы и потому просто не заслуживает изучения.

Для Трубецкого нация — это организм:

...сожительство народного и литературного языка в среде одного и того же национального организма определяется сложной сетью взаимно перекрещивающихся линий общения между людьми (Трубецкой 1927б, 55).

«Этническая сущность» характеризуется «органическим единством»:

Всякий национализм исходит из интенсивного ощущения личностной природы данной этнической единицы и потому прежде всего утверждает органическое *единство и своеобразие* этой этнической единицы (народа, группы народов или части народа) (Трубецкой 1927а, 28).

Будучи представителями отвлеченно-западнических настроений старых поколений русской интеллигенции, эти люди<sup>16</sup> не хотят понять, что для существования государства необходимо прежде всего сознание органической принадлежности граждан этого государства к одному целому, к органическому единству, каковое может быть только либо этническим, либо классовым, и что поэтому при современных условиях возможно только два решения—либо диктатура пролетариата, либо сознание единства и своеобразия многонародной евразийской нации и общеевразийский национализм (Там же, 31).

Общество—это «социальный организм», постоянно уподобляемый «национальному организму»:

...диалектическое дробление языка и культуры настолько органически связано с самой сущностью социального организма, что попытка уничтожить национальное многообразие привела бы к культурному оскудению и гибели (Трубецкой 1923а, 108).

У Трубецкого индивидов нет, существуют лишь «части социального организма», «социально-культурного организма», «национального организма» — все эти выражения полностью синонимичны<sup>17</sup>. Вот почему миссионеры-католики занимаются бесполезным делом, пытаясь обратить индивидов в свою веру: религия—это проблема национальной психики, она должна приниматься органически—всем народом вместе взятым<sup>18</sup>.

За термином «коллективные сущности» у Трубецкого никогда не стоят общества, но всегда—народы, нации, племена. Основоположная категория для него—это *целостность*. Так, народ это—«психологическое целое, известная коллективная личность»<sup>19</sup>, «социальный организм»<sup>20</sup>, «социальное целое»<sup>21</sup>, «социокультурный организм»<sup>22</sup>. «Целое» и «организм» во всех этих текстах—синонимы, вещи взаимозаменяемые, иногда с добавлением прилагательного «естественный» («природ-

---

<sup>16</sup> Трубецкой имеет здесь в виду русских эмигрантов, которые мечтают насадить в России принципы «европейской демократии».

<sup>17</sup> Трубецкой, 1923а.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Трубецкой 1921а, 74.

<sup>20</sup> Трубецкой 1923б, 108.

<sup>21</sup> Там же, 110.

<sup>22</sup> Там же.

ный») (например, «естественное органическое единство»<sup>23</sup>). Целое нередко видится как «единство»: так, «национальное целое» означает и «национальное единство»<sup>24</sup>. Однако здесь требуется одно важное уточнение: Евразия — это «нация», состоящая из сущностей меньшего масштаба — народов или «племенных единств»<sup>25</sup>, которые в свою очередь подрастлываются на еще меньшие единства. Принадлежность индивида к коллективной сущности — это для Трубецкого переменная величина, как и принадлежность народа к общей совокупности народов и культур.

Однако, какой бы ни была последовательность включений одной коллективной сущности в другую, в любом случае мы имеем дело с *множественностью полных сущностей*. Полные совокупности могут сопоставляться или включаться друг в друга, но они не могут проникать друг в друга или перемешиваться. Внутри каждой из этих полных культур или языковых систем устанавливается общение, лишенное желаний и нехваток, полифоничности и конфликтов. Человечество у Трубецкого, конечно, расчленено<sup>26</sup>, однако каждая единица этого членения сама по себе полна и *гармонична*. В отличие от бахтинского мира, мир Трубецкого выталкивает инаковость вовне. Никакое взаимослияние и взаимопроникновение, никакая гибридность и разнородность невозможны. У Другого нет места внутри органической целостности, и он может лишь вторгнуться в нее извне как культурный «агрессор», потому что главная задача человека заключается в том, чтобы познать свою «подлинную природу» внутри своей собственной культуры. У Трубец-

---

<sup>23</sup> Там же, 119.

<sup>24</sup> Трубецкой 19256, 72, 73.

<sup>25</sup> Трубецкой 1927в, 28.

<sup>26</sup> Трубецкой не единственный, кто трактовал Вавилонскую башню как закон возможности всякого общества. Ж.-К. Мильнер видит в мифе о Вавилонской башне «связь возможности языка с возможностью бесконечного и несчетного разделения» (Мильнер 1978, 29). Ф. Флао утверждает, что «незавершенность строительства Вавилонской башни не свидетельствует об ущербе человеческой природы: напротив, она задает основоположный закон человеческого языка» (Флао 1984б, 150). Наконец, по А. Жакобу, «культурный плюрализм требует толковать Вавилонскую ситуацию не как падение, а как сущностную детерминацию» (Жакоб 1976, 8). Было бы, однако, заблуждением видеть в этих прочтениях мифа отзвук его толкования у Трубецкого.

кого реализовавшийся субъект—это полный субъект, а разделенный субъект остается всего лишь индивидом, еще не обретшим подлинной личности внутри своей группы.

И вновь нужно поставить вопрос о способах евразийского рассуждения и доказательства: в данном случае речь идет о доказательстве через обращение к *природе*, естеству. Организм (язык или нация) имеет свои *естественные* границы: если бы он был слишком большим или слишком маленьким, он был бы нежизнеспособен. Лишь Евразия (бывшая русская империя, а ныне—СССР)—это организм *естественного* размера.

По Трубецкому, греки и румыны тешат себя ложной идеей насчет своей глубинной национальной сущности (так, румыны считают себя латинским народом на том основании, что издавна небольшая группа римских солдат пришла на эту территорию, а современные греки, смесь различных племен с балканской культурной историей, принимают себя за потомков древних греков)—ложной потому, что «самопознание во всех этих случаях не производится органически»<sup>27</sup>.

Наконец, высший аргумент—метафизического порядка. В конечном счете, над судьбою языков и культур властвует трансцендентный принцип: законы жизни, природы—это Божьи законы.

Как все естественное, природное, вытекающее из Богом установленных законов жизни и развития, эта картина величественна в своей непостижимой и необъятной сложности и вместе с тем сложной гармоничности. И попытка человеческими руками разрушить ее, заменить естественное органическое единство живых ярко индивидуальных культур механическим единством безличной<sup>28</sup> общечеловеческой культуры, не оставляющей места проявлениям индивидуальности и убогой в своей абстрактной отвлеченности, явно противоестественна, богопротивна и кощунственна (Трубецкой 1923а, 119).

Теперь мы можем шире сформулировать нашу гипотезу о *натуралистическом* происхождении структурализма пражских русских. Если наблюдать за постоянно используемыми парами оппозиций («механи-

---

<sup>27</sup> Трубецкой 1921а, 82.

<sup>28</sup> Этот текст Трубецкого, написанный в 1923 году, нацелен не против национальной политики большевиков, но против людей с Запада (именуемых «романо-германцами»), которые стремятся навязать свои культурные ценности всему миру и в особенности России.

ческий — органический», «индивид — член национального организма»), то на ум невольно придут различные типы антипросветительского дискурса и прежде всего — консервативный дискурс французского католического контрреволюционного легитимизма<sup>29</sup>. Упомянем здесь, к примеру, Ж. де Местра («Петербургские вечера»), Л. де Бональда («Философские исследования»), Ламенне («Опыт о безразличии в делах религии»). Все эти тексты объединяет протест против конвенционалистского взгляда на язык (в духе Локка и Кондильяка) и против общественного договора<sup>30</sup> как посредника в человеческих делах.

«Реакционеры» Л. Бональд и Ж. де Местр настаивали на *органическом единстве* социального тела, которое невозможно нарушить, не рискуя разрушить все общество, и защищали тем самым традиционные иерархии и ценности против наследия Просвещения, индивидуального либерализма и философии общественного договора.

У нас нет доказательств того, что Якобсон прочел «Петербургские вечера» целиком. Обычно он ссылается лишь на одну-единственную фразу («Не будем говорить ни о случайности, ни о произвольности знаков»), однако цитирует ее весьма настойчиво (неоднократно в 30-е годы и затем в конце жизни в «Беседах» (Якобсон 1980, 87). Две важные стороны этой мысли для Якобсона взаимосвязаны: это критика произвольности знака (Ж. де Местр обращал эту критику против Кондильяка, а Якобсон — против Соссюра) и отказ от случайности во имя исторического детерминизма.

Трубецкой же практически никогда не ссылается на свои источники. Быть может, он никогда и не читал именно эти тексты. Однако можно говорить о *течении мысли*, которое имеет свою собственную историю. В России оно использует славянофильские воззрения и опирается на толкование Гегеля «справа». Конечно, говорить об участии Трубецкого в мыслительном движении, хоть сколько-нибудь напоминающем антиреволюционную католическую реакцию во Франции, — это нелепость, если учесть, что для Трубецкого эти два мира — православный и католический — абсолютно непримиримы. Однако фактически «мыслительные течения» легко преодолевают границы. Речь здесь не идет об истории национальных культур. Нас интересуют те

---

<sup>29</sup> Ср. Берлин 1977.

<sup>30</sup> Об этом ср. Эко 1994, 136—137; Койре 1971; Берлин 1992.

различия, которые лежат глубже имен и воззваний. Они затрагивают темы размышлений, доводы, способы построения рассуждений — будь то в защиту или в опровержение...

Тем самым мы уходим от проблемы «влияния» X на Y: даже если Якобсон и Трубецкой никогда не читали Л. де Бональда, они, безусловно, читали тех, кто его читал, кто находился в том же мыслительном потоке и смог воссоздать — другими, окольными путями — ту же самую проблематику.

Важно, наконец, что все эти споры о естественности евразийского мира, о необходимом (хотя и приблизительном) совпадении между его различными изолиниями парадоксальным образом направлены не на вычленение Евразии как таковой. Речь скорее идет о другой, самой важной, символической границе: о территориальной и культурной границе России с Западом.

Таким образом, релятивистские рассуждения Трубецкого преследуют в данном случае вполне конкретную практическую цель: обосновать колонизацию Сибири и Средней Азии и одновременно подчеркнуть и усилить разрыв между «Россией» и «Европой»: это *воображаемый* разрыв, тем более что евразийцы стремились обосновать его *по природе*, опираясь на теорию ландшафта.

### Объект данный — объект построенный

Этот медленный, трудный и, как таковой, неосмысленный переход платонической мысли об архетипах и эйдосах (скрытых, но нашедших чувственное земное воплощение) к несубстанциалистской идее структуры — один из наиболее увлекательных моментов интеллектуальной истории XX века. Однако, чтобы понять все это, необходимо четко разграничить *реальный объект* и *объект познания*.

Объект науки, объект познания эмпирически не существует до исследования, до теоретического освоения — в отличие от минерала, который существует в недрах земли до того, как его извлекут на поверхность и очистят от комьев и глины. У Соссюра мы находим определение объекта лингвистики на основе теоретического выбора: «Именно точка зрения строит объект». Тот объект, о котором мы говорим, не существует заранее, как таковой, до его изучения, он *строится* теорией. Для того, чтобы звуки существовали, произносились и восприни-



мались слушателями, лингвисты, конечно, не нужны. Однако фонемы имеют смысл лишь внутри теоретической диспозиции, которая определяет их релевантность. Список фонем может быть обоснован лишь с точки зрения критериев, выдвинутых теорией. Тот факт, что для учета фонем существует несколько соперничающих теорий,— вовсе не недостаток: просто одновременно существуют различные виды освещения объекта, различные подходы к одному и тому же эмпирическому объекту, различные *модели* реальности, которая слишком сложна и многообразна, чтобы ее можно было понять прямо и непосредственно.

Если бы мы отделили познаваемый объект от модели, можно было бы избежать многих недоразумений. У Соссюра, несмотря на некоторые неясные места, язык— это не вещь, а модель. Jakobson старается «превзойти», снять соссюровские антиномии, такие как язык—речь, но тщетно: он запутывается в онтологических поисках, даже не заметив ту эпистемологическую революцию, которую несет с собой теория *точек зрения* (и, стало быть, *значимости*) у Соссюра.

Где находятся мировой порядок и гармония: в реальном мире или только в мечтах евразийцев? Где находится целостность: в самих вещах или только в методе исследования? Jakobson, Трубецкой и Савицкий не проводят никакой границы между реальным объектом и объектом познания, что приводит к постоянной путанице одного и другого. Например, они представляют *месторазвитие* не как объект внутри определенной теории, не как понятие, но как реальный объект, который существует до изучения и только ждет, чтобы ему дали имя.

Ученые-евразийцы часто говорят о разрыве: они верят, будто строят новый тип рассуждения, говорят на новом научном языке. Однако, в отличие от Соссюра, они не задаются вопросом о способе построения понятий: они выковывают новую науку, заимствуя органицистский словарь и соскальзывая к холизму. Они не идут гипотетико-дедуктивным путем, но стремятся насытить фактами свои спекуляции насчет гармонии вселенной. Их изучение культуры Евразии как объекта познания основывается на тавтологическом рассуждении, потому что целостность здесь определяется через ее наблюдаемые проявления. Для них элементы целостности громоздятся друг на друга, «совпадают», взаимно друг друга подтверждают; однако при этом они остаются весьма отличными от элементов структуры, потому что конкретно, «онтологически», они существуют еще до какого бы то ни было изучения.

Структурализм Якобсона и Трубецкого — это мысль о *связи*: не об отношении, создающем объекты, как у Соссюра (где элементы теории не существуют вне их взаимоотношений), но об отношении между такими отдельно не познаваемыми элементами, которые ранее не были связаны и существовали независимо друг от друга, как бы ожидая появления *метода увязки*, способного выявить их неразрывные связи. Именно в этом глубинное различие между *моделью* (объектом, построенным в процессе познания) и *типом* (платоновской идеей, сущностью, которая считается *скрытой* за эмпирией). И тогда нам становится понятна эта взаимозаменяемость планов, полей, областей: в порядке вещей всё всему соответствует, и поиск связей становится беспредельным.

Русских пражан снесло водоворотом их собственных параллелизмов, симметрий, связей, отношений, сходств. Их объект — Евразия — задан заранее: он не строится научной практикой как объект познания, но побуждает различные области науки многократно, как заклинание, повторять то, что притязает быть доказательством его существования. Евразийская наука — это долгий и упорный онтологический поиск. Однако это не эмпиризм в традиционном смысле слова: речь идет не о вычленении реального из массы несущественного, но о цельном, накопительном, *синтетическом* видении, дающем онтологическое доказательство существования объекта путем накопления *соответствующих друг другу* признаков. Теория соответствий, теория *типов* переносит модель в реальность. Более того, отрицая или, скорее, игнорируя понятие *точки зрения*, она смешивает модель и реальность. Различные ряды явлений, между которыми обнаруживаются *связи*, призваны исчерпать реальность, потому что реальный объект задан заранее, а познаваемый объект призван лишь соответствовать ему, подтверждать его.

### Структура или целостность?

В заключение мы позволим себе сформулировать следующее положение: несмотря на все видимости и заявления, в структурализме Якобсона и Трубецкого существует глубинная *онтологическая* составляющая.

Возьмем, к примеру, текст, который можно считать одним из манифестов структурализма:

Если бы мы хотели кратко определить главную мысль современной науки в ее разнообразных проявлениях, мы не нашли бы более точного слова, чем *структурализм*. Каждая совокупность явлений, изучаемых современной наукой, рассматривается не как механическая сумма частей, но как структурное единство, как система, и основополагающая задача заключается в том, чтобы открыть ее внутренние законы — как в статике, так и в динамике. В центре современных научных интересов — не внешний импульс, а внутренние условия эволюции, не генезис в его механических внешних формах, а функция (Якобсон 1929в [1973, 9]).

Обратим внимание на это выражение «каждая совокупность явлений»: именно «совокупности явлений» выступают как *исходный материал*, и лишь *после этого* нас призывают изучать «внутренние законы» и «внутренние условия эволюции». Здесь вообще не встает вопрос о *точке зрения*, о способе построения научного объекта.

А вот другой пример — из некролога Трубецкому, написанного Якобсоном. В этом тексте реальное предстает как структурированное Целое:

Трубецкой понимал, что этот дух системы и целого был весьма характерным (уже) для самых первых достижений русской науки и определяющим для его собственного творчества. Он обладал редкой, важной для него способностью открывать систему во всем, что он наблюдал (...) Помимо этого, он всегда обращал свою удивительную память к систематике, и тогда факты укладывались в схемы, которые в свою очередь выстраивались в правильно упорядоченные классы. Для него не было ничего более чуждого и недопустимого, чем механическое перечисление. Ощущение внутренней органической связи между упорядочиваемыми элементами никогда его не покидало, система никогда не оставалась подвешенной в воздухе, оторванной от других данных. Напротив, реальность в целом представлялась ему системой систем, грандиозным иерархическим единством многих согласий, построение которого привлекало его до самых последних дней. Он чувствовал внутреннюю предрасположенность к построению целостной концепции мира, и сам смог полностью раскрыться лишь в структурной науке (Якобсон 1939 [1973, 298]).

Мы видим, что холистская мысль может толковаться двумя способами:

1) либо отношения позволяют открыть сущности, но эти сущности «существуют» как научные, а не эмпирические объекты;

2) либо элементы целостности взаимообусловлены, подобно частям единого организма, и «существуют» физически, но могут пониматься лишь в зависимости от их роли в жизненном функционировании организма.

Первое — позиция Соссюра: система — это конструкция, построенная с определенной *точки зрения*. Второе — позиция Пражского кружка: для Jakobsona и Trubeckogo системен мир, реальность. Поэтому их научную практику можно охарактеризовать как *онтологический структурализм* (конечно же, не в физикалистском смысле).

Ж.-К. Мильнер показал, насколько — в противоположность «нашим традиционным» критериям научности (отделение, исключение, различение) — Jakobson включает в свою теорию все, что угодно: «Его мысль стремится к изобилию и всепритию»<sup>31</sup>.

Дело в том, что для Jakobsona и Trubeckogo всё в мире связано, в нем нет изолированных систем. Эти системы могут быть отделены друг от друга в горизонтальной плоскости (так евразийские языки по своей структуре совершенно отличны от западноевропейских языков), но в вертикальной плоскости (почва, климат, культура, склад ума и душевный настрой, языки, религия) все со всем сближается, «конвергирует», всё всему соответствует.

Можно сказать, что Соссюр, по сути своей, антисубстанциалист: его понятие значимости, отрицательное определение языковых единств позднее приведет к понятию *модели*. Язык у Соссюра — это абстрактный, потенциальный, виртуальный объект, построенный из отношений противопоставления. У Trubeckogo и Jakobsona, напротив, явления *существуют до* того, как их начинают изучать. Когда они говорят нам, что все взаимосвязано, то это скорее мысль о Едином и Целом, нежели мысль о *значимости* в соссюровском смысле.

Возьмем обычный пример: пражане упрекают Соссюра в жестком отделении синхронии от диахронии. Их главный довод в том, что «синхронии не существует».

Как ясно показал Т. де Мауро по поводу попыток «превзойдения» этой оппозиции, всякая *онтологическая* рефлексия о понятии *языка* у Соссюра была бы неуместна, хотя

---

все уверовали в то, что у Соссюра различие находится в самих *вещах*: «язык» имеет синхронию и диахронию, как г-н Дюран имеет шляпу и перчатки (Де Мауро: см. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999, 358).

---

<sup>31</sup> Мильнер 1982, 334.

Для Соссюра язык — это построенный объект, *точка зрения*. Для русских пражан язык — это коллективная норма, которая «включает» в себя (в силу того, что носители языка принадлежат разным поколениям) как консервативные *тенденции*, так и нововведения; эта «совокупность явлений» структурирована, то есть внутренне взаимосвязана, а также связана с другими, внешними совокупностями явлений. Как видим, здесь возникает полнейшее недоразумение, и речь идет о совершенно разных вещах. Можно было бы сказать, что установка пражан по отношению к языку *реалистическая*, а установка Соссюра — *номиналистическая* (точка зрения создает объект). Для Jakobsona и Trubeckogo структура имманентна порядку вещей, а для Соссюра она принадлежит языку как построенному объекту. Мы понимаем тогда, почему для Пражского кружка противопоставление язык—речь не имеет смысла (за исключением одного-единственного высказывания Trubeckogo из «Основ фонологии»).

Для Соссюра язык это система, построенная лингвистом (эмпирическая реальность в целом необъятна), а для Jakobsona и Trubeckogo язык — это объект онтологически структурированный, целостный и только ждущий, когда же, наконец, лингвист его *открывает*. Бенвенист безусловно принадлежит соссюровской традиции, утверждая:

Мы верим, что можем постичь языковой факт непосредственно, как некую объективную реальность. На самом же деле мы постигаем его лишь на основе некоторой точки зрения, которую прежде надо определить. Мы должны перестать видеть в языке простой объект, который существует сам по себе и который можно охватить сразу целиком. Первая задача — показать лингвисту, «что он делает», какие предварительные действия он бессознательно осуществляет, приступая к рассмотрению языковых данных (Бенвенист 1966 [1974], 53).

Тем самым этот философский спор напоминает диалог глухих. Для пражан синхронии просто не *существует*. Но ведь и Соссюр никогда и не говорил, что она *существует*: для него это лишь прием анализа, необходимый для построения теории *значимости*<sup>32</sup>:

Язык есть система чистых значимостей, определяемая лишь наличным состоянием входящих в неё элементов (Соссюр 1977, 144 (с нашим уточнением перевода.— Н. А.); ср. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999, 113).

<sup>32</sup> Об этой дискуссии см.: Фонтен 1974, 63—67.

Итак, именно точка зрения определяет познаваемый объект. Так, вопрос «сколько фонем в русском языке?» с онтологической точки зрения не имеет смысла. Можно до бесконечности спорить о том, сколько их — 36 или 37, в зависимости от того, считаем ли мы, что буква Щ соответствует одной фонеме или двум. Вопрос не в том, чтобы сделать наблюдение более точным, как при наблюдении звезд в более совершенный телескоп. А ответ не в том, чтобы открыть некую эмпирическую реальность: он в способности модели учесть данные наблюдения.

Возникновение европейского структурализма в этот период между войнами напоминает трудные роды. В этом процессе можно различить различные тенденции, выявить силовые линии. Можно лишь сожалеть о том, что в большинстве учебников по истории лингвистики Якобсон и Трубецкой представлены как духовные наследники сосюр-овской мысли. По сути, понятие *целостности* у Якобсона и Трубецкого, или, иначе — целостности фактов, которую нужно извлечь из реальности и затем собрать в общую совокупность, реальное бытие которой само должно броситься нам в глаза, фундаментально отлично от понятия *системы* у Соссюра, который, напротив, тщательно строит свой объект, исходя из определенной точки зрения<sup>33</sup>. Именно поэтому ни фонема, ни синтаксис не обязаны своим существованием некоей онтологии: это лишь *построенные модели*. Точка зрения есть то, что позволяет отбирать в континууме реальности те дискретные признаки, *значимость* которых зависит от цели, поставленной теорией. Однако позиция пражан, или по крайней мере Якобсона и Трубецкого, не является эмпирической. Для них, конечно же, факты находятся уже

---

<sup>33</sup> И тут опять простое перечисление используемых терминов мало чем нам помогает. Соссюр тоже употребляет слово «целое», понимая под этим целостность отношений (*solidarité*), подводящих к понятию *значимости*, а вовсе не сеть соответствий между заранее существующими вещами. Казалось бы, неловко обращаться к столь известному тексту, но нам важно напомнить точную формулировку Соссюра: «Определенное таким образом понятие языковой значимости показывает нам, кроме того, что взгляд на член языковой системы как на простое соединение некоего звучания с неким понятием является серьезным заблуждением. Определять подобным образом член системы — значит изолировать его от системы, в состав которой он входит; это ведет к ложной мысли, будто возможно начинать с членов системы и, складывая их, строить систему, тогда как на самом деле надо, отправляясь от *совокупного целого* (*tout solidaire*), путем анализа доходить до составляющих его элементов» (Соссюр, 1977, 146; курсив наш. — П. С.).

здесь, в реальности. Однако они соответствуют некоей трансцендентной логике и способствуют проявлению скрытого порядка.

Таким образом, именно эта странная установка — одновременно и эмпиристская, и эссенциалистская (впрочем, не исключающая чрезвычайной тонкости методов выявления объектов) подсказывает сторонникам теории языкового союза мысль о том, что системные элементы могут расползаться в пространстве, как «масляное пятно», выходя за пределы систем. Языковой союз сам по себе не образует системы; фонемы у Трубецкого, а в 1930-е годы различительные признаки у Якобсона, все еще являются — в тех текстах, где речь идет о пространственном распределении «структурных признаков», — элементами субстанции, а не отношений как таковых. Как фонемы, так и различительные признаки у Якобсона и Трубецкого выступают как результат *холистского* видения, соединяющего всё в единое целое, а вовсе не системного видения структуры, при котором любое местное изменение перестраивает всю совокупность. Для них обоих языковой союз — это не структура, а целостность.

Весь парадокс, однако, в том, что плодотворной оказалась не столько соссоровская общая лингвистика, сколько пражская фонология: она подтолкнула вперед конкретное изучение и описание языков, а также вызвала перенос структурных методов на другие науки, отличные от лингвистики, — это был толчок, следствия которого еще не угадали.

## Заключение

В ходе этой работы возникали все новые и новые парадоксы: эссенциалистский структурализм, идеалистический позитивизм, языки без говорящих... Оказалось, что в понятии системы у «пражских русских» нет той однородности и единства, которых мы вправе ждать от уже сложившегося понятия. Речь идет о подвижной совокупности смыслов, которые варьируют, колеблясь вокруг терминов «синтез», «целостность», «структура», «сущность», «природа»...

Точно так же размывается и понимание отношения частей к целому: сложно решить, где собственно пролегают границы системы, критерии тут неустойчивы.

Мы попытались показать напряженность этой ситуации: с одной стороны, ничто в России (по крайней мере в том, что касается научного знания), *по сути, не отличается* от того, что происходит в Европе. С другой стороны, все эти споры об эпистемологической самобытности русской науки позволили заново поставить под вопрос наши западные претензии на универсальность или наш собственный «социоцентризм» (Л. Дюмон<sup>1</sup>).

Некоторые различия между «Востоком» и «Западом», провозглашенные «русскими пражанами», связаны скорее с различиями в сравнительной значимости тех или иных тем исследования, понятий, типов рассуждения, ценностных иерархий. Среди них, например, отказ от современности, связанный с восприятием (одновременным или запаздывающим) знаний, приходящих с «Запада». Эти сдвиги сделали возможным переход к действительно *новому* — к понятию структуры, отнюдь не *специфичному* для русской культуры научного исследования. Эта культура составляет часть, притом несправедливо непризнанную, европейской научной культуры и должна занять в ней свое место. Не существует ни «русской науки», ни «западной науки», но лишь преобладающие в обществе виды дискурсов, которые одновременно являются

---

<sup>1</sup> Дюмон 1983, 221.



и системами ценностей, попеременно опирающимися на тот или иной виток спирали (условно говоря, на Просвещение или на Романтизм).

Теперь насчет «духа места»: постараемся тут не попасть в западную, которая скрыта в самой мысли о «национальной науке». А в остальном собственно русский вклад в структурализм связан с географическим подходом к истории языков и с явно антидарвиновским течением в биологии — применительно к понятию «конвергенции» в языковых союзах у Трубецкого и Якобсона. Евразийские теории культуры и геополитики в основном родились в Западной Европе, в частности в Германии, откуда родом и теория географического детерминизма Ф. Ратцеля.

Тем самым, несмотря на принципиальное противодействие «романо-германской науке», евразийцы являются продолжателями мысли, сформировавшейся в лоне немецкой философской традиции первой трети XIX века, для которой всякое сообщество было целым, превосходящим индивидов. Евразийство стало, таким образом, метаморфозой органицизма XIX века, вернувшегося в Европу в виде ареальной лингвистики с ее геокультурными тенденциями, причем внутренняя связность этого течения мысли скреплялась одной мощной метафорой: «Народ подобен личности».

Наконец, вместо того, чтобы задаваться вопросом о самом «существовании» русской мысли или евразийской науки (это было бы данью романтической идее метафизической *уникальной* судьбы особого народа), стоило бы изучать условия производства этого дискурса, интересуясь не столько тем, существует ли «особый» русский мир, сколько прежде всего тем, почему так много людей в России в этом убеждены.

То, что Якобсон считал оппозицией между Востоком и Западом, фактически оказывается конфликтом между двумя следовавшими друг за другом эпистемами — рациональным аналитизмом Просвещения и синтетической наукой Романтизма. Для Г. Гусдорфа это неразрешимый конфликт между двумя несовместимыми перспективами, «радикальный переворот в интеллектуальной конъюнктуре»<sup>2</sup>. Однако переход от метафоры организма в немецком романтизме к понятию целостности, а потом и структуры у Якобсона и Трубецкого доказывает, что говорить о смене парадигм, об «эпистемологическом разрыве» в лингвистике (и шире — в гуманитарных и социальных науках) можно

<sup>2</sup> Гусдорф 1993, т. 1, 198.

лишь с осторожностью. Происходит скорее медленное преобразование — с попятными шагами, с перетолкованиями, с недоразумениями, со сменой смысла слов, со смещениями центров внимания и образцов для подражания.

Тем самым мы смогли присутствовать при рождении теории и увидеть, как понятие *структуры* постепенно вычленилось из господствующего дискурса о *целостности*. Хотя русская (и советская) лингвистика не является «особой» наукой, однако она не вполне тождественна западной науке. Тождественное и различное выступают скорее как два полюса, к которым можно лишь косвенно приближаться. Между этими двумя полюсами есть место для постепенного перехода, саму возможность которого бинарный тип мышления даже не замечает.

Мы также видели, что хотя структурализм русских пражан полностью соответствует *духу времени*, он вовсе не безразличен к русскому *духу места*. Это расплывчатое понятие — «*дух места*» (места, которое находится одновременно и внутри Европы и вне ее) — позволяет нам поставить вопрос об отношениях частей к целому в европейской науке. Ведь пражский структурализм находится не на окраине европейской науки, а как раз в самом ее центре.

Наконец, мы смогли убедиться в том, что куновское понятие парадигмы с трудом применимо к этому типу объекта, зависящему одновременно и от пространства, и от времени. Структурализм русских пражан живет поступательно-возвратным движением: несмотря на все отказы и отрицания (ср.: «лингвистика есть общественная наука»), он опирается на органицистские понятия, предшествовавшие даже младограмматикам, и применяет их для подступа к современному понятию структуры.

Структурализм не только имел сложную предысторию (разрывы с прошлым здесь гораздо менее четки, чем утверждали главные участники движения): в некоторых его вариантах, в частности у пражских русских, заметны и пережитки прежней эпистемы. Вспомним слова Якобсона из некролога Трубецкому: «Он был в душе историком». Можно только удивляться тому, что так мало ученых на «Западе» приняли подобные утверждения всерьез.

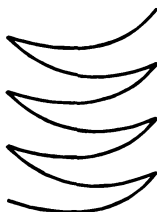
Теория парадигм плохо приспособлена к истории лингвистических идей. С одной стороны, оказывается, что в течение долгого периода совершенно различные парадигмы сосуществуют, не отменяя друг друга полностью. Бывает и так, что парадигмы не отвергают, а просто

не замечают друг друга. Кроме того, одни парадигмы, школы, движения, тенденции могут включать в себя отдельные части других, переосмысливая и по-новому используя их.

Именно это и произошло с пражским структурализмом. В критике прежней парадигмы ему пришлось опереться на более раннюю натурфилософскую парадигму или даже на неоплатонизм с его философией Целого, чтобы продвинуться вперед, к идее структуры. Утверждая нечто прямо противоположное, Якобсон и Трубецкой используют натуралистический ход мысли для обоснования «общественной» науки.

Якобсон и Трубецкой не были ни натурфилософами, ни «католиками-консерваторами», однако они опирались на способ мысли, характерный для философских и идеологических течений, отвергавших сам дух Просвещения, а также на определенный способ работы в биологии, чтобы по-своему принять участие в структуралистском движении, подвергая себя (подчас осознанно) опасности недоразумений, мнимых согласий и ложных союзов. Важно, однако, что эта бурная череда недоразумений все равно привела к изобретению фонологии, которая — при всей противоречивости ее первоначал — смогла стать наукой, принимаемой учеными самых разных «идеологических» ориентаций.

Если заняться изучением предыстории, периода вызревания пражского структурализма в истории идей первой трети XIX века, мы увидим, что найти здесь линию непрерывной эволюции невозможно<sup>3</sup>. Однако и акцент на чистой прерывности, на «эпистемологическом разрыве» между прошлым и настоящим, при котором возврат к предыдущему был бы уже невозможен, вряд ли может нас удовлетворить. Тут больше подошла бы модель *катастроф* Р. Тома или образ кулачной шайбы из автомобильного мотора, используемый А. Кюльоли. Мы предлагаем здесь модель маятника, который каждый раз возвращается в исходную точку на более высоком уровне.



<sup>3</sup> Так считает Пёрсивал (см.: Пёрсивал 1969).

Здесь следовало бы говорить не собственно о разрыве, но о поступательно-возвратных движениях, о зигзагах и вообще — о непрерывных формопреобразованиях. Все это, пожалуй, не подвергает сомнению эпистемологию башляровского типа, но приводит к ее усложнению: область исследований включается в перспективу «долгих длительностей», «протяженного времени».

С этой точки зрения, Якобсон и Трубецкой, погруженные в эту причудливую смесь блестящих озарений и сковывающей приверженности если и не субстанциалистским, то по крайней мере натуралистским и биологицистским идеям, оказываются — каждый на свой лад — посредствующими звеньями в неспешном преобразовании органицистской парадигмы в структуралистскую парадигму. Их взгляд на глобальные системы отмечает противоречивый этап неуверенного движения к тому, что Э. Морен шестьдесят лет спустя назовет «сложной мыслью» (*pensée complexe*). Но они еще заморожены замкнутостью своей системы, и потому не могут думать о ее сложной открытости. Речь у них идет о замкнутой целостности. Но ведь сложность и целостность — не одно и то же. Они догадывались о сложности реального («все взаимосвязано»), однако эта мысль была столь новой и смелой, что им приходилось опираться на еще живые, но уже развенчанные натурфилософские теории; в свою очередь это привело их к понятию онтологической простоты (гармония и равновесие), а вовсе не к методологии системного исследования. В их творчестве мы находим сплетение различных форм научной рациональности с традиционными верованиями, с метафизическими представлениями, с поиском нематериальных сущностей и онтологическими устремлениями. Перед нами сосуществование, со-бытие двух способов мысли: несубстанционально-релятивного, с акцентом на отношениях и оппозициях, и натурально-онтологического, с акцентом на предустановлении, телеологии, внутренней логике. У Якобсона и Трубецкого язык — это субъект (ср.: «субъект эволюции»). Тем самым они одновременно и плетутся сзади (органицизм), и забегают вперед (фонология как наука о невещественном). В их определениях языковых единиц чувствуется постоянное напряжение между субстанциональным и несубстанциональным. Во всяком случае, язык никогда не был у них точкой зрения, результатом конструктивной работы исследователя, он никогда не противопоставлялся речи, как объект познания реальному объекту.

Утверждение Якобсона о том, что новая наука должна называться структурализмом, следует понимать не в духе Соссюра, но в перспективе *онтологического структурализма*. Однако не стоит возводить непроходимые барьеры между концепциями. Эти два различных понимания структуры — пражское и женеvское — имели между собою достаточно много общего: их плодотворным синтезом стала, например, концепция А. Мартине.

Понятие структуры опирается на романтическую критику атомизма, анализа, разделения, соположения и проч. Понятие целостности — это этап на пути к структуре. Однако в отличие от органицистского понятия целостности элемент структуры абстрактен (фонема как пучок различительных признаков): он не может мыслиться как часть организма. Целостность становится эпистемологическим препятствием (в башляровском смысле), которое никогда не было полностью преодолено в Пражском лингвистическом кружке. Биологическая метафора тоже выступает как эпистемологическое препятствие — особенно когда она не осознается, но все равно скрыто присутствует, несмотря на все опровержения. Это препятствие с трудом и по-разному преодолевалось в 20-е и 30-е годы в разных научных сообществах, движениях, школах. Однако это изменение подчас оставалось незаметным из-за того, что одни и те же слова употреблялись разными школами в разном смысле. Так, слово «органический» вполне может быть просто метафорой, удобством выражения, которое в общем-то никому и не мешает. Но если язык оказывается «субъектом эволюции», происходит слом: тут *метафора* встает на дыбы и становится *препятствием*. Это препятствие постепенно преодолевалось, хотя при этом возникали неясности и недоразумения.

Но что же можно сказать о целостности, кроме того, что это — всё (тавтологическое заклинание в чистом виде)? Понятие целостности сможет превратиться в средство открытия нового лишь тогда, когда оно будет относиться уже не к объекту, а к нашему знанию об объекте, когда оно перестанет быть нагромождением разнородных элементов и станет чистой *точкой зрения*, отрицательным определением элементов.

То же самое происходит и с натуралистической точкой зрения: в евразийской науке, этой лингвистической экологии, вещи движутся сами по себе, внутри заранее определенных пространств. Однако, автаркия не естественна (не существует такой области, которая была бы

автаркической «по призванию»): определение этой зоны самодостаточности само неопределенно, а потому и произвольно: оно меняется в зависимости от потребностей людей, которые в ней живут или хотели бы в ней жить.

Таким образом, понятие органической целостности оказывается *одновременно* и эпистемологическим препятствием, и необходимым подступом к понятию структуры (через посредство понятия системы).

Фактически органицистская модель переживает кризис, она подорвана новой зарождающейся моделью — системы, а затем и структуры. «Эпистемологическое препятствие» — это субстанциалистский холизм, а вовсе не структурализм оппозиций и отрицательно определяемых языковых единиц.

То, что на самом деле произошло в лингвистике, сильно отличается от первоначальных намерений Якобсона и Трубецкого. То, что они выдавали за эпистемологическое достижение, было отказом от современности. Но само это достижение было вполне реальным: оно свершилось как бы независимо от их воли и сознания. В поисках Индии они открыли Америку.

## Приложение

6-й тезис из «Тезисов 1929 года»<sup>1</sup> о лингвистической географии. Отметим, что тема параграфов а) и б) отлична от темы параграфов в) и г): с одной стороны, речь идет о взаимосвязях между изоглоссами, с другой—о соответствии между лингвистическими и антропологическими фактами. По утверждению Н. П. Савицкого<sup>2</sup>, два последние параграфа были написаны его отцом, географом П. Н. Савицким.

В своей библиографии Якобсона<sup>3</sup> С. Руди поставил авторство 6-го тезиса под вопрос.

### Основы лингвистической географии, их применение и отношение к этнографической географии на славянской территории

а) *Определение пространственных [или временных] границ между фактами различных языков есть необходимый рабочий прием географа-лингвиста [или историка языка], однако мы не должны превращать этот рабочий прием в самоцель при построении теории.*

Не следует видеть в пространственном распространении языковых фактов анархию отдельных независимых изоглосс. *Сравнение изоглосс друг с другом показывает, что некоторые из них могут быть связаны в пучки*, что позволяет определить как источник, или центр, распространения группы лингвистических нововведений, так и периферийные области этого распространения.

Изучение изоглосс, перекрывающих друг друга, показывает, какие языковые явления *закономерно связаны друг с другом.*

---

<sup>1</sup> Travaux du Cercle linguistique de Prague, 1, 1929; рус. пер. в сб.: Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967, 34—36 (с нашими уточнениями.—Н. А.).

<sup>2</sup> Савицкий 1991, 97.

<sup>3</sup> Руди 1990, 12.

Наконец, сравнение изоглосс есть условие постановки основной проблемы лингвистической географии, а именно проблемы *научного определения лингвистических ареалов* или же разделения области распространения языка на зоны согласно наиболее плодотворным принципам такого деления.

б) Если ограничиться фактами, входящими в языковую систему, то можно констатировать, что *изолированные изоглоссы являются, так сказать, фикциями*, так как явления внешне тождественные, но принадлежащие двум разным системам могут иметь разные функции (например *i*, по видимости, тождественное в разных украинских диалектах, может иметь разную фонологическую значимость; в тех диалектах, где согласные смягчаются перед *i < o*, звуки *i* и *ï* являются вариантами одной и той же фонемы, там же, где они не смягчаются, они представляют две разные фонемы).

Лингвистическое истолкование изолированных изоглосс невозможно, потому что языковое явление как таковое, а также его происхождение и его распространение не могут быть поняты вне учета системы.

в) Подобно тому, как в истории языка допустимо сопоставление разнородных эволюционных явлений, так и *территориальное распространение лингвистических явлений может быть сопоставлено с другими географическими изолиниями*, в особенности с антропогеографическими (границы распространения явлений, относящихся к экономической и политической географии или к материальной и духовной культуре), а также с изолиниями физической географии (изолинии почвы, растительности, климата, геоморфологические явления).

При этом не следует пренебрегать конкретными условиями существования того или иного географического явления; так, например, сопоставление лингвистической географии с геоморфологией, необычайно плодотворное в условиях Европы, на восточнославянской территории имеет значительно меньшее значение, чем сопоставление изоглосс с климатическими изолиниями. Сопоставление изоглосс с другими антропогеографическими изолиниями возможно как с точки зрения синхронической, так и с точки зрения диахронической (данные исторической географии, археологии и др.), однако эти две различные точки зрения не должны смешиваться.

*Сопоставление разнородных систем может быть плодотворным только в том случае, если сравниваемые системы рассматриваются как эквива-*



---

*лентные*; если же установить между ними механическую причинную связь и выводить явления одной системы из явлений другой, то синтетическое сочетание данных окажется искаженным, а научный синтез будет подменен односторонним суждением.

г) При составлении карты языковых или этнографических явлений следует учитывать, что их распространение не покрывает области генетически родственных явлений языкового или этнического порядка и нередко занимает более обширную территорию.

## Библиография

Actes 1928: Actes du I<sup>er</sup> Congrès international des linguistes (La Haye, 10—15 avril 1928). Leiden: Sijthoff's.

Адамски 1992: *Adamski D.* La personologie du prince N. Troubetzkoy et ses développements dans l'oeuvre de R. Jakobson // *Langages*, 107. 62—68.

Адлер 1990: *Adler J.* Goethe's use of chemical theory in his «Selective Affinities» // Каннингем, Джардин. 1990. 263—279.

Алексеев 1934а: *Alekseev N. N.* (Alexejew). Geschichte und heutiger Zustand der eurasischer Bewegung // *Orient und Occident*, 17. Leipzig. 1—6.

Алексеев 1934б: *Alekseev N. N.* Die geistigen Voraussetzungen der eurasischen Kultur // *Orient und Occident*, 17. Leipzig. 20—30.

Алехин 1936: *Алехин В. В.* Растительность СССР // Основы ботанической географии. М.; Л.

Алпатов 1991: *Алпатов В. М.* История одного мифа, Миф и марризм. М.: Наука.

Ансель 1939: *Ancel J.* Geographie des frontières. Paris: Gallimard.

Ансель 1992 (1930): *Ancel J.* Peuples et nations des Balkans. Paris: Armand Colin, 1930 (rééd. Paris: CTHS, 1992).

Асколи 1874: *Ascoli G. I.* Schizzi franco-provenzali // *Archiv. glott. ital.* T. 2. 61—120.

Асколи 1887: *Ascoli G. I.* Sprachwissenschaftliche Briefe. Leipzig.

Баджони 1986: *Baggioni D.* Langue et langage dans la linguistique européenne (1876—1933). Lille: Atelier national de reproduction des thèses.

Банер 1984: *Bahner W.* La notion de paradigme est-elle valable quant à l'histoire des sciences du langage? // *Matériaux pour une histoire des théories linguistiques*. Lille: Presses Universitaires de Lille. 23—30.

Бартоли 1928: *Bartoli M.* Proposition 20 // Actes du I<sup>er</sup> Congrès international des linguistes (La Haye). Leiden: Sijthoff's. 32.

Бассин 1991: *Bassin M.* Russia Between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space // *Slavic Review*, 1. 1—17.

Бастиан 1868: *Bastian A.* Beiträge zur vergleichenden Psychologie.

Беккер 1932: *Becker C. L.* The Heavenly City of the 18<sup>th</sup>-Century Philosophers. New Haven: Yale Univ. Press.

Беккер 1948: *Becker H.* Der Sprachbund. Leipzig: Gerhardt Mindt.

Бенвенист 1966: *Benveniste E.* Problèmes de linguistique générale. I. Paris: Gallimard; рус. пер.: *Общая лингвистика*. М.: Прогресс, 1974.

Бенетон 1975: *Beneton Ph.* Histoire de mots: culture et civilisation. Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.

- Бенуа 1974—1975: *Benoist A. de. Culture/Civilisation // Nouvelle Ecole*, 25—26, hiver 1974—75. 85—109.
- Берг 1922: *Берг А. С. Номогенез, или эволюция на основе закономерностей*. Пг.: Гос. изд-во.
- Бердяев 1920: *Бердяев Н. А. Смысл истории* (переизд. М.: Мысль, 1990).
- Бердяев 1924: *Бердяев Н. А. Константин Леонтьев: Очерки из истории русской религиозной мысли*. Париж.
- Бердяев 1925: *Бердяев Н. А. Евразийцы // Путь*, 1. Париж. 134—139.
- Берлин 1976: *Berlin I. Vico and Herder: Two studies in the history of ideas*. London: Hogarth.
- Берлин 1977: *Berlin I. Counter-enlightenment // Dictionary of the History of Ideas*. Т. I. New York: Scribner. 100—112.
- Берлин 1992: *Berlin I. Joseph de Maistre and the origins of fascism // The Crooked Timber of Humanity (Chapters in the History of Ideas)*. New York: Vintage Books. 91—174.
- Бёсс 1961: *Böss O. Die Lehre der Eurasier: Ein Beitrag zur russischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts*. Wiesbaden: O. Harrassowitz.
- Блур 1991: *Bloor D. Knowledge and Social Imagery*. Chicago: Univ. Press.
- Боден 1576: *Bodin J. La République*.
- Бодло 1971: *Baudelot C. Introduction // Сепир* 1971.
- Бодуэн де Куртенэ 1901: *Бодуэн де Куртенэ И. А. О смешанном характере всех языков // Журнал Мин-ва народного просвещения*. №337, сентябрь (переизд. в: Бодуэн де Куртенэ 1963. Т. 1. 362—372).
- Бодуэн де Куртенэ 1902: *Бодуэн де Куртенэ И. А. Сравнительная грамматика славянских языков в связи с другими языками (1901—1902)*. СПб. (литогр.).
- Бодуэн де Куртенэ 1963: *Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т.* М.: АН СССР.
- Бонфанте 1947: *Bonfante G. The neolinguistic position // Language*. Vol. 23.
- Боровков 1935: *Боровков А. К. Очерки карачаево-балкарской грамматики // Языки Северного Кавказа и Дагестана*. М.; Л.
- Брейер 1996: *Brewer S. Anatomie de la révolution conservatrice*. Paris: Ed. de la Maison des sciences de l'homme.
- Брэн 1936: *Brun A. Linguistique et peuplement, essai sur la limite entre les parlers d'Oïl et les parlers d'Oc // Revue de linguistique romane*. Т. 12. 165—251.
- Бренгье, Туртулон 1876: *Bringuier O., de Tourtoulon Ch. Etude sur la limite géographique de la langue d'oc et de la langue d'oïl // Archives des Missions scientifiques et littéraires*. 3<sup>e</sup> série. Т. 3, Paris: Imp. nationale.
- Брёндаль 1935: *Brøndal V. Structure et variabilité des systèmes morphologiques // Scientia*. Aôut.
- Бринкат 1986: *Brincaat G. La linguistica prestrutturale*. Bologna: Zanichelli.
- Бромберг 1931: *Бромберг Я. А. Запад, Россия и еврейство: Опыт пересмотра еврейского вопроса*. Прага: Евразийские издания.

- В. Т. 1927: *В. Т.* Понятие Евразии по антропологическому признаку // Евразийская хроника, 8. Париж. 26—31.
- Вайнрайх 1958: *Weinreich U.* On the Compatibility of Genetic Relationship and Convergent Development // *Word*, 14, 2—3. 374—379.
- Ваккернагель 1904: *Wackernagel J.* Sprachtausch und Sprachmischung // *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Geschäftliche Mitteilungen*. Göttingen.
- Валицкий 1974: *Walicki A.* L'idée de progrès dans la pensée russe au XIX<sup>e</sup> siècle (1) // Россия = Russia. Torino: Einaudi, 1. 41—90.
- Валицкий 1975: *Walicki A.* L'idée de progrès dans la pensée russe au XIX<sup>e</sup> siècle (2) // Россия = Russia. Torino: Einaudi, 1. 130—161.
- Валицкий 1990: *Walicki A.* A History of Russian Thought, from the Enlightenment to Marxism. Stanford (Calif.): Univ. Press; (впервые: 1979).
- Валлуа 1976: *Vallois H.* Les races humaines «Que sais-je?» (впервые: 1941).
- Ван Гиннекен 1935: *Van Ginneken J.* Influenza reciproca dei linguaggi come causa d'innovazione // *Atti del III congresso internazionale dei linguisti (Roma, 19—26 settembre 1933)* / Migliorini B., Pisani V. (ed.). Firenze: Le Monnier. 29—47.
- Вандриес 1920: *Vendryes J.* Le langage, introduction linguistique à l'histoire. P.: Armand Colin; (перезд.: 1974); рус пер: Язык. М.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1937.
- Венкер 1881: *Wenker G.* Deutscher Sprachatlas. 1. Teil. Strasbourg.
- Видадь Делаблаш 1922: *Vidal de la Blache P.* Principes de géographie humaine. Paris.
- Виель 1984: *Viel M.* La notion de marque chez Troubetzkoy et Jakobson: Un épisode de la pensée structurale. Paris: Didier Erudition.
- Виноградов 1945: *Виноградов В. В.* Великий русский язык. М.: Гос. изд-во худож. лит.
- Волошинов 1929: *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка. Л.: Прибой.
- Врубель 1936: *Врубель С.* Учение Н. Я. Марра о глоттогоническом процессе // Всесоюзный ЦК Нового алфавита Н. Я. Марра. М.
- Вусинич 1988а: *Vucinich A.* Darwin in Russian Thought. Berkeley: Univ. of California Press.
- Вусинич 1988б: *Vucinich A.* Russia: Biological Sciences // T. F. Glick (ed.). The Comparative Reception of Darwinism. Chicago: The Univ. of Chicago Press. 227—255.
- Гавранек 1933: *Havránek B.* Zur phonologischen Geographie (das Vokalsystem des balkanischen Sprachbundes // *Archives néerlandaises de phonétique expérimentale*. Vol. 8—9.
- Гаде 1995: *Gadet F.* Jakobson sous le pavillon saussurien // *Arrivé M.*, Normand Cl. (éd.). Saussure aujourd'hui. (Linx, numéro spécial). 449—459.
- Гаспаров 1987: *Gasparov V.* The Ideological Principles of Prague School Phonology // *Поморска и др.* 1987. 49—78.
- Гёте 1806: *Goethe J. W.* Zur Farbenlehre // *Die Schriften zur Naturwissenschaft*. Abt. 2. Bd. 4. Weimar, 1973.

- Гёте 1809: *Goethe J. W.* Die Wahlverwandschaften (trad. franç.: Paris: Folio-Gallimard, 1996).
- Глик 1975: *Glick Th. F.* (ed.). The Comparative Reception of Darwinism; (цит. по 2-му изд.: The Univ. of Chicago Press, 1988).
- Гоша 1903: *Gauchat L.* Gibt es Mundartgrenzen? // Archiv für das Studium neueren Sprachen und Literaturen, 111. Braunschweig. 365—403.
- Грамши 1966 (1929—1930): *Gramsci A.* Cahiers de prison (1—5). Paris: Gallimard.
- Гримм 1822: *Grimm J.* Deutsche Grammatik, 1. Göttingen: Dieterich'sche Buchhandlung.
- Гумбольдт 1845—1862: *Humboldt A. von.* Kosmos: Entfünf einer physischen Weltbeschreibung. Stuttgart; Tübingen: J. G. Gotta'scher Verlag.
- Гумилев 1993: *Гумилев Л. Н.* Ритмы Евразии. М.; Прогресс-Пангейя.
- Гусдорф 1993: *Gusdorf G.* Le romantisme. En 2 vol. P.: Payot.
- Данилевский 1869: *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа, взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб.; (перезд.: СПб.: Глагол, 1995).
- Данилевский 1885: *Данилевский Н. Я.* Дарвинизм: критическое исследование: В 2-х т. СПб.: Комаров.
- Де Мауро 1979: *De Mauro T.* Notes // *Saussure F. de.* Cours de linguistique générale. Paris: Payot.
- Дезер, Пайяр 1994: *Desert M., Paillard D.* Les eurasiens revisités // Revue des Etudes slaves, 56 (1). 73—86.
- Делеаж 1992: *Deléage J.-P.* Histoire de l'écologie. Paris: La Découverte.
- Деме 1996: *Desmet P.* La linguistique naturaliste en France (1867—1922). Louvain: Peeters.
- Доза 1906: *Dauzat A.* Essai de méthode linguistique dans le domaine des langues et des patois romans. Paris: Champion.
- Доза 1922: *Dauzat A.* La géographie linguistique. Paris: Flammarion.
- Докучаев 1883: *Докучаев В. В.* Русский чернозем. СПб.
- Дорошенко 1928: *Дорошенко Д. И.* К украинской проблеме, по поводу статьи Н. С. Трубцекого // Евразийская хроника, 10. Париж. 41—51.
- Досс 1991: *Dosse F.* Histoire du structuralisme. Т. 1—2. Paris: Découverte.
- Дрезен 1926: *Дрезен Э. К.* Язык—орудие связи. Его развитие // На путях к международному языку. М.; Л.: Земля и фабрика.
- Дюбуа и др. 1973: *Dubois J. et al.,* Dictionnaire de linguistique. Paris: Larousse.
- Дюкро, Шеффер 1995: *Ducrot O., Schaeffer J.-M.* Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris: Seuil.
- Дюмон 1985: *Dumont L.* Essais sur l'individualisme. Paris: Seuil.
- Евразийство 1926: Евразийство: Опыт систематического изложения. Париж: Издание евразийцев (перезд.: Пути Евразии. М.: Русская книга, 1992. 347—415).
- Евразия 1931: Евразия в свете языкознания. Прага: Издание евразийцев.
- Есперсен 1894: *Jespersen O.* Progress in language with special reference to English. London: Sonnenschein.

- Жакоб 1976: *Jacob A.* Introduction à la philosophie du langage. Paris: Gallimard.
- Зеленин 1929: *Зеленин Д. К.* Табу слов и народов восточной Европы и северной Азии, 1. Отд. отт. // Сборник музея Антропологии и Этнографии, 8. Л.
- Зеньковский 1955: *Зеньковский В. В.* Русские мыслители и Европа: Критика европейской культуры у русских мыслителей. Париж: YMCA-Press.
- Зумпф 1972: *Sumpf J.* Les traits principaux de la tradition linguistique française // *Langue française*, 14. 70—98.
- Зюсс 1885—1909: *Suess E.* Das Antlitz der Erde. 4 Bd. Wien; Leipzig: Tempsky.
- Иванов 1991: *Ivanov V. V.* Preface // *Либерман 1991а*. XIII—XIX.
- Ивич 1970: *Ivić M.* Trends in Linguistics. The Hague: Mouton.
- Ипполит 1883: *Hypolite J.* Introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel. Paris: Seuil.
- Исаченко 1934: *Isačenko A. V.* Der eurasischer Sprachbund // *Orient und Occident*, 17. 30—34.
- Казнина 1995: *Казнина О. А. Н. С.* Трубецкой и кризис евразийства // *Славяноведение*. № 4. 89—95.
- Кальве 1974: *Calvet L.-J.* Linguistique et colonialisme. Paris: Payot.
- Кальве 1977: *Calvet L.-J.* Marxisme et linguistique. Paris: Payot.
- Кампру 1979: *Camproux Ch.* Les langues romanes. Paris: PUF.
- Каннингем, Джардин 1990: *Cunningham A., Jardine N.* Romanticism and the Sciences. Cambridge: Univ. Press.
- Кардона 1988: *Cardona G. R.* Dizionario di linguistica. Rome: Armando.
- Charisteria 1932: *Charisteria Guilelmo V.* Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli Linguistici oblata. Prague.
- Карташев 1922: *Карташев А. В.* Реформа, реформация и исполнение Церкви // *На путях: Утверждение евразийцев*. М.; Берлин: Геликон. 27—98.
- Кассирер 1945: *Cassirer E.* Structuralism in Modern Linguistics // *Word*. Vol. 1 (2). 99—120.
- Каттен 1996: *Cattin A.* Thomas Mann: La langue de l'exil // *P. Sériot (éd.). Langue et nation en Europe centrale et orientale. Cahiers de l'ILSL*, 8 (Lausanne). 21—32.
- Кацнельсон 1985: *Кацнельсон С. Д.* История типологических учений // *Грамматические концепции в языкознании XIX века*. М.: Наука.
- Кёрнер 1975: *Koerner E. F. K.* European Structuralism: Early Beginnings // *Current Trends in Linguistics*. Vol. 13: Historiography. La Hague; Paris: Mouton. 717—827.
- Кёрнер 1976а: *Koerner E. F. K.* The Importance of Linguistic Historiography // *Foundations of Language*, 14 (4). 541—547; (переизд.: *Selected Essays*. Amsterdam: John Benjamins, 1978).
- Кёрнер 1976б: *Koerner E. F. K.* Towards a Historiography of Linguistics. 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> Century Paradigms // *Папе 1976*. 685—718.
- Кёрнер 1978: *Koerner E. F. K.* Towards a Historiography of Linguistics // *Selected Essays*. Amsterdam: John Benjamins.
- Кёрнер 1982а: *Koerner E. F. K.* Positivism in Linguistics // *Lacus Forum*, 8. 82—99.

Кёрнер 1982б: *Koerner E. F. K. Positivism in Linguistics // Sprachwissenschaft*, 7, 359—377.

Кёрнер 1982в: *Koerner E. F. K. Positivism in Nineteenth-Century Linguistics // Rivista di Filosofia*, 22—23. 170—191.

Кизеветтер 1928—1929: *Кизеветтер А. А. Евразийство и наука // Slavia*, 6 (Prague). 426—430.

Клайн 1955: *Kline G. L. Darwinism and the Russian Orthodox Church // Continuity and Change in Russian and Soviet Thought. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press.*

Клейнер 1985: *Клейнер Ю. А. Н. С. Трубецкой: биография и научные взгляды // Kalbotyra (Vilnius)*, XXXV (3). 98—109.

Койре 1971: *Koyré A. Etudes d'histoire de la pensée philosophique. Paris: Gallimard.*

Косса 1997: *Caussat P. Du libre et du lié dans les références doctrinales et nominales de Jakobson et Troubetzkoy // F. Gadet et P. Sériot (éd.). Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915—1939. Cahiers de l'ILSL*, 9 (Lausanne). 21—32.

Косса и др. 1996: *Caussat P. et al. La langue, source de la nation. Liège: Mardaga.*

Кристал 1992: *Crystal D. Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. Oxford: Blackwell.*

Кристи 1983: *Christy T. C. Uniformitarianism in Linguistics. Amsterdam (Philadelphia): J. Benjamins.*

Кун 1970: *Kuhn Th. S. The Structure of Scientific Revolutions (International Encyclopedia of Unified Science, 2, 2). Chicago: Univ. Press; рус. пер.: Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1970.*

Лавров 1993: *Лавров С. Б. Л. Н. Гумилев и евразийство // Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М.: Прогресс-Пангея. 7—19.*

Лаланд 1993: *Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris: PUF (1<sup>re</sup> éd., 1926).*

Ламанский 1892: *Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб.*

Лафарг 1894: *Lafargue P. La langue française avant et après la révolution // L'ère nouvelle, janvier-février; (цит. по: Кальве 1977).*

Леви-Стросс 1985: *Lévi-Strauss Cl. Anthropologie structurale. Paris: Press Pocket (1<sup>re</sup> éd.: Paris: Plon, 1958).*

Леонтьев 1912: *Леонтьев К. Н. Собрание сочинений. СПб.*

Лепски 1976: *Lepschy G. La linguistique structurale. Paris: Payot.*

Лермит 1987: *L'Hermitte R. Marr, marrisme, marristes (Science et perversion idéologique). Paris: IES.*

Лескин 1876: *Leskien A. Die Deklination im Slavisch-Litauischen und Germanischen. Leipzig.*

Лешка 1953: *Лешка О. К вопросу о структурализме (две концепции грамматики в Пражском лингвистическом кружке) // Вопросы языкознания*, 5. 88—103.

Либерман 1991а: *Liberman A. (ed.). N. S. Trubetzkoy: The Legacy of Genghis Khan and Other Essays on Russia's Identity. Ann Arbor: Michigan publications.*

Либерман 19916: *Liberman A. N. S. Trubetzkoy and His Works on History and Politics* // *ibid.* 295—375.

Лингвистический... (1990): Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия.

Ллойд 1996: *Lloyd G. E. R. Pour en finir avec les mentalités.* Paris: La Découverte.

Логовиков 1931а: *Логовиков П. В.* (псевдоним Савицкого). Научные задачи евразийства // Тридцатые годы. Сб. 1. Издание евразийцев. 53—63.

Логовиков 1931б: *Логовиков П. В.* (псевдоним Савицкого). Власть организационной идеи // Тридцатые годы. Сб. 1. Издание евразийцев.

Лора 1951: *Laurat L. Staline, la linguistique et l'impérialisme russe.* Paris: Les îles d'or.

Лоренс 1957: *Lawrence Th. The Linguistic Theories of N. Ja. Marr.* Berkeley: Univ. of California Press.

Любинский 1931: *Lubinskij S.* (псевдоним Савицкого). Bibliographie de l'eurasisme // *Le Monde slave*, 1. 388—421.

Майр 1989: *Mayr E. Histoire de la biologie.* 2 vol., Paris: Fayard (ориг. изд.: *The Growth of Biological Thought.* Cambridge: Harvard Univ. Press, 1982).

Макаев 1972: *Макаев Е. А.* О соотношениях генетических и типологических критериев при установлении языкового родства // *Энгельс и языкознание.* М.: Наука. 290—309.

Макиндер 1904: *Mackinder J. The Geographical Pivot of History* // *The Geographical Journal*, 23, 4, 1. 421—443.

Макмастер 1967: *McMaster R. E. Danilevsky. A Totalitarian Philosopher,* Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

Мальдиёе и др. 1972: *Maldidier D., Normand Cl., Robin R. Discours et idéologie: quelques bases pour une recherche* // *Langue française*, 15. 116—142.

Манн 1915—1918: *Mann Th. Considérations d'un apolitique.*

Манчак 1970: *Mańczak W. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego.* Warszawa, Ossolineum.

Марр 1920: *Марр Н. Я.* Племенной состав населения Кавказа. Петроград.

Марр 1924: *Марр Н. Я.* Об яфетической теории // *Новый восток.* 303—339.

Марр 1927а: *Марр Н. Я.* Предисловие к яфетическому сборнику. Т. 5 // *Избранные работы*, т. 1, 1933. 249—253.

Марр 1927б: *Марр Н. Я.* Значение и роль изучения нацменьшинства в краеведении // *Краеведение*, 1. 1—20.

Марр 1929: *Марр Н. Я.* Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком? // *Языковедение и материализм.* Л. 1—56.

Марр 1931: *Марр Н. Я.* Язык и мышление. М.; Л.

Марр 1933—1936: *Марр Н. Я.* Избранные работы (ИР); т. 1: 1933; т. 2: 1936; т. 3: 1934; т. 4: 1937; т. 5: 1935.

Мартине 1955: *Martinet A. Economie des changements phonétiques.* Berne: Francke.



- Мартине 1959: *Martinet A.* Affinités linguistiques // *Bolliteno dell' Atlante linguistico mediterraneo*, 1. Venise; Rome. 145—152; цит. по: Мартине 1975.
- Мартине 1965: *Martinet A.* La linguistique synchronique. Paris: PUF.
- Мартине 1968: *Martinet A.* Préface // *Le langage*. Paris: Encyclopédie de La Pléiade. VII—XII.
- Мартине 1975: *Martinet A.* Evolution des langues et reconstruction. Paris: PUF.
- Марузо 1951: *Marouzeau J.* Lexique de la terminologie linguistique. Paris: Geuthner; рус. пер.: Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М., 1960.
- Матезиус 1925: *Mathesius V.* Česká věda // *Kulturní aktivismus*. Prague: Volesky. 85—91.
- Матезиус 1931: *Mathesius V.* La place de la linguistique fonctionnelle dans le développement général des études linguistiques // *Časopis pro moderní filologii*, 18. 1—17.
- Матейка 1987: *Matejka L.* (ed.) Sound, Sign and Meaning: Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle. Ann Arbor: Michigan Slavic Contributions.
- Ме́йе 1903: *Meillet A.* Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique. Vienne.
- Ме́йе 1918: *Meillet A.* Convergence des développements linguistiques // *Revue philosophique*. Т. 85, février (перепеч. в: *Linguistique historique et linguistique générale*. Paris, 1975. 61—75).
- Ме́йе 1921: *Meillet A.* Les parentés de langue // *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*, 21 (66). 9 и сл.
- Ме́йе 1926а: *Meillet A.* Linguistique historique et linguistique générale. Т. 1. Paris: Champion.
- Ме́йе 1926б: *Meillet A.* Le problème de la parenté des langues // *Linguistique historique et linguistique générale*. Т. I, Paris: Champion. 76—101.
- Ме́йе 1928: *Meillet A.* [Рец. на: Трубецкой 1927г] // *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*, 28. 51—52.
- Ме́йе 1929: *Meillet A.* Compte-rendu de la séance du 18 février 1928 // *Bulletin de la société de linguistique de Paris*, 29, fasc. 3. XVI—XVII.
- Ме́йе 1931а: *Meillet A.* [Рец. на: Якобсон 1931а] // *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*, 32, fasc. 2. 7—8.
- Ме́йе 1931б: *Meillet A.* Рец. на: *Travaux du Cercle linguistique de Prague*, 4 // *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*, 32, fasc. 3, 13.
- Ме́йе, Коэн 1924: *Meillet A., Cohen A.* Les langues du monde. Paris: Champion.
- Мейер 1875: *Meyer P.* Рец. на: *Ascoli 1874* // *Romania*, 24. 529—575.
- Менделеев 1906: *Менделеев Д. И.* К познанию России. С приложением карты России. СПб.
- Местр де 1980: *Maistre J. (de).* Les soirées de Saint-Pétersbourg ou entretiens sur le gouvernement temporel de la providence. Paris: Ed. de Maisnie (впервые: 1821).
- Мещанинов 1929: *Мещанинов И. И.* Введение в яфетидологию. Л.: Прибой.
- Мещанинов 1949: *Мещанинов И. И.* К истории отечественного языкознания. М.
- Мильнер 1978: *Milner J.-Cl.* L'amour de la langue. Paris: Seuil.

Мильтнер 1982: *Milner J.-Cl.* A. R. Jakobson, ou le bonheur par la symétrie // Id., Ordres et raisons de langue. Paris: Seuil. 329—337.

Мирский 1978: *Mirsky D. S.* The Eurasian Movement // *The Slavonic review*, 7 (17) (December). 311—320.

Морган 1877: *Morgan L. H.* Ancient society, or Researches in the Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. Washington.

Морпурго-Дейвис 1996: *Morpurgo-Davies A.* La linguistica dell'ottocento. Bologna: Il Mulino.

Мосс 1981: *Moss G. L.* The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the Third Reich. New York: Howard Fertig (впервые: 1964).

Моултон 1972: *Moulton W.* Geographical Linguistics // Sebeok Th. (ed.). Current Trends in Linguistics, 9: Linguistics in Western Europe. The Hague: Mouton. 196—222.

Мунен 1966: *Mounin G.* La notion de système chez Antoine Meillet // *La linguistique*, 1. 17—29.

Мунен 1972: *Mounin G.* La linguistique du XX<sup>ème</sup> siècle. Paris: PUF.

Мунен 1974: *Mounin G.* Dictionnaire de la linguistique. Paris: PUF.

Мэламберг 1991: *Malmberg B.* Histoire de la linguistique de Sumer a Saussure. Paris: PUF.

Мюллер 1862: *Müller M.* Lectures on the Science of Language Delivered at the Royal Institution of Great Britain in April, May and June 1861, London: Longman.

Мюллер 1996: *Müller G.* Friedrich Ratzel (1844—1904). Naturwissenschaftler, Geograph, Gelehrter. Bassum: GNT-Verlag.

Науман и др. 1992: *Naumann B., Plank F., Hofbauer G.* (ed.). Language and Earth (Elective Affinities between the Emerging Sciences of Linguistics and Geology). Amsterdam (Philadelphia): John Benjamins.

Нерлих 1988: *Nerlich B.* Anthologie de la linguistique allemande au XIX<sup>e</sup> siècle. Münster: Nodus Publikationen.

Нерознак 1978: *Нерознак В. П.* Языковые союзы // Большая советская энциклопедия. 3-е изд., 30. М.

Нива 1966: *Nivat G.* Du Panmongolisme au mouvement eurasiatique // *Cahiers du Monde russe et soviétique*, 7 (3). 460—478.

Нива 1988: *Nivat G.* La fenêtre sur l'Asie ou les paradoxes de l'affirmation eurasiatique // *Россия = Russia*, 6. Torino: Einaudi. 81—93.

Нидам 1973: *Needham J.* La science chinoise et l'Occident. Paris: Seuil.

Нидам 1991: *Needham J.* Dialogue des civilisations Chine-Occident. Pour une histoire oecuménique des sciences (Choix de textes). Paris: La Découverte.

Нидам 1995: *Needham J.* Science et civilisation en Chine. Une introduction (сокр. изд.). Arles: P. Picquier.

Никола 1996: *Nicolas G.* (dir.). Pour un langage géographique. Lausanne: Erato-sthène.

Никола 1974: *Nicolas G.* Carl Ritter et la formation de l'axiomatique géographique / Ritter C. Introduction à la géographie générale comparée (впервые: Berlin, 1852). Paris: Les Belles Lettres. 5—32.

- Ничачан 1989: *Nichachian M.* Ages et usages de la langue arménienne. Paris: Entente.
- Норман 1976: *Normand Cl.* Métaphore et concept. Bruxelles: Complexe.
- Норман и др. 1978: *Normand Cl.* et al. (éd.). Avant Saussure (choix de textes: 1885—1924). Bruxelles: Complexe.
- Овлак 1878: *Hovelacque A.* La classification des langues en anthropologie // *Revue d'anthropologie*, 7<sup>e</sup> année, 2<sup>e</sup> série, 1. 47—55.
- Ору 1989: *Auroux S.* Introduction // *S. Auroux* (éd.). Histoire des idées linguistiques, 1. Liège: Margada. 13—37.
- Ошар 1996: *Hauchard C. L. P.* Karsavin et le mouvement eurasiens // *Revue des études slaves*, 68 (3). 357—365.
- Паре 1976: *Parret H.* (ed.). History of Linguistic Thought and Contemporary Linguistics. Amsterdam; Berlin; New York: De Gruyter.
- Пари 1888: *Paris G.* Les parlers de France // *Revue des patois gallo-romans*, 2. 161—175.
- Пари 1905: *Paris G.* Mélanges linguistiques. Paris: Champion.
- Париант 1969: *Pariente J.-Cl.* (éd.). Essai sur le langage. Paris: Minuit.
- Пёрсивал 1969: *Percival K.* Nineteenth-century origins of twentieth-century structuralism // *Papers from the V<sup>th</sup> Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society*. 416—420.
- Пёрсивал 1976: *Percival K.* The Applicability of Kuhn's Paradigms to the History of Linguistics // *Language*, 52, 2. 285—294.
- Петерс 1990: *Peeters B.* Encore une fois «ou tout se tient» // *Historiographia linguistica*, 17. 427—436.
- Пиаже 1970: *Piaget J.* Epistémologie des sciences de l'homme. Paris: Gallimard.
- Пизани 1935: *Pisani V.* [Выступл. в дискуссии] Il problema delle parentele tra i grandi gruppi linguistici // *Atti del III congresso internazionale dei linguisti* (Roma, 1933). Firenze: Le Monnier. 323—324.
- Пизани 1953: *Pisani V.* Allgemeine and vergleichende Sprachwissenschaft-Indogermanistik // *Wissenschaftliche Forschungsberichte*, 2.
- Пикте 1863: *Pictet A.* Origines indo-européennes: essai de paléontologie linguistique. Genève.
- Поливанов 1927: *Поливанов Е. Д.* Революция и литературные языки Союза СССР // *Революционный Восток*, 1. 36—57.
- Поливанов 1931: *Поливанов Е. Д.* За марксистское языкознание. М.: Федерация.
- Поливанов 1968: *Поливанов Е. Д.* Статья по общему языкознанию. М.: Наука.
- Поморска 1977: *Поморска К. Н. С.* Трубецкой о переводе его книги «Европа и человечество» // *Россия = Russia*, 3. Torino. 230—237.
- Поморска и др. 1987: *Pomorska et al.* (ed.). Language, poetry and poetics: The generation of the 1890s: Jakobson, Trubetzkoy, Majakowskij: Proceedings of the first Jakobson Coll. MIT. Berlin; New York: Mouton; de Gruyter.
- Пономарева 1992: *Пономарева Л. В.* (изд.). Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. М.: Институт всеобщей истории РАН.

Порциг 1928: *Porzig W.* Sprachform und Sprachbedeutung // Indogermanische Jahrbuch, 12.

Постников 1928: *Постников С. П.* Русские в Праге. Прага (изд. автора; переизд.: Praha: Národní knihovna, 1995).

Потт 1859: *Pott A. F.* Etymologische Forschungen auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen, 1, Aufl. 2. Leipzig: Lemgo u. Detmold.

Радванска-Уильямс 1993: *Radwanska-Williams J.* A Paradigm Lost: The Linguistic Theory of Mikolaj Kruszewski. Amsterdam (Philadelphia): John Benjamins.

Раев 1990: *Raeff M.* Russia Abroad: a Cultural History of Russian Emigration, 1919—1939. Oxford: Univ. Press.

Раев 1996: *Raeff M.* Politique et culture en Russie. Paris: EHESS.

Ратцель 1891: *Ratzel F.* Anthro-Geographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte (2 vol.). Stuttgart: Engelhorn.

Ратцель 1906: *Ratzel F.* Der Lebensraum. Eine biographische Studie: Tübingen.

Рейно 1990: *Raynaud S.* Il Circolo linguistico di Praga (1926—1939), Radici storiche e apporti teorici. Milano: Università Cattolica.

Ренан 1882: *Renan E.* Qu'est-ce qu'une nation? Paris; [переизд.: Paris; Press Pochet, 1992].

Россия 1923: Россия и латинство (сб. ст.). Берлин.

Руди 1990: *Rudy St.* Roman Jakobson. A complete Bibliography of his Writings, Berlin; New York: Mouton; de Gruyter.

Рязановский 1967: *Riasanovsky N.* The Emergence of Eurasianism // California Slavic Studies, 4. 39—72.

Савицкий 1921а: *Савицкий П. Н.* Континент-океан (Россия и мировой рынок) // Флоровский и др. 1921. 104—105.

Савицкий 1921б: *Савицкий П. Н.* Европа и Евразия. По поводу брошюры кн. Н. С. Трубецкого «Европа и человечество» // Русская мысль, 1—2. София. 119—138.

Савицкий 1922: *Савицкий П. Н.* Два мира // На путях (Утверждение евразийцев), Берлин, кн. 2. 9—26.

Савицкий 1923а: *Савицкий П. Н.* Евразийство // Архивы ЦГАОР (Москва), фонд П. Н. Савицкого 5783, оп. 1, ед. хр. 29; цит. по изд.: Л. В. Пономарева 1992. 164—172.

Савицкий 1923б: *Савицкий П. Н.* Подданство идеи // Евразийский временник, 3. Берлин: Евразийское книгоиздательство.

Савицкий 1927а: *Савицкий П. Н.* Географические особенности России, 1. Прага: Евразийское книгоиздательство.

Савицкий 1927б: *Савицкий П. Н.* Россия—особый географический мир. Париж; Берлин; Прага: Евразийское книгоиздательство.

Савицкий 1929: *Savickij P. N.* Les problèmes de la géographie linguistique du point de vue du géographe // Travaux du Cercle linguistique de Prague, 1. 145—156.

Савицкий 1931а: *Савицкий П. Н.* Оповещение об открытии (Евразия в лингвистических аспектах) // Евразия в свете языкознания. Прага: Издание евразийцев. 1—6.

Савицкий 19316: *Savickij P. N.* L'Eurasie révélée par la linguistique // Le monde slave, 1. Paris. 364—370.

Савицкий 1932: *Савицкий П. Н.* Месторазвитие русской промышленности. Берлин: Издание евразийцев.

Савицкий 1933: *Savickij P. N.* Šestina světa. Rusko jako zeměpisný a historický celek. Praga, Melantrich.

Савицкий 1940: *Савицкий П. Н.* За творческое понимание природы русского мира // Записки русского научно-исследовательского объединения в Праге, 10 (76). 155—180.

Савицкий 1987: *Savický N. P.* The Place of the Prague Linguistic Cercle in the History of Linguistics // *Philologia Pragensia*, 30 (2). 65—76.

Савицкий 1991: *Savický N. P.* О některých méně známých pramenech Tezí Pražského lingvistického kroužku. Slovo a slovesnost, 52. 196—198.

Савицкий б/г: *Савицкий П. Н.* Число и мера, цит. по: Гумилев 1993. 22.

Самуэльян 1981: *Samuelian Th. J.* The Search for a Marxist Linguistics in the Soviet Union, 1917—1950. PhD: Univ. of Pennsylvania.

Санфельд 1930: *Sanfeld Kr.* Linguistique balkanique, problèmes et résultats. Paris: Champion (впервые по-датски: 1926).

Себеок 1966: *Sebeok Th. A.* Portraits of Linguists (A Bibliographical Source Book of Western Linguistics). Bloomington: Indiana Univ. Press.

Семенова, Гачева 1993: *Семенова С. Г., Гачева А. Г.* Русский космизм. М.: Педагогика-Пресс.

Сепир 1971: *Sapir E.* Anthropologie. Paris: Minuit.

Серио 1984: *Sériot P.* Pourquoi la langue russe est-elle grande? // Essais sur le discours soviétique, 4. Univ. de Grenoble III. 57—92.

Серио 1989: *Sériot P.* Peut-on dire d'une linguistique qu'elle est nationale? // Perspectives méthodologiques et épistémologiques dans les sciences du langage, Actes du colloque de Fribourg. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris: Peter Lang. 15—40.

Серио 1996а: *Sériot P. N. S.* Troubetzkoy, linguiste ou historiosophe des totalités organiques? // *Sériot* 1996б. 5—35.

Серио 1996б: *Sériot P.* (ed.). N. S. Troubetzkoy. L'Europe et l'humanité. Ecrits linguistiques et paralinguistiques. Liège: P. Margada.

Серио 1996в: *Sériot P.* La linguistique spontanée des traceurs de frontières // Langue et nation en Europe centrale et orientale du XVIII siècle à nos jours / Ed. Sériot. Cahiers de l'ILSL, 8. Lausanne. 277—304.

Серио 1997: *Sériot P.* Ethnos et demos. La construction discursive de l'identité collective // Langage et société, 79, Paris: Maison des sciences de l'homme. 39—51.

Серио 1998: *Sériot P.* La linguistique, le discours sur la langue et l'espace géo-anthropologique russe // Contributions suisses au XII<sup>e</sup> Congrès international des slavistes à Cracovie, août 1998. Berne: Peter Lang. 363—395.

Сивин 1986: *Sivin N.* On the Limits of Empirical Knowledge in the Traditional Chinese Science // *Frazer J. T., Lawrence N., Haber F. C.* (ed.), Time, Science and Society in China and the West. Amherst. 151—169.

Скаличка 1934: *Skalicka V.* Zur Charakteristik des eurasischer Sprachbundes // Archiv Orientální, 6 (1). 272—274.

Скаличка 1935: *Skalicka V.* Zur mitteleuropäischen Phonologie // Časopis pro moderní filologii, 21, 2. Prague. 151—154.

Смит и др. 1927: *Smith E. et al.* Culture: the Diffusion Controversy. New York: Norton & Co.

Соболев 1991: *Соболев А. В.* Князь Н. С. Трубецкой и евразийство // Литературная учеба, 6.

Сола 1990: *Sola A.* Géométries non euclidiennes, logiques non aristotélienne et avant-garde russe // *Conio G.* (ed.), L'avant-garde russe et la synthèse des arts. Lausanne: L'Age d'homme. 25—31.

Соссюр 1977: *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. М., 1977 (впервые: 1916).

Стайнер 1978: *Steiner P.* The Conceptual Basis of Prague Structuralism // *Matejka* 1978. 351—385.

Сталин 1950: *Сталин И. В.* Марксизм и вопросы языкознания // *Сталин И. В.* Сочинения, 3 (XVI) (1946—1958). Stanford: The Hooker Institution, 1967.

Станкевич 1972: *Stankiewicz E.* A Baudoin de Courtenay Anthology: The Beginnings of Structuralism. Bloomington: Indiana Univ. Press.

Степанов 1985: *Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства, М.: Наука.

Степанов 1995: *Степанов Н. Ю.* Практическая работа Пражской группы евразийской организации как политической партии // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Прага: Národní knihovna. 437—447.

Стефан 1978: *Stephan J. J.* The Russian Fascists. Tragedy and Farce in Exile 1925—1945. New York: Harper & Row.

Струве 1996: *Struve N.* Soixante-dix ans d'émigration russe. Paris: Fayard.

Тённис 1887: *Tönnies F. de.* Gemeinschaft und Gesellschaft, переизд.: Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979.

Теньер 1935: *Tesnière L.* La géographie linguistique et le règne végétal // L'Anthropologie, 45. 380—383.

Теньер 1939: *Tesnière L.* Phonologie et mélange de langues // Travaux du Cercle linguistique de Prague, 8. 83—93.

Толстой 1952: *Tolstoy P.* Morgan and Soviet anthropological thought // American Anthropologist, 54 (1). 8—17.

Томан 1981: *Toman J.* The Ecological Connection: A Note on Geography and the Prague School // Lingua e stile, 16. 271—282.

Томан 1987: *Toman J.* Trubetzkoy before Trubetzkoy // Papers in the History of Linguistics (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistics), 38. Amsterdam: J. Benjamins. 627—638.

Томан 1992: *Томан Й.* Определяющие образы мышления Н. С. Трубецкого // Вестник МГУ. Серия 9, 5. 13—36.

Томан 1994: *Toman J.* (ed.). *Letters and Other Materials from Moscow and Prague Linguistic Circles, 1912—1945*. Ann Arbor: Michigan State Publications (Cahiers Roman Jakobson, 1).

Томан 1995: *Toman J.* *The Magic of a Common Language*. Jakobson, Mathesius, Trubeckoy and the Prague Linguistic Circle. Cambridge (Mass.): MIT Press.

Тор 1995: *Tort P.* (éd.). *Dictionnaire du darwinisme* (3 vol.). Paris: PUF.

Трубецкой 1920: *Трубецкой Н. С.* *Европа и человечество*. София: Российско-болгарское книгоиздательство.

Трубецкой 1921а: *Трубецкой Н. С.* *Об истинном и ложном национализме // Исход к Востоку*. София. 71—85.

Трубецкой 1921б: *Трубецкой Н. С.* *Верхи и низы русской культуры (Этническая основа русской культуры) // Исход к Востоку*. София. 86—103.

Трубецкой 1922: *Трубецкой Н. С.* *Русская проблема // На путях*. Берлин. 294—316.

Трубецкой 1923а: *Трубецкой Н. С.* *Вавилонская башня и смешение языков // Евразийский временник*, 3. 107—124.

Трубецкой 1923б: *Трубецкой Н. С.* *Соблазны единения // Россия и латинство*. Берлин. 121—140.

Трубецкой 1925а: *Трубецкой Н. С.* [псевдоним И. Р.]. *Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока*. Берлин: Евразийское книгоиздательство.

Трубецкой 1925б: *Трубецкой Н. С.* *Мы и другие // Евразийский временник*, 4. Берлин. 66—81.

Трубецкой 1925в: *Трубецкой Н. С.* *О туранском элементе в русской культуре // Евразийский временник*, 4. Берлин. 351—377, переизд. в: Трубецкой 1927г. 34—53.

Трубецкой 1927а: *Трубецкой Н. С.* *Общевразийский национализм // Евразийская хроника*. 9, Берлин; Париж. 24—31.

Трубецкой 1927б: *Трубецкой Н. С.* *Общеславянский элемент в русской культуре // К проблеме русского самопознания*. Париж. 54—94.

Трубецкой 1927в: *Трубецкой Н. С.* *К украинской проблеме // Евразийский временник*, 5. Париж; Берлин: Евразийское издательство. 165—184.

Трубецкой 1927г: *Трубецкой Н. С.* *К проблеме русского самопознания: Сб. ст.* Париж: Евразийское книгоиздательство.

Трубецкой 1930: *Troubetzkoy N. S.* *Propositions 16 // Actes du I<sup>er</sup> Congrès international des linguistes*, La Haye, 10—15 avril 1928. Leiden: Sijthoff, 18.

Трубецкой 1930: *Трубецкой Н. С.* *Письмо П. Савицкому от 8—10 декабря 1930; опубли.*: Казнина 1995.

Трубецкой 1931: *Troubetzkoy N. S.* *Phonologie und Sprachgeographie // Travaux du Cercle linguistique de Prague*, 4. 228—234.

Трубецкой 1933а: *Трубецкой Н. С.* *Мысли об автаркии // Новая эпоха*. Нарва. 25—26.

Трубецкой 1933б: *Troubetzkoy N. S.* *La phonologie actuelle // Journal de psychologie*, 30. 227—246.

Трубецкой 1935: *Troubetzkoy N. S.* Выступление в дискуссии: Il problema delle parentele tra i grandi gruppi linguistici // Atti del III congresso internazionale dei linguisti (Roma, 1933). Firenze: Le Monnier. 326—327.

Трубецкой 1935а: *Трубецкой Н. С.* О расизме // Евразийские тетради, 5. Париж. 43—54.

Трубецкой 1935б: *Трубецкой Н. С.* Об идее-правительнице идеократического государства // Евразийская хроника, 11. Берлин. 29—37.

Трубецкой 1937: *Трубецкой Н. С.* Упадок творчества // Евразийская хроника. 12. 10—16.

Трубецкой 1939а (1987): *Трубецкой Н. С.* Gedanken über das Indogermanenproblem // Acta Linguistica, 1, fasc. 2. Copenhagen. 81—89; рус. пер.: Мысли об индоевропейской проблеме. // Трубецкой 1987. 44—59.

Трубецкой 1939б: *Troubetzkoy N. S.* Grundzüge der Phonologie (= Travaux du Cercle linguistique de Prague, VII); trad fr. Principes de phonologie. Paris: Klincksieck (2-е изд.) 1986; рус пер.: Основы фонологии М.: Изд-во иностр. лит., 1960.

Трубецкой 1973: *Troubetzkoy N. S.* Vorlesungen über die altrussische Literatur. Firenze: Sansoni (Studia historica et philologica, sectio slavica), Picchio R. (ed.) (postface de R. Jakobson).

Трубецкой 1985: *Troubetzkoy N. S.* Letters and Notes (R. Jakobson ed.). Berlin; New York; Amsterdam: Mouton (впервые: 1975).

Трубецкой 1987а: *Трубецкой Н. С.* Избранные труды по филологии. М.: Прогресс.

Трубецкой 1987б: *Трубецкой Н. С.* Мордовская фонологическая система в сравнении с русской // Избранные труды по филологии. М.: Прогресс.

Трубецкой 1995: *Трубецкой Н. С.* История, культура, язык. М.: Прогресс-Универс.

Трубецкой 1996: *Troubetzkoy N. S.* L'Europe et l'humanité, trad., notes et présentation par P. Sériot // Серио 1996б.

Трубецкой 1892: *Трубецкой С. Н.* Разочарованный славянофил // Вестник Европы, октябрь. 772—810.

Уайтхед 1967: *Whitehead A. N.* Science and the Modern World: Lowell Lectures. New York: Free Press (впервые: 1925).

Уленбек 1935: *Uhlenbeck C. C.* Oer-Indogermaansch en Oer-Indogermanen // Mededelingen van de K. Akad van Wetenschappen, 77. 4.

Уэллс 1973: *Wells R. S.* Uniformitarianism in Linguistic // *Wiener P.* (ed.), Dictionary of the History of Ideas, 4. New York: Charles Scribner's Sons.

Финкелькраут 1992: *Finkielkraut A.* La défaite de la pensée, Paris: Folio (1<sup>re</sup> éd., 1987).

Фихте 1800: *Fichte J.-G.* Die Geschlossene Handelstaat. Tübingen: J. G. Cotta.

Фихте 1807: *Fichte J.-G.* Discours à la nation allemande.

Флао 1984б: *Flahault F.* Le Jeu de Babel. Paris: Point hors ligne.

Флао 1984а: *Flahault F.* La parole intermédiaire. Paris: Seuil.



- Флоровский 1921: *Флоровский Г. В.* Хитрость разума // Г. В. Флоровский и др. 1921. 28—39.
- Флоровский и др. 1921: *Флоровский Г. В., Сувчинский П. П., Савицкий П. Н., Трубецкой Н. С.* Исход к востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. София: Российско-Болгарское книгоизд-во.
- Фонтен 1974: *Fontaine J.* Le Cercle de Prague. Paris: Mame.
- Фрейденберг 1937: *Фрейденберг О. М.* Воспоминания о Н. Я. Марре // Восток-Запад. М.: Наука, 1988. 181—204.
- Фрингс 1928: *Frings Th.* Volkskunde und Sprachgeographie. Halle.
- Фуко 1966: *Foucault M.* Les mots et les choses. Paris: Gallimard; рус. пер.: Слова и вещи. М.: Прогресс, 1977; 1994.
- Фуко 1969: *Foucault M.* L'archeologie du savoir. Paris: Gallimard; рус. пер.: Археология знания. Киев, 1996.
- Фуко 1971: *Foucault M.* L'ordre du discours. Paris: Gallimard; рус. пер. в сб.: Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. Магистерיום Касталь. 1996.
- Хаймз 1974: *Hymes D.* Introduction // Studies in the History of Linguistics. Bloomington, Indiana Press. 1—38.
- Халле 1987: *Halle M.* Remarks on the Scientific Revolution in Linguistics, 1926—1929 // Поморска и др. 1987. 95—111.
- Хаунер 1992: *Hauner M.* What is Asia to us? (Russia's Asian Heartland Yesterday and Today). London; New York: Routledge.
- Холенштайн 1974: *Holenstein E.* Jakobson ou le structuralisme phénoménologique. Paris: Seghers.
- Холенштайн 1976: *Holenstein E.* Jakobson und Husserl. Ein Beitrag zur Genealogie des Strukturalismus // Папе 1976. 772—810.
- Холенштайн 1984: *Holenstein E.* Die russische ideologische Tradition und die deutsche Romantik // Das Erbe Hegels. Frankfurt: Suhrkamp. 21—135.
- Холенштайн 1987: *Holenstein E.* Jakobson's philosophical background // Поморска и др. 1987. 15—31.
- Холенштайн 1988: *Holenstein E.* (ed.) Roman Jakobson. Semiotik. Ausgewälte Texte 1919—1982. Frankfurt an Main: Suhrkamp.
- Холтон 1973: *Holton G.* Thematic Origins of Scientific Thought: Kepler to Einstein, Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press.
- Хьюсон 1990: *Hewson J.* «Un système où tout se tient»: Origin and evolution of the idea // History and Historiography of Linguistics: 4<sup>th</sup> Int. Conference on the History of the Language Sciences (ICHOLS 4), Trier, 2 vol., Koerner K., Niederehe H.-J. (ed.), Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins. 787—794.
- Хэррис, Тейлор 1991: *Harris R., Taylor T. J.* Landmarks in Linguistic Thought (The Western Tradition from Socrates to Saussure). London: Routledge.
- Хюбшман 1897: *Hübschmann H.* Armenische Grammatik. Leipzig.
- Чаадаев 1837: *Чаадаев П. Я.* Апология сумасшедшего, цит. по: Полное собрание сочинений, 1. 1991. М.: Наука. 289—304.

- Чижевский 1939: *Чижевский Д.* Князь Н. С. Трубецкой (некрология) // *Современные записки*, 63. 464—468.
- Шаллер 1997: *Schaller H. W.* Roman Jakobson's Conceptions of Sprachbund // *Gadet F., Seriot P.* (ed.), *Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915—1939, Cahiers de l'ILSL*, 9 (Lausanne). 207—212.
- Шевалье 1975: *Chevalier J.-Cl.* Situation de la linguistique française. Cinq ans de recherches et de production (1969—1974) // *L'information littéraire*, 1. 20—25.
- Шевалье 1997: *Chevalier J.-Cl.* Troubetzkoy, Jakobson et la France, 1919—1939 // *F. Gadet, P. Seriot* (éd.), *Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915—1939, Cahiers de l'ILSL*, 9 (Lausanne). 33—46.
- Шлангер 1995: *Schlanger J.* Les métaphores de l'organisme. Paris: L'Harmattan.
- Шлейхер 1852: *Schleicher A.* Les langues de l'Europe moderne. Paris: Ladrangue et Garnier.
- Шлейхер 1860: *Schleicher A.* Die deutsche Sprache. Stuttgart: Cotta (перезид.: Niederwalluf: Sändig, 1974).
- Шлейхер 1861—1862: *Schleicher A.* Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau.
- Шляпентох 1997: *Schlapentokh D.* Eurasianism, Past and Present // *Communist and Post-Communist Studies*, 30 (2). 129—151.
- Шмидт 1872: *Schmidt J.* Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau.
- Шмидт 1926: *Schmidt W.* Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde. Heidelberg.
- Шпенглер 1918—1922: *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes. Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte.
- Шухардт 1885: *Schuchardt H.* Slavo-deutsches und Slavo-italienisches. Graz.
- Шухардт 1917: *Schuchardt H.* Sprachverwandschaft // *Sitzungsberichte der Berliner Akademie des Wissenschaften*. 37. Berlin. 518—529.
- Шухардт 1922: *Schuchardt H.* Hugo Schuchardt-Brevier. Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschaft (Spitzer L., ed.). Halle: M. Niemeyer.
- Щерба 1925: *Щерба Л. В.* Sur la notion de mélange des langues // *Яфетический сборник*, 4. Л. 1—19.
- Эдельман 1978: *Эдельман Д. И.* К теории языкового союза // *Вопросы языкознания*, 3. 110—115.
- Эко 1994: *Eco U.* La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne. Paris: Seuil.
- Энгельс 1884: *Engels F.* Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, Zurich, Volksbuchhandlung; рус пер.: Происхождение семьи, частной собственности и государства в связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 21. М.: Госполитиздат. 1961.
- Энглер 1959: *Engler R.* Eine kritische Ausgabe des Cours de linguistique générale // *Kratylos*, Jahrgang 4, Heft 2. Wiesbaden.

Энглеp 1967: *Engler R.* Edition critique du «Cours de linguistique générale» de Saussure. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Юки 1984: *Yuki T.* Mémoire sociale et nationale au Japon // *Le Genre humain*, 11. 153—178.

Яберг 1908: *Jaberg K.* Sprachgeographie. Beitrag zum Verstaendnis des «Atlas linguistique de la France». Aarau: Sauerländer.

Якемчук 1957: *Yakemitchouk R.* La ligne Curzon et la Seconde Guerre mondiale, Paris; Louvain: Nauwelaerts.

Якобсон 1928: *Jakobson R.* O hláskoslovném zákonu a teleologickém hláskosloví, Časopis pro moderni filologii. 183—184; trad angl. «The Concept of the Sound Law and the Teleological Criterion», SW-I, 1971. 1—2.

Якобсон 1929a: *Jakobson R.* Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves // *Travaux du Cercle linguistique de Prague-II // Selected Writings*, 1. 1971. 7—116.

Якобсон 1929b (1999): *Jakobson R.* Über die heutigen Voraussetzungen der russischen Slavistik // *Slavische Rundschau*, 1. Prague. 7—116; рус. пер.: О современных перспективах русской славистики. // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М.: РГГУ, 1999. 21—33.

Якобсон 1929в: *Jakobson R.* Romantické všeslovanství—nová slavistika // *Čin*, 1:1, Octobre. 10—12 (неполн. фр. пер. в: *Jakobson 1973*. 9—10).

Якобсон 1930: *Jakobson R.* (avec Friedrich Slotty). Die Sprachwissenschaft auf dem ersten Slavistenkongress in Prag vom 6.—13. Oktober 1929 // *Indogermanisches Jahrbuch*, 14. Berlin; Leipzig: W. De Gruyter. 384—391.

Якобсон 1931a: *Якобсон Р. О.* К характеристике евразийского языкового союза. Париж: Издательство евразийцев // SW-I, 1971. 144—201.

Якобсон 1931б: *Jakobson R.* Über die phonologischen Sprachbünde // *Travaux du Cercle linguistique de Prague-IV // SW-I*, 1971. 137—143.

Якобсон 1931в: *Jakobson R.* Principes de phonologie historique // *Travaux du Cercle linguistique de Prague-IV // SW-I*, 1971. 202—220.

Якобсон 1931г: *Jakobson R.* Les unions phonologiques de langues // *Le Monde slave*, 1. 371—378.

Якобсон 1931д: *Якобсон Р. О.* Фонологических языковых союзах // *Евразия в свете языкознания*. Прага: Издание евразийцев. 7—12.

Якобсон 1931e: *Jakobson R.* Der russische Frankreich-Mythus // *Slavische Rundschau*, 3. 636—642 (фр. пер.: Якобсон 1986. 157—166).

Якобсон 1933: *Jakobson R.* La scuola linguistica di Praga // *La Cultura*, 12 (3). 633—641 // SW-II, 1971. 539—546.

Якобсон 1935: *Jakobson R.* (подписано Рн). Николай Яковлевич Март // *Slavische Rundschau*. Praha. 135—136.

Якобсон 1937: *Jakobson R.* Antoine Meillet zum Gedächtnis // *Slavische Rundschau*, 9 // SW-II, 1971. 497—500.

Якобсон 1938 (1885): *Якобсон Р. О.* О теории фонологических союзов между языками. Доклад на IV Международном конгрессе лингвистов (Копенгаген, ав-

густ 1936 г.); опубликован в протоколах конгресса (1938) // *Якобсон Р.* Избранные работы. М.: Прогресс. 92—104 // SW-I, 1971. 234—246.

Якобсон 1939: *Jakobson R.* N. S. Troubetzkoy (16. April 1890—25 Juni 1938) // *Acta linguistica*, 1. 64—76.

Якобсон 1958: *Jakobson R.* Typological Studies and their Contribution to Historical Comparative Linguistics // *Proceedings of the 8<sup>th</sup> International Congress of Linguists, Oslo* // SW-I. 523—531.

Якобсон 1960: *Jakobson R.* Kazańska szkoła polskiej lingwistyki i jej miejsc w światowym rozwoju fonologii // *Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego*, 19. 3—34 (фр. пер.: Якобсон 1973. 199—237).

Якобсон 1963: *Jakobson R.* Efforts towards a Means-Ends Model of Language in Interwar Continental Linguistics // *Trends in Modern Linguistics*, 2. Utrecht: Spectrum. 104—108.

Якобсон 1967: *Jakobson R.* Znaczenie Kruszewskiego w rozwoju językoznawstwa ogólnego // *Kruszewski M.* Wybor pism, 10—25. Wrocław; Warszawa; Kraków: PAN (фр. пер.: Якобсон 1973. 238—257).

Якобсон 1971a: *Jakobson R.* Selected Writings, 1 (SW-I). The Hague: Mouton.

Якобсон 1971b: *Jakobson R.* Selected Writings, 2 (SW-II). The Hague: Mouton.

Якобсон 1973: *Jakobson R.* Essais de linguistique générale, 2. Paris: Ed. de Minuit.

Якобсон 1980: *Jakobson R.* Dialogues avec K. Pomorska. Paris: Flammarion.

Якобсон 1986: *Jakobson R.* Russie, folie, poésie. Paris: Seuil.

Якобсон 1988: *Jakobson R.* Semiotik. Ausgewählte Texte 1919—1982 / Ed. E. Holenstein. Frankfurt: Suhrkamp.

Янг 1813—1814: *Young T.* [Рец. на: *Adelung J. C.* Mitridates] // *Quarterly Review*, 10 (octobre 1813). 250—292.

Янковский 1972: *Jankowsky K. R.* The Neogrammarians. A Re-evaluation of their place in the development of linguistic science. The Hague; Paris: Mouton.

## Именной указатель

- Аввакум, протоп. 11  
Авиценна 70  
Автономова Н. С. 24  
Адамски Д. 71  
Адлер Дж. 198  
Аймер Т. 218  
Аксаков К. С. 98, 131  
Альберт Великий 197  
Александр II 215  
Алексеев Н. Н. 75  
Алехин В. В. 253—256, 258  
Алпатов В. М. 165, 166  
Альтюссер Л. 54, 55  
Ансель Ж. 6, 156, 157  
Аполлинер Г. 31  
Аристотель 51, 53, 76, 237  
Асколи Г. 52, 108, 153, 154  
Ахматова А. 268
- Баджони Д. 208  
Банер В. 45, 46  
Барт Р. 37, 243, 271  
Бартоли М. 108, 208, 264  
Бассин М. 89  
Бастиян А. 208  
Батюшков К. Н. 131  
Башляр Г. 12, 56, 170, 209, 293  
Беккер Х. 51, 224  
Белый А. 100, 131  
Бенвенист Э. 260, 317  
Бенетон Ф. 74  
Бенуа А. 74  
Бердяев Н. А. 62, 74, 81, 163, 286  
Берг Л. С. 20, 21, 202, 203, 212, 216—  
220, 222, 224, 225, 229, 251, 271, 303
- Бергман Т. 197, 198  
Бергсон А. 144, 222  
Бердяев Н. А. 62, 74, 81, 163, 286  
Берлин И. 190, 230, 311  
Бертони Дж. 108  
Бёме Я. 249  
Бёсс О. 71  
Бисмарк 190  
Блайхштайнер Р. 228  
Блок А. 100  
Блумфильд Л. 38, 260  
Блур Д. 56  
Боас Ф. 124, 171, 233  
Боден Ж. 237  
Бодро Ш. 178  
Бодуэн де Куртене Ж. 37, 46,  
126—128, 149, 208, 212, 221, 225  
Бональд Л. де 52, 290, 311, 312  
Брейер С. 82  
Бренге О. 153, 154, 160  
Брёндаль В. 48, 49  
Бринкат Дж. 45  
Бромберг А. Я. 7  
Бругманн К. 296  
Бруно Дж. 262  
Бурдые П. 243  
Бурлюк Д. 252  
Бэр К. фон 20, 202, 215, 216, 219
- Вавилов Н. И. 217  
Вайнрайх У. 114  
Валлуа А. 80  
Ван Гиннекен Ж. 127, 194, 212, 229,  
262  
Вандриес Ж. 124, 158, 211

- Венкер Г. 153, 154  
 Верн Ж. 101  
 Вернадский Г. 268  
 Видадь Делаблаш П. 96, 233  
 Виель М. 35, 39, 48, 71, 293  
 Вико Дж. 190  
 Виноградов В. В. 73, 91, 217  
 Волошинов В. Н. 216  
 Врубель С. 181  
 Вусинич А. 215, 216, 218
- Гавранек Б. 112, 193  
 Галилей Г. 46  
 Гаспаров Б. 35, 48, 98, 129, 181  
 Гаспаров М. Л. 24  
 Гачева А. Г. 93  
 Гебауэр Ж. 294  
 Гегель Г. В. Ф. 75, 84, 170, 189, 236, 311  
 Геккель Э. 52, 218  
 Гёте Й. В. 20, 51, 194, 196, 198—200, 210, 279  
 Грамши А. 63, 64  
 Гребнер Р. Ф. 304  
 Гумбольдт А. 293  
 Гумилев Л. Н. 267, 268  
 Гумилев Н. 268  
 Гусдорф Г. 31, 51, 198, 321
- Данилевский Н. Я.* 14, 53, 73, 81, 89, 91, 98, 99, 101, 185, 190, 215—218, 222, 245, 250, 295  
 Дарвин Ч. 20, 164, 201, 203, 215, 216, 218, 219, 222, 225, 229, 296  
 Дезер М. 71  
 Декан 141  
 Делеаж Ж.-П. 93  
 Дельбрюк В. 296  
*Деме II.* 140, 142  
 Джоунз У. 45, 204, 205  
 Дзимбо 37  
 Доза А. 144, 238, 239, 263, 267  
 Досс Ф. 33
- Достоевский Ф. М. 53, 60, 101, 295  
 Докучаев В. В. 93, 245  
 Дорошенко Д. И. 118  
 Дурново Н. Н. 116  
 Дюбуа Ж. 107, 116, 160, 207  
 Дюкро О. 107, 207  
 Дюмон Л. 65, 230, 290, 320  
 Дюран 316  
 Дюркгейм Э. 214, 295
- Ельмслев Л. 27, 50  
 Ельцин Б. Н. 174  
 Есперсен Й. 124, 218
- Жакоб А. 309  
 Жданов А. А. 172  
 Жильерон Ж. 108, 156, 157, 159, 239, 264  
 Жофруа Старший 197
- Зеленин Д. К. 128  
 Зумпф Ж. 40  
 Зюсс Э. 88
- Иван Грозный 70  
 Иванов Вяч. Вс. 10, 59  
 Иванов-Разумник Р. В. 100  
 Ивиг М. 38, 262, 263  
 Исаченко А. В. 106
- Казнина О. А. 62, 274, 281  
 Кальве Л.-Ж. 50, 306  
 Камиру Ш. 296  
 Кангильем Ж. 12, 56  
 Кант И. 51  
 Кардинер А. 287  
 Кардона Дж. Р. 108  
 Карсавин Л. П. 65, 249, 289  
 Карташев А. В. 64  
 Карцевский С. О. 35, 55, 63, 219, 251, 259  
 Кассирер Э. 33, 48, 49, 171

- Кёрнер К. 33, 47, 48, 50, 51, 296, 297  
Кизеветтер А. А. 233  
Киреевский И. В. 290  
Клайн Г. Дж. П. 222  
Клейнер Ю. А. 35  
Козьма Прутков 180  
Койре А. 290, 311  
Кондильяк Э. де 311  
Конт О. 294, 295, 297  
Коэн М. 272  
Кребер А. Л. 146  
Кристал Д. 107  
Кропоткин П. А. 229  
Кроче Б. 108, 144  
Крушевский Н. В. 299  
Кун Т. 45, 46, 52  
Курилович Е. 50  
Кюльоли А. 323  
Кьеркегор С. 288
- Лавров С. Б. 64  
Лафарг П. 306  
Ламанский В. И. 89, 91, 283  
Ламенне Ф. 311  
Ларус П. 197, 206  
Левин-Брюль Л. 178  
Левин-Стросс К. 23, 37, 127  
Леонтьев К. Н. 101, 173, 216, 295  
Лепски Дж. 243  
Лескин А. 143, 221  
Лессинг Г. Е. 279  
Лермит Р. 165, 166  
Лешка О. 108, 109  
Либерман А. 59, 71  
Линней К. 201  
Литре Э. 196  
Ллойд Дж. Е. Р. 42  
[Логовников] (псевдоним Савицкого)  
237, 268, 271, 277, 278, 282, 283  
Локк Дж. 311  
[Любинский С.] (псевдоним  
Савицкого) 71  
Лысенко Г. 222, 229, 305
- Мазон А. 38  
Майр Е. 200  
Макаев Е. А. 208  
Макиндер Дж. 86  
Макмастер Р. Е. 73  
Мальдидье Д. 297  
Мандельштам О. 131  
Манн Т. 73, 74  
Манчак В. 50  
Маритен Ж. 62  
Маркс К. 178  
Марр Н. Я. 19, 26, 27, 83, 148, 150,  
164—168, 171—177, 179, 181—184,  
187—189, 225, 226, 228, 229, 231,  
236  
Марсель Г. 286  
Мартине А. 23, 38, 54, 116, 173, 196,  
208, 242, 243, 325  
Марузо Ж. 107, 207  
Масарик Т. 63  
Матезиус В. 57, 244, 271, 272  
Матейка Л. 224  
Мауро Т. де 206, 316  
Мейе А. 50, 51, 109, 120, 127, 135, 146,  
150, 151, 155, 171, 177, 183, 187,  
188, 209, 210, 212, 214, 225, 244,  
272, 274  
Мейер П. 153—156, 161  
Менгин О. 228  
Менделеев Д. И. 268  
Мережковский Д. С. 99  
Местр Ж. де 54, 175, 190, 219, 290,  
311  
Мещанинов И. И. 148, 167, 177—179,  
184—186, 190, 228  
Миальнер Ж.-К. 40, 245, 272, 284, 309,  
316  
Мирский Д. С. 69, 288  
Монтескье Ш. 175, 237  
Морган Л. 83, 178  
Морен Э. 324  
Морпурто-Дейвис 139, 140  
Мосс Дж. Л. 101

- Мунен Ж. 35, 40, 45, 54, 71, 75, 84,  
107, 207, 259  
Мунье Э. 286  
Мюллер М. 140, 148, 205, 233  
Мюссе А. де 137
- Науман Б. 143  
Нерлих Б. 75  
Нерознак В. П. 109  
Нива Ж. 71, 99  
Нидам Дж. 52  
Никола Ж. 250  
Николай Кузанский 262, 267  
Ницше Ф. 74  
Новак Л. 173  
Новалис 250  
Норман К. 144, 205  
Ньютон И. 25, 46, 198, 199
- Овлак А. 142  
Одоевский В. Ф. 230  
Ору С. 57  
Оукен Л. 201  
Оуэн Р. 202  
Ошар С. 249
- Панини 52  
Пари Г. 153—156, 160, 161  
Париант Ж.-К. 37, 274  
Пайар Д. 71  
Петерс Б. 48  
Петр Великий 67, 71, 90, 190  
Пешё М. 54  
Пёрсивал К. 45, 46, 48  
Пизани В. 108, 212, 227, 264  
Пикассо П. 46  
Пикте А. 167, 231  
Писарев Д. И. 101  
Платон 27, 53, 76, 163, 237, 284  
Плиний Старший 293  
Поливанов Е. Д. 37, 69, 130  
Поморска К. 54, 98, 106, 177, 303, 304  
Пономарева Л. В. 61, 283, 284
- Поппер К. 52  
Порциг В. 296  
Постников С. П. 63  
Потт А. 207, 208  
Притчард 142  
Птолемей 92  
Пугачев Е. 76
- Рассел Б. 66  
Радванска-Уильямс Дж. 45  
Раев М. 59, 62  
Райс И. 62  
Ратцель Ф. 86, 96, 233, 235, 287, 321  
Рейно С. 31  
Рембрандт 46  
Ренан Е. 206  
Риттер К. 18, 250, 258  
Робер 207  
Розанов В. В. 222  
Руди С. 327  
Рязановский Н. 71
- Савицкий Н. П. 327  
Санфельд К. 110, 111, 124, 126, 212,  
239  
Святополк-Мирский Д. П. 62  
Себеок Т. А. 185, 273  
Сезанн П. 300  
Семенова С. Г. 93  
Сепир Э. 38, 124, 180, 245  
Серио П. 10, 12, 13, 17, 19, 71, 73, 89,  
120  
Сибаваяя 52  
Сивин Н. 52  
Скаличка Б. 106, 109, 112, 125, 193  
Смит Э. 232  
Соболев А. В. 60  
Сократ 52  
Сола А. 252  
Соловьев В. С. 78, 99, 295  
Сорель Г. 83  
Соссюр Ф. де 20, 26, 27, 37—39, 49,  
50, 52, 133, 157—159, 205, 206,



- 216, 219—223, 247, 249, 266, 267,  
281, 292, 298, 300, 305, 311—314,  
316—318, 325
- Стайнер П. 49, 229
- Сталин И. В. 28, 150, 151
- Станкевич Е. 37
- Степанов Ю. 47, 65
- Стивенс Б. 63
- Страхов Н. 98, 99, 101, 217, 222
- Сувчинский П. П. 61
- Тард Г. 72
- Тейлор Т. 52, 221
- Тейлор Э. 178
- Теньер Л. 110, 125
- Тённиес Ф. 75
- Толстой П. 178
- Том Р. 323
- Томан Й. 18, 48, 98, 181, 202, 211,  
234, 260, 261, 283
- Томас Д. 165, 166
- Тойнби А. 14, 73, 237
- Тор П. 52
- Третьяковский В. К. 131
- Тынянов Ю. 16
- Уайтхед А. Н. 51
- Уорф Б. Л. 245
- Уленбек К. 110
- Уэллс Р. С. 143
- Федоров Н. Ф. 295
- Финкелькраут А. 175
- Фишер И. Э. 301
- Фихте Й. Г. 94
- Фичино М. 199
- Фламарион К. 93
- Флао Ф. 309
- Флоровский Г. В. 60—62, 64, 71
- Фома Аквинский 76
- Фонтен Ж. 317
- Фрезер Дж. 178
- Фрейд З. 291
- Фрейденберг О. М. 165
- Фрингс Т. 6, 159, 160, 239
- Фуко М. 39, 47, 48, 52, 55, 56, 139
- Хайдеггер М. 27
- Хаймз Д. 45
- Халле М. 57
- Хаунер М. 86, 91
- Хельваг 259
- Хервас Л. 80
- Хитрово В. Н. 211
- Хлебников В. 117
- Хлумский Ж. 131, 133
- Холенштайн Э. 36, 48, 54, 84
- Холодович А. 114
- Хомский Н. 50, 202
- Хомяков А. С. 98, 290
- Хэррис Б. 52
- Хьюсон Дж. 48
- Хьюшман Г. И. 148, 150
- Цветаева М. 62
- Чаадаев П. Я. 105, 290
- Чернышевский Н. Г. 101
- Чижевский Д. 18, 260
- Чингисхан 70, 72, 85, 102, 185, 284
- Чичерин Б. Н. 222
- Шаллер Г. 109
- Шевалье А. 40
- Шевалье Ж.-К. 110
- Шелер М. 286
- Шеллинг Ф. В. 201, 215
- Шеффер Ж.-М. 107, 207
- Шкловский В. 202
- Шлангер Ж. 229
- Шлегель А. 193
- Шлейхер А. 20, 139—143, 145, 151,  
164, 165—167, 169, 184, 201, 203,  
208, 214, 217, 220—222, 227, 249,  
296, 298—301, 305, 306
- Шляпентох Д. 62

Шмидт В. 80, 106, 110, 111, 124, 228

Шмидт Й. 6, 16, 135, 151, 152, 221

Шпенглер О. 14, 34, 73, 74, 82, 86

Штайнер Р. 285

Шухардт Г. 16, 106, 127, 128, 130, 148,  
149, 171, 185, 208, 212, 225, 302,  
303

Щебрович-Бугенев, гр. 62

Щерба Л. В. 149, 208

Эйнштейн А. 46

Эдмон Э. 156

Энгельс Ф. 83, 178

Энглер Р. 206, 301

Эко У. 311

Эфрон С. Я. 62

Юнгер Э. 82

Юки Т. 80

Якемчук Р. 91

Янг Т. 139

Янковский К. Р. 297

*Сергио Патрик*

**СТРУКТУРА И ЦЕЛОСТНОСТЬ**

**Об интеллектуальных истоках структурализма  
в Центральной и Восточной Европе**

**1920–30-е гг.**

**Издатель А. Кошелев**

**Корректор Г. Амелин**

**Оригинал-макет подготовлен А. Ландер**

**Подписано в печать 10.09.2001. Формат 70×100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.**

**Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Баскервилл.**

**Усл. печ. л. 29,025. Заказ № 4560**

*Налоговая льгота – общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,  
том 2: 95300 – книги, брошюры*

**Издательство «Языки славянской культуры».**

**129345, Москва, Оборонная, 6–105; № 02745 от 04.10.2000.**

**Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).**

**E-mail: [mik@sch-lrc.msk.ru](mailto:mik@sch-lrc.msk.ru)**

**Каталог в ИНТЕРНЕТ <http://www.lrc-mik.narod.ru>**

**Отпечатано с оригинал-макета в ППП «Типография “Наука”».**

**121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.**

**\***

**Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».**

**Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).**

**Адрес: Зубовский б-р, 17, стр. 3, к. 6.**

**(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)**

**Foreign customers may order this publication**

**by E-mail: [koshelev.ad@mtu-net.ru](mailto:koshelev.ad@mtu-net.ru)**

**or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. М153).**